

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912-1923. Максим Горький gorkiyma
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Собрание сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки
1912-1923. Максим Горький

Хозяин

Страница автобиографии

...Играл ветер-позёмок, вздымая сухой серый снег, по двору металась клочья сена, ленты мочала, среди двора стоял круглый, пухлый человек в длинной – до пят – холщовой татарской рубахе и в глубоких резиновых галошах на босую ногу. Сложив руки на вздутом животе, он быстро вертел короткие большие пальцы, – один вокруг другого, – щупал меня маленькими разноцветными глазами, – правый – зелёный, а левый – серый, – и высоким голосом говорил:

– Ступай, ступай – нет работы! Какая зимой работа?

Его опухшее безбородое лицо презрительно надулось; на тонкой губе шевелились редкие белесые усы, нижняя губа брезгливо отвисла, обнажив плотный ряд мелких зубов. Злой ноябрьский ветер, налетая на него, трепал жидкие волосы большелобой головы, поднимал до колен рубаху, открывая ноги, толстые и гладкие, как бутылки, обросшие желтоватым пухом, и показывал, что на этом человеке нет штанов. Он возбуждал острое любопытство своим безобразием и ещё чем-то, что обидно играло в его живом зелёном глазу, – торопиться мне некуда было, захотелось поболтать с ним, я спросил:

– Ты – дворник, что ли?

– Иди, знай, это не твоё дело...

– Простудишься ты, брат, без штанов-то...

Красные пятна на месте бровей всползли вверх, разрозненные глаза странно забегали, человек – точно падая – покачнулся вперёд:

– Ещё что скажешь?

– Простудишься – умрёшь.

– Ну?

– Больше ничего.

– Чего больше! – глуховато сказал он, перестав крутить пальцами. Рознял руки и, любовно погладив жирные бока, спросил, надвигаясь на меня:

– Ты зачем это говоришь?

– Так... А нельзя мне повидать самого хозяина Василия Семёнова?

Вздыхнув и внимательно присматриваясь ко мне зелёным оком, человек сказал:

– Это я самый и есть...

Мои надежды на работу рухнули. Ветер сразу стал холодней, а человек ещё более неприятен.

– Что?! – воскликнул он, усмехаясь. – Вот те и дворник!

Теперь, когда он стоял почти вплоть ко мне, я видел, что он в тяжком похмелье. Красные бугры над глазами его поросли едва заметным жёлтым пухом, и весь он странно напоминал огромного, уродливого цыплёнка.

– Айда прочь! – сказал он весёлым голосом, дохнув на меня густою струёй перегара и размахивая короткой ручкой, – эта рука со сжатым кулаком тоже напоминала шампанскую бутылку с пробкой в горле. Я повернулся спиной к нему и не торопясь пошёл к воротам.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Эй! Три целковых в месяц – хошь?

Я был здоров, мне семнадцать лет, я грамотен и – работать на этого жирного пьяницу за гривенник в день! Но – зима не шутит, делать было нечего; скрепя сердце я сказал:

– Ладно.

– Пачпорт есть?

Я сунул руку за пазуху, но хозяин отмахнулся брезгливым жестом:

– Не надо! Приказчику отдай. Иди вон туда... Сашку спроси...

Войдя в открытую, висевшую на одной петле дверь щелявой пристройки, расслабленно прильнувшей к жёлтой, облупленной стене двухэтажного дома, я направился между мешками муки в тесный угол, откуда на меня плыл кисловатый, тёплый, сытный пар, но – вдруг на дворе раздались страшные звуки: что-то зашлёпало, зафыркало. Прильнув лицом к щели в стене сеней, я обомлел в удивлении: хозяин, прижав локти к бокам, мелкими прыжками бегал по двору, точно его, как лошадь, кто-то гонял на невидимой корде. Сверкали голые икры, толстые, круглые колени, трясся живот и дряблые щёки; округлив свой сомовый рот, человек вытянул губы трубою и пыхтел:

– Фух, фух...

Двор был тесный; всюду, наваливаясь друг на друга, торчали вкривь и вкось ветхие службы, на дверях висели – как собачьи головы – большие замки; с выгоревшего на солнце, вымытого дождями дерева десятками мёртвых глаз смотрели сучки. Один угол двора был до крыш завален бочками из-под сахара, из их круглых пастей торчала солома – двор был точно яма, куда сбросили обломки отжившего, разрушенного.

Кружится солома, мочало, катаются колёсики стружек, и в кругу хлама, как бы играя с ним, грузно прыгал, шлёпая галошами по мелкому бульжнику, толстый странный человек, – прыгал, хлябая сырым, жирным телом, и фыркал:

– Фух, фух, фух...

Откуда-то из угла ему отзывались свиньи сердитым визгом и хрюканьем, где-то вздыхала и топала лошадь, а из форточки окна во втором этаже дома грустно истекал девичий голос, распевая:

Что ты, суженец, не весел,
Беззабо-отный сорванец?

Ветер, заглядывая в жёрла бочек, шуршит соломой; торопливо барабанит какая-то щепка, на коньке крыши амбара зябко жмутся друг к другу сизые голуби и жалобно воркуют...

Всё – живёт странной, запутанной жизнью, а в центре всего носится, потя и хрипя, необычный, невиданный мною человек.

«Это куда же я втряпался?» – жутко подумалось мне.

В подвале с маленькими окнами, закрытыми снаружи частой проволочной сеткой, под сводчатым потолком стоит облако пара, смешанное с дымом махорки. Сумрачно, стёкла окон побиты, замазаны тестом, снаружи обрызганы грязью. В углах, как старое тряпье, висят клочья паутины, покрытые мучной пылью, и даже чёрный квадрат какой-то иконы весь оброс серыми плёнками.

В огромной печи с низким сводом жарко пылает золотой огонь, а перед ним чёртом извивается, шаркая длинной лопатой, пекарь Пашка Цыган, душа и голова мастерской, – человек маленький, черноволосый, с раздвоенной бородкой и ослепительно белыми зубами. В кумачной, без пояса, рубахе, с голой грудью, красиво поросшей узором курчавых волос, он, поджарый и вертлявый, напоминает трактирного танцора, и жалко видеть на его стройных ногах тяжёлые, точно из чугуна литые опорки. От него по подвалу разбегаются бодрые, звонкие крики.

– Жарь да вари! – смахивая ладонью пот с красивого лба в чёрных кудрях, кричит

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma он и матерно ругается.

У стены, под окнами, за длинным столом сидят, мерно и однообразно покачиваясь, восемнадцать человек рабочих, делая маленькие крендели в форме буквы «в» по шестнадцати штук на фунт; на одном конце стола двое режут серое, упругое тесто на длинные полосы, привычными пальцами щиплют его на равномерные куски и разбрасывают вдоль стола под руки мастеров, – быстрота движений этих рук почти неуловима. Рассучив кусок теста, связав его кренделем, каждый пристукивает фигуру ладонью, – в мастерской непрерывно звучат мягкие шлепки. Стоя у другого конца стола, я укладываю готовые крендели на лубки [1], мальчишки берут у меня полный лубок и бегут к варщику, он сбрасывает сырое тесто в кипящий котел, через минуту вычёрпывает их оттуда медным ковшом в длинное медное же и лужёное корыто, снова укладывает на лубки скользкие, жгучие кусочки теста, пекарь сушит их, ставя на шесток [2], складывает на лопату, ловко швыряет в печь, а оттуда они являются уже румяными, – готовы!

Если я не успею вовремя разложить все подбросанные ко мне крендели – они тотчас слежятся, слепятся, работа испорчена, и люди за столом, ругая меня, швыряют в лицо мне шматки теста.

Ко мне все относятся недружелюбно, подозрительно, точно ожидая чего-то дурного от меня.

Восемнадцать носов сонно и уныло качаются над столом, лица людей мало отличны одно от другого, на всех лежит одинаковое выражение сердитой усталости. Тяжко бухает железный рычаг мялки, – мой сменщик мнёт тесто. Это очень тяжёлая работа – вымесить семипудовую массу так, чтоб она стала крутой и упругой, подобно резине, и чтоб в ней не было ни одной катышка сухой, непромешанной муки. А сделать это нужно быстро, самое большое – в полчаса.

Потрескивают дрова в печи, бурлит вода в котле, шаркают и шлёпают руки по столу – всё сливается в непрерывный, однотонный звук, редкие сердитые возгласы людей не оживляют его. Только на полу среди мальчиков-низальщиков ясно звучит тонкий, свежий голосок одиннадцатилетнего Яшки Артюхова, человека курносого и шепелявого; всё время он, то хмурясь и делая страшное лицо, то смеясь, возбуждённо рассказывает какие-то невероятные истории о попадье, которая из ревности облила свою дочь-невесту керосином и зажгла её, о том, как ловят и бьют конокрадов, о домовых и колдунах, ведьмах и русалках. За этот неугомонно звенящий голос мальчика прозвали Бубенцом.

Я уже знаю, что Василий Семёнов ещё недавно – шесть лет тому назад – был тоже рабочим, пекарем, сошёлся с женою своего хозяина, старухой, научил её извести пьяницу-мужа мышьяком и забрал всё дело его в свои руки, а её – бьёт и до того запугал, что она готова, как мышь, жить под полом, лишь бы не попадаться на глаза ему. Мне рассказали эту историю просто, как очень обычное, – даже зависти к удачнику я не уловил в рассказе.

– Почему это он у вас без штанов гуляет?

Кривой старик Кузин с тёмным и злым лицом объяснил внушительно:

– Похмелье выхаживает, у него только третьеводни запой миновал.

– А он не полуумный?

Несколько пар глаз взглянуло на меня насмешливо и сердито, а Цыган многообещающе вскричал:

– Погоди, он те развернёт мозги!

Все – от шестидесятилетнего Кузина до Яшки, который нанизывает крендели на мочало за два рубля от покрова до пасхи, – все говорят о хозяине с чувством, почти близким к хвастовству: вот-де какой человек Василий Семёнов, найди-ка другого такого же! Он развратник, у него три любовницы, двух он сам мучает, а третья – его бьёт. Он – жаден, харчи даёт скверные, только по праздникам щи с солониной, а в будни – требуха; в среду и пятницу – горох да просяная каша с конопляным маслом. А работы требует семь мешков каждый день, – в тесте это сорок девять пудов, и на обработку мешка уходит два с половиной часа.

– Удивительно говорите вы о нём, – сказал я.

Пекарь, сверкая белками умных глаз, спросил:

– Чего – удивительно?

– Словно хвалитесь...

– Есть чем хвалиться! Ты раскуси: был он простой рабочий человечешко, а теперь перед ним квартальный шапку ломит! Он вон грамоты вовсе не знает – кроме счёта – а держит дело на сорок человек – всё в уме!

Кузин, благочестиво вздохнув, подтвердил:

– Разума дал ему Христос достаточно.

А Пашка, разгораясь, кричит:

– Крендельная, хлебопекарня, булочная, сушечная – оборотись-ка с этим без записи! Одного кренделя мордве да татарам в уезды за зиму он продаёт боле пяти тысяч пуд, да семеро разносчиков в городе обязаны им каждый день продать по два пуда кренделей и сушек первого сорта – видал?

Воодушевление пекаря было непонятно мне и раздражало меня – я уже имел достаточно оснований думать и говорить о хозяевах иначе.

А старый Кузин, прикрыв вороватый глаз седой бровью, как будто дразнит:

– Это, братец ты мой, не прост человек!

– Видно – не прост, коли вы сами говорите, что он хозяина отравил...

Пекарь, нахмуря чёрные брови, неохотно проговорил:

– Свидетелей этому нет. Бывает, что со зла да по зависти про человека говорят – убил, отравил, ограбил, – не любят, когда нашему брату удача приходит...

– Какой же он тебе брат?

Цыган не ответил, а Кузин, взглянув в угол, сердито сказал мальчишкам:

– Дьяволята, – вам бы освободить образ-то божий от грязи! Экая татарва...

Все остальные молчат, точно их нет на земле...

Когда наступала моя очередь укладывать крендели, – стоя у стола я рассказывал ребятам всё, что знал и что – на мой взгляд – они тоже должны были знать. Чтобы заглушить ворчливый шум работы, нужно было говорить громко, а когда меня слушали хорошо, я, увлекаясь, повышал голос и, будучи застигнут хозяином в такой момент «подъёма духа», получил от него прозвище и наказание.

Он бесшумно явился за спиной у меня в каменной арке, отделявшей мастерскую от хлебопекарни; пол хлебопекарни был на три ступеньки выше пола нашей мастерской, – хозяин встал в арке, точно в раме, сложив руки на животе, крутя пальцами, одетый – как всегда – в длинную рубаху, завязанную тесьмой на жирной шее, тяжёлый и неуклюжий, точно куль муки.

Стоял и с высоты смотрел на всех разными глазами, причём зелёный зрачок, правильно круглый, играл и сокращался, точно у кота, а серый – овальный – смотрел неподвижно и тускло, как у мёртвого.

Я продолжал говорить до поры, пока не заметил, что все звуки в мастерской стали тише, хотя работа пошла быстрее, и в то же время за плечом у меня раздался насмешливый голос:

– Про што грохаешь, Грохало?

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Я обернулся и сконфуженно замолчал, а он прошёл мимо меня, смерив фигуру мою острым взглядом зелёного глаза, и спросил пекаря:

– Как работает?

Павел одобрил:

– Ничего! Здоров...

Не торопясь, точно мяч, хозяин перекатился наискось мастерской и, поднявшись на ступени к двери в сени, сказал Цыгану лениво, тихо:

– Поставь его тесто набивать – без смены неделю...

И скрылся за дверью, впустив в мастерскую белое облако холода.

– Здо-орово! – протянул Ванок Уланов, хилый, колченогий парень с наглым лицом, поразительно бесстыдный в словах и движениях.

Кто-то насмешливо свистнул, – пекарь окинул всех сердитым взглядом:

– Шевели руками! – и матерно выругался.

С пола из угла, где сидели мальчики, раздался сердитый, укоряющий голос Яшки:

– Стоз вы, челти, – с клаю стола котолые? Толкнули бы человека, когда видите – хозяин идёт...

– Да-а, – сипло протянул его брат Артём, парень лет шестнадцати, взъерошенный, точно петух после драки, – это не шуточка – неделю без смены тесто набивать, – косточки-то взноют!

С краю стола сидел старик Кузин и солдат Милов, добродушный мужик, заражённый сифилисом; Кузин, спрятав глаз, промолчал, а солдат виновато проговорил:

– Не догадался я...

Пекарь, ухмыляясь до ушей, сказал:

– Теперь имя тебе – Грохало!

Человека три неохотно засмеялись, и наступило неловкое, тягостное молчание. На меня старались не смотреть.

– А Яшка всегда первый правду чует, – неожиданно воскликнул густым басом Осип Шатунов, кособокий мужик с калмыцким лицом и невидными глазами. – Не жилец он на земле, Яшка этот.

– Посол к чолту! – крикнул мальчик звонко и весело.

– Язык ему надо отрезать, – предложил Кузин; Артём сердито крикнул ему:

– Тебе, ябеда, надо язык с корнем выдрать!

– Цыц! – раздалось от печки.

Артём встал и не торопясь пошёл в сени, – маленький брат строго говорит:

– Куда посол босиком, чолт? Надень ополки, – плостудисса – подохнес!

Все, видимо, привыкли к этим замечаниям, все молчат. Артём смотрит на брата ласково разбегающимися глазами и – надевает опорки, подмигивая ему.

Мне грустно, чувство одиночества и отчуждённости от этих людей скипается в груди тяжким комом. В грязные окна бьётся вьюга – холодно на улице! Я уже видал таких людей, как эти, и немного понимаю их, – знаю я, что почти каждый переживает мучительный и неизбежный перелом души: родилась она и тихо выросла в деревне, а теперь город сотнями маленьких молоточков ковал на свой лад эту мягкую,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru
податливую душу, расширяя и суживая её.

Особенно ясно чувствовалась жестокая и безжалостная работа города, когда безглагольные люди начинали петь свои деревенские песни, влагая в их слова и звуки немотные недоумения и боли свои.

Разнесча-астная девица-а,
– неожиданно запевал Уланов высоким, почти женским голосом, – тотчас же кто-нибудь как бы неволью продолжал:

Выступала ночью в поле...
Медленно пропетое слово «поле» будило ещё двоих-троих; наклонив головы пониже, спрятав лица, они вспоминали:

В поле светел месяц светит,
В поле веет тихий ветерок...
Раньше, чем они допоят последнюю строчку, Ванок рыдающим звуком продолжает:

Разнесчастливая девица-а...
Дружней и громче разыгрывается песня:

Ветру речи говорила:
– Ветер тихий, друг сердечный,
Вынь ты сердце-душу из меня!
Поют, и – в мастерской как будто веет свежий ветер широкого поля; думается о чём-то хорошем, что делает людей ласковее и краше душою. И вдруг кто-нибудь, точно устыдясь печали ласковых слов, пробормочет:

– Ага, шкурёха, заплакала...

Покраснев от напряжения, Уланов ещё выше и грустней зачинает:

Разнесчастливая девица-а...
Задушевные голоса поют убийственно тоскливо:

Ветер жалостно просила:
– Отнеси ты моё сердце
Во дремучие, во тёмные леса!..
– А сама, не бойсь, – и песню разрывают похабные, грязно догадливые слова. В запахи поля вторгается гнилой запах тёмного подвала, тесного двора.

– Э-эх, мать честная! – вздохнёт кто-нибудь. Ванок и лучшие голоса всё более напрягаются, как бы желая погасить синие огни гниения, чадные слова, а люди всё больше стыдятся повести о любовной тоске, – они знают, что любовь в городе продаётся по цене от гривенника, они покупают её, болеют и гниют от неё, – у них уже твёрдо сложилось иное отношение к ней.

Разнесчастливая девица!
Эх, никто меня не любит...
– Не кобенься, – полюбят хоть десятеро...

Ты зарой-ка моё сердце
Под коренья, под осенние листья.
– Им бы, подлым, всё замуж, да мужику на шею...

– Само собой...

Хорошие песни Уланов поёт, крепко зажмурив глаза, и в эти минуты его бесстыдное, измятое, старческое лицо покрывается какими-то милыми морщинками, светит застенчивой улыбкой.

Но циничные выкрики всё чаще брызгают на песню, точно грязь улицы на праздничное платье, и Ванок чувствует себя побеждённым. Вот он открыл мутные глаза, наглая улыбка кривит изношенные щёки, что-то злое дрожит на тонких губах. Ему необходимо сохранить за собою славу хорошего запевалы, – этой славой он – лентяй, человек не любимый товарищами – держится в мастерской. Встряхнув угловатой головою в рыжих, редких волосах, он взвизгивает:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Ка-ак на улице Проломной
Да – там лежит студент огромный...
Со свистом, воем, с каким-то особенным сладостным цинизмом, как будто испытывая
мстительное наслаждение петь гнусные слова, – вся мастерская дружно гремит:

Лежит – усмехается...

Точно стадо свиней ворвалось в красивый сад и топчет цветы. Уланов противен и
страшен: бешено возбуждённый, он весь горит, серое лицо в красных пятнах, глаза
выкатились, тело развратно извивается в бесстыдных движениях, и невероятно
высокий голос его приобрёл какую-то силу, режущую сердце яростной тоскою:

Идут девки, идут дамы,
– выводит он, размахивая руками, и все так же возбуждённо орут:

Прямо... о-ох, ты!..

Прямо!

Прямо...

Бурно кипит грязь, сочная, жирная, липкая, и в ней варятся человечьи души, –
стонут, почти рыдают. Видеть это безумие так мучительно, что хочется с разбегу
удариться головой о стену. Но вместо этого, закрыв глаза, сам начинаешь петь
похабную песню, да ещё громче других, – до смерти жалко человека, и ведь не
всегда приятно чувствовать себя лучше других.

Порою бесшумно является хозяин или вбегает рыжий, кудрявый приказчик Сашка.

– Веселитесь, ребятки? – слащаво-ядовитым голоском спрашивал Семёнов, а Сашка
просто кричал:

– Тише, сволочь!

И всё тотчас гасло, а от быстроты, с которой эти люди подчинялись властному
окрику, – на душе становилось ещё темнее, ещё тяжелее.

Однажды я спросил:

– Братцы, зачем вы портите хорошие песни?

Уланов взглянул на меня с удивлением:

– Али мы плохо поём?

А Осип Шатунов сказал своим низким, всегда как бы равнодушным голосом:

– Песня – ей ничего нельзя сделать плохого, чем бы её испортить. Она – как душа,
мы все помрём, а песня останется... Навсегда!

Говоря, Осип опускал глаза, точно монашенка, сборщица на монастырь, а когда он
молчал, его широкие калмыцкие скулы почти непрерывно шевелились, как будто этот
тяжёлый человек всегда лениво жуёт что-то...

Я устроил из лучины нечто вроде пюпитра и, когда – отбив тесто – становился к
столу укладывать крендели, ставил этот пюпитр перед собою, раскладывал на нём
книжку и так – читал. Руки мои не могли ни на минуту оторваться от работы, и
обязанность перевёртывать страницы лежала на Милове, – он исполнял это
благоговейно, каждый раз неестественно напрягаясь и жирно смачивая палец слюною.
Он же должен был предупреждать меня пинком ноги в ногу о выходе хозяина из своей
комнаты в хлебопекарню.

Но солдат был порядочный ротозей, и однажды, когда я читал «Сказку о трёх
братьях» Толстого, за плечом у меня раздалось лошадиное фыркание Семёнова,
протянулась его маленькая, пухлая рука, схватила книжку, и – не успел я
опомниться – как он, помахивая ею, пошёл к печи, говоря на ходу:

– Чего придумал, а? Ловок...

Я настиг его, схватил за руку:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiۛta
– Жечь книгу – нельзя!

– Как так?

– Так. Нельзя!

В мастерской стало очень тихо. Я видел нахмуренное лицо пекаря, его белые, оскаленные зубы, и ждал, что он крикнет: «Бей!»

Зеленело в глазах, и тряслись ноги. Ребята работали во всю силу, как будто торопясь окончить одно и приняться за другое дело.

– Нельзя? – спокойно переспросил хозяин, не глядя меня, склонив голову набок и точно прислушиваясь чему-то.

– Дайте-ка сюда.

– Ну... на!

Я взял измятую книжку, выпустил руку хозяина и отошёл на своё место, а он, наклоня голову, прошёл, как всегда, молча на двор. В мастерской долго молчали, потом пекарь резким движением отёр пот с лица и, топнув ногою, сказал:

– Ух, даже сердце захолонуло, ну вас к чёрту! Так ждал – сейчас схлестнётся он с тобой...

– И я, – радостно подтвердил Милов.

– Мо-огла быть драка! – с сожалением воскликнул Цыган. – Ну, теперь, Грохало, держись. Начнёт он тебя покорять – ух ты!

Кузин ворчал, покачивая седою головой:

– Не ко двору ты нам, парень! Скандалы нам не надобны. Разбередишь хозяина ты один, а он на нас станет сердце срывать, – да!

Артюшка пониженным голосом ругал солдата:

– Растяпа! Что ж ты – не видал?

– Стало быть, не видал.

– А тебе не наказывали – гляди?!

– А я вот не доглядел...

Большинство равнодушно молчало, слушая сердитую воркотню. Я не мог понять, как относятся ко мне эти люди, чувствовал себя нехорошо и думал, что, пожалуй, лучше мне уйти отсюда. И, как будто поняв мои думы, Цыган сердито заговорил:

– Ты, Грохало, бери-ка расчёт, – всё равно теперь тебе житья не будет! Натравит он на тебя Егорку, и – кончено дело!

Но тут с пола встал Яшка, сидевший на рогоже, скрестив ноги, как портной, – встал, выпучил живот и, покачиваясь на кривых ногах рахитика, очень страшно выкатив молочно-синие глаза, крикнул, подняв кулачок:

– Сасем уходить? Дай ему в молду! А будет длаться – я заступлюсь!

Секунда молчания, и – все захохотали тем освежающим, здоровым смехом, который, точно летний ливень, смывает с души человека грязь, пыль и всякие наросты, обнажая доброе и ясное, сталкивает людей в тесную массу единочувствующих, в одно целостное, человеческое тело.

Бросив работать, все качались, хватаясь за бока, выли, взвизгивали и, задыхаясь смехом, обливались слезами, а Яшка – тоже сконфуженно посмеиваясь – одёргивал рубаху:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– А – сто? Вот ессе!.. Я возьму гилю в тли фунта, а то – полено...

Первый кончил смеяться Шатунов, вытер лицо ладонью и, ни на кого не глядя, заговорил:

– Опять Яшка верно говорит, младенец! Зря пугаете человека. Он – добро сказывает, а вы ему – уходи...

– Упредить надо же! – сказал Пашка, отдыхая от смеха. – Али мы – собаки?

И все дружно заговорили о том, как бы предохранить меня от Егора:

– Ему – что убить человека, что изувечить, – всё едино – просто!

Больше всех старался Артюшка, быстро создавая различные нелепые планы обороны и наступления, а старый Кузин, воткнув глаз в угол, ворчал сердито:

– Который раз говорю я вам, мальчишки, – почистили бы образ-то божий...

Цыган, шаркая лопатой, убеждал как бы сам себя:

– Надо быть готовым ко всякому греху... У нас озорство – нипочём товар...

Мимо окон по двору кто-то прошёл, тяжело топя ногами, – всезнающий Яшка оживлённо сказал:

– Егол идёт волота затволять, – свиней глядеть будут...

Кто-то пробормотал:

– Не уморили его в больнице...

Стало тихо и скучно. Через минуту пекарь предложил мне:

– Хошь Семёновский парад поглядеть?

..Я стою в сенях и, сквозь щель, смотрю во двор: среди двора на ящике сидит, оголив ноги, мой хозяин, у него в подоле рубахи десятка два булок. Четыре огромных йоркширских борова, хрюкая, трутся около него, тычут мордами в колени ему, – он суёт булки в красные пасти, хлопает свиней по жирным розовым бокам и отечески ласково ворчит пониженным, незнакомым мне голосом:

– У-у, кушать хочется зверям, булочки звери хотят? На, на, на...

Его толстое лицо расплылось в мягкой, полусонной улыбке, серый глаз ожил, смотрит благожелательно, и весь он какой-то новый. За ним стоит широкоплечий мужик, рябой, с большими усами, обритой досиня бородою и серебряной серьгой в левом ухе. Сдвинув набекрень шапку, он круглыми, точно пуговицы, оловянными глазами смотрит, как свиньи толкают хозяина, и руки его, засунутые в карманы поддёвки, шевелятся там, тихонько встряхивая полы.

– Продавать пора, – сипло сказал он, – его тупое, как обух топора, лицо не дрогнуло.

– Успею, – недовольно и громко отозвался хозяин. – Когда ещё таких наживу.

Боров ткнул его рылом в бок – Семёнов покачнулся на ящике и сладостно захохотал, встряхивая рыхлое тело и сморщив лицо так, что его разные глаза утонули в толстых складках кожи.

– Отшельнички-шельмочки! – взвизгивал он сквозь смех. – В темноте... во тьме живут, а – вот они – чхо, чхо! Во-от они – а! Затворнички, угоднички мои-и...

Свиньи отвратительно похожи одна на другую, – на дворе мечется один и тот же зверь, четырежды повторенный с насмешливой, оскорбляющей точностью. Малоголовые, на коротких ногах, почти касаясь земли голыми животами, они наскакивают на человека, сердито взмахивая седыми ресницами маленьких ненужных глаз, – смотрю на них, и точно кошмар давит меня.

Подвизгивая, хрюкая и чавкая, йоркширы суют тупые, жадные морды в колени хозяина, трутся о его ноги, бока, – он, тоже взвизгивая, отпихивает их одной рукой, а в другой у него булка, и он дразнит ею боровов, то – поднося её близко к пастям, то – отнимая, и трясётся в ласковом смехе, почти совершенно похожий на них, но ещё более жуткий, противный и – любопытный.

Лениво приподняв голову, Егор долго смотрит в небо, по-зимнему тусклое и холодное, как его глаза; над плечом его тихо качается высветленная серьга.

– Сиделка в больнице, – неестественно громко заговорил он, – сказывала мне секретно, будто светупредставления не буде...

Пытаясь схватить борова за ухо, Семёнов переспросил:

– Не будет?

– Нет.

– Врёт, поди, дура...

– Может, и врёт.

Хозяин всё ласкает набалованных, чистых и гладких свиней, но движения рук его становятся ленивее – он, видимо, устал.

– Грудастая такая баба, пучеглазая, – вздохнув, вспоминает Егор.

– Сиделка?

– Ну, да! Свету, говорит, представления не надо ждать, а солнце – затмится в августе месяце совсем...

Семёнов снова и недоверчиво переспрашивает:

– Ну? Совсем?

– Совсем. Только-де – это ненадолго, просто – тень пройдёт.

– Откуда – тень?

– Не знаю. От бога, верно...

Встав на ноги, хозяин строго и решительно сказал:

– Дура! Противу солнца тени быть не может, оно всякую тень прободёт. Раз! А бог – утверждается – светлый, – какая от него тень? Два! Кроме того – в небе везде пустота одна, – откуда в пустоте тень появится? Три. Дура она неповитая...

– Конечно, как баба...

– То-то и есть... Загоняй-ко ребятишек в хлевушок...

– Позову, кого-нибудь из тех.

– Позови. Да – гляди – не били бы зверей, а коли кто решится – бей его сам в мою голову...

– Знаю...

Хозяин идёт по двору, йоркширы катятся вслед за ним, как поросята за маткой...

На другой день рано утром хозяин широко распахнул дверь из сеней в мастерскую, встал на пороге и сказал с ядовитой сладостью:

– Господин Грохало, подь-ка перетаскай мучку со двора в сенцы...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
В дверь белыми клубами врывается холод, окутывая варщика Никиту, – оглянувшись на хозяина, Никита попросил:

– Притвори дверь–то, Василий Семёныч, дует больно мне...

– Что–о? Дует? – взвизгнул Семёнов и, ткнув его в затылок маленьким тугим кулачком, исчез, оставив дверь открытой. Никите было около тридцати лет, но он казался подростком – маленький, пугливый, с жёлтым лицом в кустиках бесцветных волос, с большими, всегда широко открытыми глазами, в которых замерло выражение неизбывной боли и страха. Шесть лет – с пяти часов утра и до восьми вечера – торчит он у котла, непрерывно купая руки в кипятке, правый бок ему палило огнём, а за спиной у него – дверь на двор, и несколько сот раз в день его обдавало холодом. Пальцы у него были искривлены ревматизмом, лёгкие воспалены, а на ногах натянулись синие узлы вен.

Надев на голову пустой мешок, я пошёл на двор, и когда поравнялся с Никитой – он сказал мне тихонько, сквозь зубы:

– Это всё из–за тебя, черти бы те взяли...

Из больших его глаз лились мутные, как пот, слёзы.

Я вышел на двор, убито думая:

«Надо уходить отсюда...»

Хозяин в женской лисьей шубке стоял около мешков муки, их было сотни полторы, даже треть не убралась бы в тесные сени. Я сказал ему это, – он издевательски усмехнулся, отвечая:

– Не уберётся – назад перетаскать заставлю... Ничего, ты здоров...

Сдёрнув мешок с головы, я заявил Семёнову, что не позволю ему издеваться надо мной и пусть он даст мне расчёт.

– Таскай, таскай, знай! – снова усмехнувшись, сказал он. – Куда пойдёшь зимой–то? С голоду подохнешь...

– Расчёт!

Его серый глаз налился кровью, зелёный злобно забегал, он сжал кулак и, сунув им в воздух, спросил всхлипнувшим голосом:

– А в рожу – хочешь?

Меня взорвало. Отбив его протянутую руку, я схватил его за ухо и стал молча трепать, а он толкал меня левой рукой в грудь и негромко, удивлённо вскрикивал:

– Постой! Что ты? Хозяина–то? Пусти, чёрт...

Потом, то взвешивая на левой руке отшибленную правую, то потирая красное ухо и глядя мне в лицо остановившимися, нелепо вытаращенными глазами, он стал бормотать:

– Хозяина? Ты? Ты – кто такой, а? Да я... я – полицию вскричу! Я тебя...

И вдруг, обиженно сложив губы трубочкой, он протяжно, уныло свистнул и пошёл прочь, моргая правым глазом.

Моё бешенство сгорело, точно солома, – было смешно смотреть, как он тихонько катится в угол и под короткой шубёнкой вздрагивает, точно обиженный, его жирный зад.

Стало холодно, а в мастерскую идти не хотелось, и, чтоб согреться, я решил носить мешки в сени, но, вбежав туда с первым же мешком, увидел Шатунова: он сидел на корточках перед щелью в стене, похожий на филина. Его прямые волосы были перевязаны лентой мочала, концы её опустились на лоб и шевелятся вместе с бровями.

– Видел я, как ты его, – тихонько заговорил он, тяжело двигая лошадиными челюстями.

– Ну, – так что?

Монгольские глазки, расширившись, смотрели непонятым взглядом, смущая меня.

– Слушай! – сказал он, встав и подходя ко мне вплоть. – Я про это никому не скажу, и ты – не говори никому...

– Я и не собираюсь.

– То-то! Всё-таки хозяин! Верно?

– Ну?

– Надо кого-нибудь слушать, а то – передерёмся все!

Он говорил внушительно и очень тихо, почти шёпотом:

– Надобно, чтобы уважение было...

Не понимая его, я рассердился:

– Поди-ка ты к чёрту...

Шатунов схватил меня за руку, безобидно говоря таинственным шёпотом:

– Егорки – не бойся! Ты какой-нибудь заговор против страха ночного знаешь? Егорка ночному страху предан, он смерти боится. У него на душе грех велик лежит... Я иду раз ночью мимо конюшни, а он стоит на коленках – воет: «Пресвятая матушка владычица Варвара, спаси нечаянные смерти», – понимаешь?

– Ничего не понимаю!

– Вот этим ты на него и надави!

– Чем?

– Страхом. А на силу свою не полагайся, он те впятеро сильнее...

Чувствуя, что этот человек искренно желает мне добра, я сказал ему спасибо, протянул руку. Он дал свою не сразу, а когда я пожал его твёрдую ладонь, он чмокнул сожалительно и, опустив глаза, что-то невнятно промычал.

– Ты – что?

– Всё равно уж, – сказал он, отмахнувшись от меня, и ушёл в мастерскую, а я стал носить мешки, раздумывая о случившемся.

Я кое-что читал о русском народе, о его артельности, социальности, о мягкой, широкой, отзывчивой на добро его душе, но гораздо больше я знал народ непосредственно, с десяти лет живя за свой страх, вне внушений семьи и школы. Большой частью мои личные впечатления как будто хорошо сливались с прочитанным: да, люди любят добро, ценят его, мечтают о нём и всегда ждут, что вот оно явится откуда-то и обласкает, осветит суровую, тёмную жизнь.

Но мне всё чаще думалось, что, любя доброе, как дети сказку, удивляясь его красоте и редкости, ожидая как праздника, – почти все люди не верят в его силу и редкие заботятся о том, чтоб оберечь и охранить его рост. Всё какие-то невспаханные души: густо и обильно поросли они сорной травой, а занесёт случайно ветер пшеничное зерно – росток его хиреет, пропадает.

Шатунов сильно заинтересовал меня, – в нём почудилось мне что-то необычное...

С неделю хозяин не показывался в мастерскую и расчёта мне не давал, а я не настаивал на нём, – идти было некуда, а здесь жизнь становилась с каждым днём

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
всё интереснее.

Шатунов явно сторонился от меня, попытки разговаривать с ним «по душе» не имели успеха, – на мои вопросы он – потупив глаза, двигая скулами – отвечал что-то непонятное:

– Конечно, если бы знать верные слова! Однако же у каждого – своя душа...

Было в нём что-то густо-тёмное, отшельничье: говорил он вообще мало, не ругался по-матерному, но и не молился, ложась спать или вставая, а только, садясь за стол обедать или ужинать, молча осенял крестом широкую грудь. В свободные минуты он незаметно удалялся куда-нибудь в угол, где потемнее, и там или чинил свою одежду или, сняв рубаху, бил – на ощупь – паразитов в ней. И всегда тихонько мурлыкал низким басом, почти октавой, какие-то странные, неслыханные мною песни:

Ой – да что-й-то мне сегодня белый свет не по душе...
Шутливо спросишь его:

– Сегодня только? А вчера по душе был?

Не ответив, не взглянув – он тянет:

Выпил бы я браги, да – не хочется...
– Да и нет её, про тебя, браги-то...

Точно глухой – он и бровью не поведёт, продолжая уныло:

К милой бы пошёл, – к милой ноги не ведут,
Ой, ноги не ведут, да и сердце не зовёт...
Пашка Цыган не любит скучных песен.

– Эй, волк! – сердито кричит он, оскалив зубы. – Опять завыл?

А из тёмного угла ползут одно за другим панихидные слова:

Душенька моя не гораздо болит,
Ой, не гораздо болит – ночью спать не велит...
– Ванок! – командует пекарь. – Гаси его, чего чадит? Валяй «Козла»!

Поют похабную, плясовую песню, и Шатунов умело, но равнодушно пускает густые, охающие ноты, – они как-то особенно ловко ложатся под все слова и звуки крикливо развратной песни, а порою она вся тонет в голосе Шатунова, пропадая, как бойкий ручей в тёмной стоячей воде илистого пруда.

Пекарь и Артюшка относятся ко мне заметно лучше, – это новое отношение неуловимо словами, но я хорошо чувствую его. А Яшка Бубенчик, в первую же ночь после моего столкновения с хозяином, притащил в угол, где я спал, мешок, набитый соломой, и объявил:

– Ну, я лядом с тобой тепель буду!

– Ладно.

– Давай – подлужимся!

– Давай!

Он тотчас подкатился под бок ко мне и секретно зашептал:

– Мысы талаканов не едят?

– Нет, а что?

– Так я и знал!

И всё так же тихо, но очень торопливо ворочая толстым языком, он стал рассказывать, поблескивая милыми глазами:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma

– Знаес, – видел я, как одна мыша с талаканом лазговаливала, – убей глом – видел! Плоснулся ночью лаз, – а на свету месяца, неподалечку от меня, она сталается около кленделя – глызёт и глызёт, а я лезу тихонечко. Тут подполз талакан и ещё два, а она – пелестала да усишками седьми шевелит, и они тоже водят усами, – вот как немой Никандла, – так и говолят... узнать бы – про что они? Чай – интелесно? Спишь?

– Нет! Говори, пожалуйста...

– Она, будто, сплашивает талаканов: «Вы отколь?» – «Мы – делевенские»... ведь они из делевень в голод напоззают, опосля пожалов... они ещё до пожала из избы бегут, они уж знают, когда пожалу быть. Дед-домовик скажет им: «Беги, лебята», они и – айда! Ты домовика – видал?

– Нет ещё...

– А я – вида-ал...

Но тут он неожиданно всхрапнул, точно задохнувшись, и – замолк до утра Бубенчик!

Хозяин почти каждый день стал приходить в мастерскую, словно нарочно выбирая то время, когда я что-нибудь рассказывал или читал. Входя бесшумно, он усаживался под окном, в углу слева от меня, на ящик с гирями, и, если я, заметив его, останавливался, – он с угрюмой насмешливостью говорил:

– Болтай, болтай, профессор, ничего не будет, мели, знай!

И долго сидел, молча раздувая щёки так, что под жидкими волосами шевелились его маленькие уши, плотно прилаженные к черепу, какие-то невидные. Порою он спрашивал жабьим звуком:

– Как, как?

А однажды, когда я излагал строение вселенной, он визгливо крикнул:

– Стой! А где – бог?

– Тут же...

– Врёшь! Где?

– Библию знаете?

– Ты мне зубов не заговаривай – где?

– «Земля же бе невидима и нестроена и тьма верху бездны и дух божий ношашеся верху воды...»

– Во-оды! – торжествуя, крикнул он. – А ты внушаешь – огонь был! Вот я ещё спрошу попа, так ли это написано...

Встал и, уходя, добавил угрюмо:

– Больно ты, Грохало, много знаешь, гляди – хорошо ли это будет тебе!..

Качая головою, Пашка озабоченно сказал:

– Поставит он тебе капкан!

Два дня спустя после этого в мастерскую вбежал Сашка и строго крикнул мне:

– К хозяину!

Бубенчик поднял вверх курносое, обрызганное веснушками лицо и серьёзно посоветовал:

– Возьми гилю фунта в тли!

Я ушёл под тихий смех мастерской.

В тесной комнате полуподвального этажа, за столом у самовара сидели, кроме моего, ещё двое хозяев–крендельщиков – Донов и Кувшинов. Я встал у двери; мой ласково–ехидным голосом приказал:

– А ну–ка, профессор Грохалейший, расскажи–ка ты нам насчёт звёзд и солнышка, и как всё это случилось.

Лицо у него было красное, серый глаз прищурен, а зелёный пылал весёлым изумрудом. Рядом с ним лоснились, улыбаясь, ещё две рожи, одна – багровая, в рыжей щетине, другая – тёмная и как бы поросшая плесенью. Лениво пыхтел самовар, осеняя паром странные головы. У стены, на широкой двуспальной кровати сидела серая, как летучая мышь, старуха–хозяйка, упираясь руками в измятую постель, отвесив нижнюю губу; покачивалась и громко икала. В углу забыто дрожал, точно озябший, розовый огонёк лампы; в простенке между окон висела олеография [3]: по пояс голая баба с жирным, как сама она, котом на руках. В комнате стоял тяжёлый запах водки, солёных грибов, копчёной рыбы, а мимо окон, точно огромные ножницы, молча стригущие что–то, мелькали ноги прохожих.

Я подвинулся вперёд, – хозяин, схватив со стола вилку, привстал и, постукивая ею о край стола, сказал мне:

– Нет, ты стой там... Стой и рассказывай, а после я тебя угощу...

Я решил, что тоже угощу его потом, и начал рассказывать.

На земле жилось нелегко, и поэтому я очень любил небо. Бывало, летом, ночами, я уходил в поле, ложился на землю вверх лицом, и казалось мне, что от каждой звезды до меня – до сердца моего – спускается золотой луч, связанный множеством их со вселенной, я плаваю вместе с землёй между звёзд, как между струн огромной арфы, а тихий шум ночной жизни земли пел для меня песню о великом счастье жить. Эти благотворные часы слияния души с миром чудесно очищали сердце от злых впечатлений будничного бытия.

И здесь, в этой грязненькой комнате, пред лицом трёх хозяев и пьяной бабы, бессмысленно вытаращившей на меня мёртвые глаза, я тоже увлёкся, забыв обо всём, что оскорбительно окружало меня. Я видел, что две рожи обидно ухмыляются, а мой хозяин, сложив губы трубочкой, тихонько посвистывает и зелёный глаз его бегаёт по лицу моему с каким–то особенным, острым вниманием; слышал, как Донов сипло и устало сказал:

– Ну и звонит, дьявол!

А Кувшинов сердито воскликнул:

– Чумовой он, что ли?

Но мне это не мешало: мне хотелось заставить их слушать мой рассказ и казалось, что они уже поддаются моим словам...

Вдруг хозяин, не шевелясь, выговорил медленно, тоненьким голосом и в нос:

– Ну, – будет, Грохало! Спасибо, брат! Очень всё хорошо. Теперича, расставив звёзды по своим местам, поди–ка ты покорми свинок, свинушечек моих...

Теперь об этом смешно вспоминать, но в тот час мне было невесело, и я не помню, как победил бешенство, охватившее меня.

Помню, что, когда я вбежал в мастерскую, Шатунов и Артюшка схватили меня, вывели в сени и там отпаивали водой. Яшка Бубенчик убедительно говорил:

– Сто–о? Ага–а, не послушал меня?

А Цыган, нахмуренный и сердитый, ворчал, похлопывая меня по спине:

– Охота связываться... Ежели у него селезёнка разыгралась, – ему сам архиерей

Кормление свиней считалось обидным и тяжёлым наказанием: йоркширы помещались в тёмном, тесном хлеве, и когда человек вносил к ним ведра корма, они подкатывались под ноги ему, толкали его тупыми мордами, редко кто выдерживал эти тяжёлые любезности, не падая в грязь хлева.

Войдя в хлев, нужно было тотчас же прислониться спиной к стене его, разогнать зверей пинками и, быстро вылив поило в корыто, скорее уходить, потому что рассерженные ударами свиньи кусались. Но было гораздо хуже, когда Егорка, отворив дверь в мастерскую, возглашал загробным голосом:

– Эй, кацапы, гайда свиней загонять!

Это значило, что выпущенные на двор животные разыгрались и не хотят идти в хлев. Вздыхая и ругаясь, на двор выбегало человек пять рабочих, и начиналась – к великому наслаждению хозяина – весёлая охота; сначала люди относились к этой дикой гоньбе с удовольствием, видя в ней развлечение, но скоро уже задыхались со зла и усталости; упрямые свиньи, катаясь по двору, как бочки, то и дело опрокидывали людей, а хозяин смотрел и, впадая в охотничье возбуждение, подпрыгивал, топал ногами, свистел и визжал:

– Ваньки! Не поддавайся! Сковыривай болячки!

Когда человек валился на землю – хозяин визжал особенно громко и радостно, хлопая себя руками по толстым, как у женщины, бёдрам, захлёбываясь смехом.

И действительно смешно, должно быть, было смотреть, как по двору быстро мечутся туши розового жира, а вслед им бегают, орут, размахивая руками, тощие двуногие, напудренные мучной пылью, в грязных лохмотьях, в опорках на босую ногу, – бегают и падают или, ухватив борова за ногу, – влачатся по двору.

А однажды боров вырвался на улицу и мы, шестеро парней, два часа бегали за ним по городу, пока прохожий татарин не подбил свинье передние ноги палкой, после чего мы должны были тащить животное домой на рогоже, к великой забаве жителей. Татары, покачивая головами, презрительно отплёвывались, русские живо образовывали вокруг нас толпу провожатых, – чёрненький, ловкий студентик, сняв фуражку, сочувственно и громко спросил Артёма, указывая глазами на верещавшую свинью:

– Мамаша или сестрица?

– Хозяин! – ответил усталый и злой Артём.

Ненавидели мы свиней; живя лучше нас, они служили для всех, кроме хозяина, источником великих обид и грязных забот о их здоровье и сытости.

Когда в мастерской узнали, что я назначен ухаживать за свиньями целую неделю, – кое-кто пожалел меня этой противной русской жалостью, которая липнет к сердцу, как смола, и обессиливает его; большинство равнодушно молчало, а Кузин поучительно и гнусаво сказал:

– Ничего-о! Хозяин велел – надобно стараться... Чей хлеб едим?

Артюшка закричал:

– Старый дьявол! Ябедник кривой...

– Ну, – а ещё что? – спросил старик.

– Прихвостень! Поди скажи ему, хозяину...

Кузин прервал его речь, спокойно заявив:

– Я – скажу! Я, милый, всё скажу! Я живу по правде...

А Цыган крепко выругался и несвойственно ему угрюмо замолчал.

Ночью, в тяжёлый час, когда я, лёжа в углу, слушал в каменном ужасе сонный храп изработавшихся людей и расставлял пред собою так и эдак немые, непонятные слова: жизнь, люди, правда, душа, – пекарь тихо подполз ко мне и лёг рядом:

– Не спишь?

– Нет.

– Тяжело тебе, брат...

Он свернул папиросу, закурил. Красный огонёк её освещал шелковинки его бороды и конец носа. Сдувая нагоревший пепел, Цыган зашептал:

– Вот что: отрави свиней! Это дело простое – надо соли им дать в горячей воде, вздуются у них от этого желваки в кадыках и – подохнут звери...

– Зачем это нужно?

– Первое, – облегчить всех нас, и хозяину – удар! А сам ты – уйди! Я попрошу Сашку паспорт твой выкрасть у хозяина, – вот: крещусь! Идёт?

– Не хочу.

– Напрасно! Всё едино – долго не вытерпишь, – он тебя сломит... – Обняв колени руками, он дремотно закачался, продолжая чуть слышно и медленно: – Это я тебе хорошо говорю – от души! Уходи, право... При тебе – хуже стало, больно сердись ты Семёнова, а он на всех лезет. Гляди, – очень недовольны тобой, как бы не избили...

– А ты – как?

– Что?

– Тоже недоволен?

Он помолчал, не отводя глаз от бледного огня папиросы, потом – неохотно – сказал:

– По-моему – на болоте горох не сеют.

– А верно я говорю?

– Верно-то – верно, да ведь – какой толк? Мышь гору не источит. Хошь говори, хошь нет – всё едино. Больно ты, брат, доверчив. Верить людям опасно, гляди!

– И тебе тоже?

– А – и мне. Что я? Разве я чему защитник? Сегодня я – такой, завтра – другой... И все эдак...

Было холодно, пьяный запах перекишенного теста бил в нос. Вокруг – серыми буграми лежали люди, сопя и тяжело вздыхая; кто-то бредил во сне:

– Наташ... На-ата... ох...

Кто-то мычал и горько всхлипывал, – должно быть, снилось, что его бьют. С грязной стены слепо смотрели три чёрные окна – точно глубокие подкопы куда-то в ночь. Капала вода с подоконников; из пекарни доносились мягкие шлепки и тихий писк: подручный пекаря, глухонемой Никандр, месил тесто.

Цыган шептал задумчиво и мягко:

– Ты бы шёл в учителя, в деревню, – во-от! Хорошая жизнь, чисто! И дело законное, верное, – достойно души! Кабы я грамотен был, – я бы сейчас – в учителя! Очень ребятишек люблю. И баб. Баба – это просто – несчастье мне! Как увижу мало-мало красивую – так и кончено: прямо – тянет за неё, будто на верёвке. Кабы у меня иной характер, пожелай я крестьянствовать, – я бы, может, остановился на какой-нибудь хорошей... Ребят народили бы мы с ней штук десять,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
ей-богу! А здесь бабы – и та хороша, и другая, и все доступны, так и живёшь... не
знаю как! Будто грибы собираешь, такая жадность, – уж полно лукошко, а – вот ещё
один, и опять наклонишься...

Он потянулся, развёл широко руки, точно собираясь обнять кого-то, и вдруг строго деловито спросил:

– Как же насчёт свиней?

– Это не пойдёт.

– Ей-богу, напрасно! Что тебе?

– Нет.

Цыган, согнувшись, вором пошёл в свой угол, к печи.

Тихо. Мне показалось, что под столом, где спал Кузин, тускло светился его иезуитский глаз.

фантазия мечется по грязному полу среди мёртво спящих людей, как испуганная мышь, бьётся о сырые тёмные стены, о грязный свод потолка и, бессильная, умирает.

– Эй, – бредит кто-то, – дай сюда... топор дай...

Свиней отравили.

На третий день, утром, когда я вошёл в хлев, они не бросились – как всегда было – под ноги мне, а, сбившись кучей в тёмном углу, встретили меня незнакомым, сильным хрюканьем. Осветив их огнём фонаря, я увидел, что глаза животных как будто выросли за ночь, выкатились из-под седых ресниц и смотрят на меня жалобно, с великим страхом и точно упрекая. Тяжёлое дыхание колебало зловонную тьму, и плавал в ней охающий, точно человеческий, стон.

«Готово!» – подумал я. Сердце неприятно ёкнуло.

Пошёл в мастерскую, вызвал Цыгана в сени, – он вышел, ухмыляясь, расправляя усы и бороду.

– Ты велел отравить свиней?

Переступив с ноги на ногу, он с любопытством спросил:

– Подошли? Ну-ка, иди, взглянем.

А на дворе насмешливо спросил:

– Скажешь хозяину?

Я промолчал; он, покручивая бородку, заговорил извиняющимся голосом:

– Это – Яшка, дьяволёнок. Слышал он, как мы с тобой болтали, а вчера и говорит: «Я, дядя Павел, сделаю это, насыплю соли!» – «Не моги», – говорю...

Но, остановясь пред дверью хлева и заглядывая прищуренными глазами в темноту, где кипело и булькало хрипкое дыхание животных, он, почёсывая подбородок, сморщив лицо болезненной grimасой, сказал недовольно:

– Какое дело, пёс те загрызи! Врать – я очень умею и даже люблю соврать, а иной раз – не могу! Совсем не могу...

Шагая обратно, поёживаясь от холода и крикая, он заглянул в глаза мне и нараспев произнёс:

– Что теперь буде-ет, у-ух ты, мать честная! Сбесится у нас хозяин! Сорвёт он Яшке голову...

– При чём тут яшка?

– Это уж так положено, – подмигнув, объявил Цыган, – всегда в артели за больших маленькие отвечают...

Но тотчас же нахмурился, окинул меня острым взглядом и быстро побежал в сени, проворчав:

– Иди, жалуйся...

Я пошёл к хозяину: он только что проснулся, толстое лицо было измято и серо, мокрые волосы гладко прилизаны к буграм неправильного черепа; он сидел за столом, широко расставив ноги, длинная розовая рубаха натянута на коленях, и в ней, как в люльке, лежал дымчатый кот.

Хозяйка ставила на стол чайную посуду, двигаясь с тихим шелестом, точно куча тряпья, которую возила по полу чья-то невидимая рука.

– Что надо? – чуть заметно улыбнувшись, спросил он.

– Свины захворали.

Он швырнул, кота к моим ногам и, сжав кулаки, быком пошёл на меня, его правый глаз разгорался, а левый, покраснев, полно налился слезою.

– Кто? Кто? – бухал он, задыхаясь.

– Ветеринара надо скорее позвать...

Подойдя вплоть ко мне, он смешно хлопнул себя ладонями по ушам, сразу как-то вспух весь, посинел и дико, жалобно завыл:

– Дья-аволы-и, всё знаю я...

Подползла хозяйка, и я впервые услышал её голос, дрожащий и как бы простуженный:

– За полицией пошли, Вася, скореечко, за полицией...

Изношенные, тряпичные щёки её тряслись, большой рот испуганно открылся, обнажив неровные, чёрные зубы, – хозяин резко толкнул её прочь, схватил со стены какую-то одежду и, держа её комом под мышкой, бросился в дверь. Но на дворе, заглянув во тьму хлева, прислушавшись к тяжёлому хрипу животных, он спокойно сказал:

– Позови троих.

А когда из мастерской вышли Шатунов, Артюшка и солдат, он крикнул, не глядя на нас:

– Вынесите!

Мы вытащили четыре грязные туши, положили их среди двора. Чуть брезжило; фонарь, поставленный на землю, освещал тихо падавшие снежинки и тяжёлые головы свиней с открытыми пастями, – у одной из них глаз выкатился, точно у пойманной рыбы.

Накинув на плечи лисью шубу, хозяин стоял над издыхавшими животными молча и неподвижно, опустив голову.

– Пошли, работай!.. Егора позвать! – глухо сказал он.

– Забрало! – шепнул Артюшка, когда мы толкались в узких сенях, заваленных мешками муки. – До того ушибло, что и не сердится...

– Погоди, – буркнул Шатунов, – сырое дерево не сразу горит...

Я остался в сенях, глядя в щель на двор: в сумраке утра натужно горел огонь фонаря, едва освещая четыре серых мешка, они вздувались и опадали со свистом и

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma хрипом; хозяин – без шапки – наклонился над ними, волосы свесились на лицо ему, он долго стоял, не двигаясь, в этой позе, накрытый шубой, точно колоколом... Потом я услышал сопенье и тихий человеческий шёпот:

– Что, милые? Больно? Милые... Чхо, чхо...

Животные захрапели как будто сильнее.

Он поднял голову, оглянулся, и мне ясно видно стало, что лицо у него в слезах. Вот он вытер их обеими руками, – жестом обиженного ребёнка, – отошёл прочь, выдернул из бочки клок соломы, воротился, присел на корточки и стал отирать соломой грязное рыло борова, но тотчас же швырнул солому прочь, встал и начал медленно ходить вокруг свиней.

Раз и два обошёл их, всё ускоряя шаги, и вдруг как-то сорвался с места, побежал кругами, подскакивая, сжав кулаки, тыкая ими в воздух. Полы шубы били его по ногам, он спотыкался, чуть не падал, останавливаясь, встряхивал голову и тихонько выл. Наконец он, – тоже как-то сразу, точно у него подломились ноги, – опустился на корточки и, точно татарин на молитве, стал отирать ладонями лицо.

– Чхо, чхо, дружочки мои... чхо-о!

Из сумрака, из угла откуда-то лениво выплыл Егор, с трубкой в зубах; вспыхивая, огонь освещал его тёмное лицо, наскоро вытесанное из щелявой и суковатой доски; блестела серьга в толстой мочке красного уха.

– Егораша, – тихо позвал хозяин.

– Ай?

– Отравили родимых...

– Этот?

– Нет.

– А кто?

– Пашка да Артюшка. Мне Кузин донёс...

– Вздуть, что ли?

Поднявшись на ноги, хозяин устало сказал:

– Погоди.

– Сволочь – народ, – глухо выговорил Егор.

– Да-а. Нет, – в чём повинны скоты, а?

Егор плюнул, попал на сапог себе, поднял ногу и вытер сапог полою поддёвки.

Серое, промёрзлое небо тяжело накрыло тесный двор, неохотно разыгрывался тусклый, зимний день.

Егор подошёл к издыхающим животным.

– Надобно прирезать.

– Зачем? – отозвался хозяин, мотнув головой. – Пускай поживут, сколько дано...

– Прирежу, – колбаснику продадим. Адохлые – куда они?

– Не возьмёт колбасник, – сказал Семёнов, снова присев на корточки и поглаживая рукой вздувшуюся шею борова.

– Как не возьмёт? Скажу – рассердился ты на них и велел приколоть. Скажу – здоровые были...

Хозяин промолчал.

– Ну, как же? – настойчиво спросил Егор.

– Как?

Хозяин поднялся и снова тихо пошёл вокруг свиней, напевая вполголоса:

– Отшельнички мои, шельмочки...

Остановился, оглянулся и сердито бросил:

– Режь!

Ждали грозы – расчётов, думали, что хозяин в наказание прибавит ещё мешок работы; Цыган, видимо, чувствовал себя скверно, но – храбрился и фальшиво-беззаботно покрикивал:

– Жарь да вари!

Мастерская угрюмо молчала, на меня смотрели злобно, а Кузин бормотал:

– Он всем наложит – и правым и виноватым...

Настроение становилось всё гуще, мрачнее; то и дело возникали ссоры, и наконец, когда садились обедать, солдат Милов, разинув пасть до ушей, нелепо захохотал и звонко ударил Кузина ложкой по лбу.

Старик охнул, схватился рукою за голову, изумлённо выпучил злой, одинокий глаз и заныл:

– Братцыньки, – за что-о?

Раздался общий гул, ругань, на солдата свирепо двинулись человека три, помахивая руками, – он прислонился спиной к стене и, давясь смехом, объяснил:

– Это – за хитрость! Мне Егорка сказал... хозяин-то всё знает, кто свиней отравил...

Цыган, бледный и странно вытянувшийся, стрелой отскочил от печи и схватил Кузина за шиворот:

– Опять? Мало тебя, гнилая язва, били за проклятый твой язык?!

– Али – не правда? – закрыв руками маленькое, сморщенное лицо, старчески плаксиво выкрикивал Кузин. – Не ты заводчик? Слышал я, как ты Грохалу уговаривал...

Цыган крякнул, размахнулся – Артюшка повис у него на плече:

– Не тронь, Паша, стой...

Началась возня. Павел бился в руках Шатунова и Артёма и рычал, лягаясь, дико вращая белками сумасшедших глаз:

– Пустите... я его кончу...

А правдивый старичок, оставив ворот грязной рубахи в руках Цыгана, кричал, брызгая слюной:

– Ничего нет – я ничего не скажу, а коли что есть худое – я скажу! Душеньку выньте, подлецы, – скажу!

И вдруг бросился на Яшку, ударил его по голове, сшиб на пол и, пиная ногами, заплясал над ним, точно молодой, легко и ловко:

– Это ты, ты, ты, стервец, соли намешал, ты-и...

Артём прыгнул, ударил старика головой в грудь, – тот охнул и свалился, хрипя:

– У-у-у...

Озверевший Яшка, безобразно ругаясь и рыдая, набросился на него злой собакой, рвал рубаху, молотил кулаками, я старался оттащить его, а вокруг тяжело топали и шаркали ноги, поднимая с пола густую пыль, рычали звериные пасти, истерично кричал Цыган, – начиналась общая драка, сзади меня уж хлестались по щекам, ляскали зубы. Кучерявый, косоглазый, угрюмый мужик Лещов дёргал меня за плечо, вызывая:

– Выходи один на один, ну! Выходи, вставай, чтолича!

Дурная, застоявшаяся кровь, отравленная гнилой пищей, гнилым воздухом, насыщенная ядами обид, бросилась в головы, – лица посинели, побагровели, уши налились кровью, красные глаза смотрели слепо, и крепко сжатые челюсти сделали все рожи людей собачьими, угловатыми.

Подбежал Артём и крикнул в дикое лицо Лещова:

– Хозяин!

Точно всех ветром раздуло, – каждый вдруг легко отпрыгнул на своё место, сразу стало тихо, слышалось только усталое, злое сопение да дрожали руки, схватившиеся за ложки.

В арке хлебопекарни стояли двое пекарей – булочник Яков Вишневский, щёголь-чистяк, и хлебник Башкин, жирный, страдавший одышкой человек с багровым лицом, совиными глазами.

– Не будет драки? – разочарованно и уныло спросил он.

Вишневский, покручивая тонкие усики маленькой и ловкой рукою, сплошь покрытой рубцами ожогов, проблеял козлиным голосом:

– Э, лайдаки, черви мучные... [4]

На них и обрушился неизрасходованный гнев – вся мастерская начала дико ругаться; этих пекарей не любили: их труд был легче нашего, заработок выше. Они отвечали на ругань руганью, и, может быть, драка снова вспыхнула бы, но вдруг растрёпанный, заплаканный Яшка поднялся из-за стола, шатаясь пошёл куда-то и, вскинув руки ко груди, – упал лицом на пол.

Я отнёс его в хлебопекарню, где было чище и больше воздуха, положил на старый ларь, – он лежал жёлтый, точно кость, и неподвижен, как мёртвый. Буйство прекратилось, повеяло предчувствием беды, все струсили и вполголоса стали ругать Кузина:

– Это ты его, кривой чёрт!

– Острог тебе, подлецу...

Старик сердито оправдывался:

– я – что? Это чёрная немочь у него, а то – припадок какой... [5]

Артём и я привели мальчика в сознание, он медленно поднял длинные веки весёлых, умненьких глаз, вяло спросив:

– Приехали уж?..

– Куда, к чертям! – тоскливо воскликнул его брат. – Лезешь ты во всё, вот как дам трёпку... Ты что это упал?

– Откуда? – удивлённо пошевелив бровями, спросил он. – Упал я?.. Забыл... Мне плиснилось – едем в лодке – ты да я – лаков ловить... лашни с нами... водки бутылка, тоже...

Закрыв глаза, усталый, и, помолчав, забормотал слабеньким полужёпотом:

– Тепель помню – селдце мне отбили... Кузин это! Ненавистник он мой. Дышать тлудненько... стальной дулак! Знаю я его... жену забил! Снохач. [6] Мы ведь из одной делевни, я всё знаю...

– А ты – молчи! – сердито сказал Артём. – Ты, лучше, спи.

– Делевня наша – Егильдеево... Тлудненько говорить мне, а то бы я...

Он говорил, как будто засыпая, и всё время облизывал языком потемневшие, сухие губы.

Кто-то пробежал по пекарне, радостно воя:

– Гуляй наши! Запил хозяин.

Мастерская загоготала, засвистала, все взглянули друг на друга ласково, ясными, довольными глазами: отодвигалась куда-то месьть хозяина за свиней, и во время его запоя можно было меньше работать.

Хитренький и незаметный в минуты опасных возбуждений Ванок Уланов выскочил на середину мастерской и крикнул:

– Играй!

Цыган, закрыв глаза, выпятил кадык и высочайшим тенором запел:

Эй, вот по улице козёл идёт...

Двадцать человек, приударив ладонями по столу, подхватили:

По широкой молодой идёт!

Он бородушкой помахивает

– выводил Цыган, притопывая, а хор дружно досказывал зазорные слова:

...потряхивает!

На маленьком клочке грязного пола, вздымая пыль, червём извивался, как обожжённый, в бесстыдных судорогах маленький, мягкий человек.

– Дел-лай! – кричали ему, и внезапно вспыхнувшее веселье было таким же тяжёлым и жутким, как недавний припадок озлобления.

К ночи Бубенчику стало хуже: он лежал в жару и дышал неестественно – наберёт в грудь много кислого, спиртного воздуха и, сложив губы трубкой, выпускает его тонкой струёй, точно желая свистнуть и не имея сил. Часто требовал пить, но, глотнув воды, отрицательно качал головою и, улыбаясь помутившимися глазками, шептал:

– Омманулся, не хочу...

Я растёр его водкой с уксусом, он заснул с неясной улыбкой на лице, оклеенном мучной пылью, курчавые волосы прилипли к вискам, весь он как будто таял, и грудь его едва вздымалась под рубахой, – грязной, полуистлевшей, испачканной комьями присохшего теста.

На меня ворчали:

– А ты перестал бы там лекаря играть! Лодырить мы все тут умеем...

На душе у меня было плохо, я чувствовал себя всё более чужим зверем среди этих людей, только Артём да Пашка, видимо, понимали моё настроение, – Цыган ухарски покрикивал мне:

– Эй, не робей! Меси тесто, девушка, – ждут ребята хлебушка!

Артём кружился около меня, стараясь весело шутить, но сегодня это не выходило у

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
него, он вздыхал печально и раза два спросил:

– Ты думаешь – больно зашибли яшку-то?

Шатунов, громче, чем всегда, тянул свою любимую песню:

Стать бы перекрёст двух проезжих дорог,
Стать бы, поглядеть, куда долюшка прошла...
Ночью я лёг на полу около Бубенчика, и, когда возился, расстилая мешки, он,
проснувшись, пугливо спросил:

– Это кто ползает? Ты-и, Глохал?

Хотел подняться, сесть и – не мог: голова грузно упала на чёрное тряпье под нею.

Уже все спали, шелестело тяжёлое дыхание, влажный кашель колебал спёртый,
пахучий воздух. Синяя, звёздная ночь холодно смотрела в замазанные стёкла окна:
звёзды были обидно мелки и далеки. В углу пекарни, на стене, горела маленькая
жестяная лампа, освещающая полки с хлебными чашками, – чашки напоминали лысые,
срубленные черепа. На ларе с тестом спал, свернувшись комом, глуховатый Никандр,
из-под стола, на котором развешивали и катали хлеба, торчала голая, жёлтая нога
пекаря, вся в язвах.

Яшка тихо позвал:

– Глохал...

– Ой?

– Скушно мне...

– А ты говори, – рассказывай мне что-нибудь...

– Не знаю про что... Про домовика?

– Ну, про него...

Он помолчал, потом спустился с ларя, лёг, положил горячую голову на грудь ко мне
и заговорил тихонько, как сквозь сон:

– Это перед тем, как отца в острог увели; лето было тогда, а я ещё – маленький.
Сплю под поветью [7], в телеге, на сене, – хорошо это! И проснулся, а он с
крыльца по ступенькам – прыг-прыг! Маненький, с кулак ростом, и мохнатый, будто
варежка, серый весь и зелёный. Безглазый. Ка-ак я закричу! Мамка сейчас бить
меня, – это я зря кричал, его нельзя пугать, а то он осердится и навек уйдёт из
дома, – это уж беда! У кого домовичок не живёт, тому и бог не радеет:
домовой-то, он – знаешь кто?

– Нет. А – кто?

– Он богу докладчик через ангелей, – ангели спустятся наземь с небеси, а
человечьего языка им не велено понимать, чтобы не опаскудились, и людям ангелову
речь нельзя слушать...

– Почему?

– Та-ак. Заказано. Это, по-моему, напрасно всё – ведь как это отодвигает людей
от бога-то, поди-ка!

Он оживился, сел и заговорил быстрее, почти как здоровый:

– Каждый бы прямо сказал богу, что надо, а тут – домовичок! А он, иной раз, и
сердит на людей – не угодили ему – да и наплетёт ангелям, чего не надо, – понял?
Они его спрашивают: «Какой это мужик?» А он, в сердцах, скажет: «Мужик этот
плохой человек». И – пошла на двор беда за бедой – вот оно! Люди кричат-кричат:
господи – помилуй! А уж ему и невесть что насказано про них, он и слушать не
хочет, – тоже осердился...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Лицо мальчика было хмуро и серьезно; прищурив глаза, он смотрел в потолок, серый, как зимнее небо, с пятнами сырости, похожими на облака.

– От чего у тебя отец помер?

– Силой хвастался. Это – в остроге он.. Сказал, что поднимет пятерых живых людей, велел им обняться крепко и стал поднимать, а сердце у него и лопнуло. Изошёл кровью.

Бубенчик тяжело вздохнул и снова прилёг рядом со мною; тёрся горячей щекой о мою руку и говорил:

– Силища у него была – беда, какая! Двупудовой гирей два десятка раз без передыху крестился. А дела – нету, земли – маленько, вовсе мало.. и не знай сколько! Просто – жрать нечего, ходи в кусочки. Я, маленький, и ходил по татарам, у нас там всё татара живут, добрые Татара, такие, что – на! Они – все такие. А отцу – чего делать? Вот и начал он лошадей воровать.. жалко ему было нас...

Его тонкий, но уже сильный голосок звучал всё более утомлённо, всё чаще прерывался; мальчик старчески покашливал и вздыхал:

– Украдёт хорошо – все сыты, и весело таково жить станет.. Мамка, бывало, ревмя ревет.. а то – напьётся, песни играть станет.. маненькая она была, складная.. кричит тятке–то: «Душенька ты моя милая, погибшая душа...» Мужики его – кольями.. он ничего! Артюшке бы в солдаты идти.. надеялись, человеком будет.. а он – не годен...

Мальчик замолчал, испугав меня громким храпом, я наклонился над ним, прислушался, как бьётся сердце. Сердце билось слабо и торопливо, но жар стал как будто меньше.

Из окна на грязный пол падал жиденький лунный свет. Тихо и ясно было за окном, – я пошёл на двор взглянуть на чистое небо, подышать морозным воздухом.

А воротясь в пекарню, освежённый и озябший, – испугался: в тёмном углу около печи шевелилось что–то серое, почти бесформенная куча живого, тихо сопевшая.

– Кто это? – спросил я, вздрогнув.

Знакомый голос хозяина сипло отозвался:

– Не ори.

По обыкновению он был одет в татарскую рубаху, и она делала его похожим на старую бабу. Стоял он как бы прячась за угол печи, в одной руке – бутылка водки, в другой – чайный стакан, руки у него, должно быть, дрожали – стекло звенело, слышалось бульканье наливаемой влаги.

– Иди сюда! – позвал он и, когда я подошёл, – сунул мне стакан, расплескивая водку. – Пей!

– Не хочу.

– Отчего?

– Не время.

– Кто пьёт – во всякий час пьёт. Пей!

– Я не пью.

Он тяжело мотнул головой.

– Говорили – пьешь.

– Рюмку, две, с устатка...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru
Поглядев правым глазом в стакан, он вздохнул шумно и выплеснул водку в приемок, перед печью, потом шагнул туда сам и сел на пол, свесив ноги в приемок.

– Садись. Желая беседовать с тобой.

В темноте мне не видно было выражения его круглого, как блин, лица, но голос хозяина звучал незнакомо. Я сел рядом с ним, очень заинтересованный; опустив голову, он дробно барабанил пальцами по стакану, стекло тихонько звенело.

– Ну, говори чего-нибудь...

– Якова надо в больницу отвести...

– А что?

– Захворал. Кузин избил его опасно...

– Кузин – сволочь. Он всё передаёт... про всех. Ты думаешь – я ему мирволю за это? Подкупаю? Пыли горсть в кривую рожу не швырну ему, не то что пятак дать...

Говорил он лениво, но внятно, и, хотя слова его пахли водкой, пьяным он не казался.

– Знаю я всё! Почему ты не хотел свинок известить? Говори прямо! Ты мной обижен, я понимаю. И я тобой обижен. Ну?

Я сказал.

– Та-ак! – заговорил он, помолчав. – Значит, я – хуже свиньи? И меня надо отравить, а?

Он как будто усмехнулся, а я снова сказал:

– Так я отведу Якова-то в больницу?

– Хоть на живодёрню. Мне что?

– За ваш счёт.

– Нельзя, – равнодушно бросил он. – Никогда этого не было. Эдак-то все захотят в больницах лежать!.. Вот что – скажи мне, почему ты меня тогда... за ухо трепал?

– Рассердился.

– Это я понимаю, я не про то! Ну – ударил бы по уху, в зубы дал, что ли, а почему ты трепал, – как будто я мальчишка перед тобой?..

– Не люблю я людей бить...

Он долго молчал, посапывая, как бы задремав, потом твёрдо и внятно сказал мне:

– Дикой ты, парень! И всё у тебя – не так... в самой в башке у тебя – не так всё...

Он сказал это безобидно, но – с явной досадой.

– Скажи... ну, плохой я человек?

– А вы как думаете?

– Я? Врёшь, я человек хороший. Я, брат, умный человек. Вот – ты и грамотный и речистый, говоришь то и сё, про звёзды, про француза, про дворян... я признаю: это хорошо, занятно! Я тебя очень приметил сразу, – как тогда ты мне, впервой видя меня, сказал, что могу я, простудившись, умереть... я всегда сразу вижу, кто чего стоит!

Ткнул себя коротким, толстым пальцем в лоб и, вздохнув, объяснил:

– Тут, брат, сидит самая проклятущая память... Сколько у деда волос в бороде было,
Страница 26

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
и то – помню! Давай спорить! Ну?

– О чём?

– А что я тебя умнее. Ты – сообрази: я неграмотный, никаких букв не знаю, только цифирь, а вот – у меня на плечах дело большое, сорок три рабочих, магазин, три отделения. Ты – грамотный, а работаешь на меня. Захочу – настоящего студента найму, а тебя – прогоню. Захочу – всех прогоню, дело продам, деньги пропью. Верно?

– Ума я тут особого не вижу...

– Врёшь! А в чём он, ум? Ежели у меня ума нет – вовсе нет нигде ума! Ты думаешь – в слове ум? Нет, ум в деле прячется, а больше нигде...

Он негромко, но победно засмеялся, встряхивая своё большое, рыхлое тело, и продолжал снисходительно, вязким голосом, всё более пьянея:

– Ты – одного человека не прокормишь, а я кормлю – сорок! Захочу – сотню буду кормить! Вот – ум!

И перешёл в тон строгий, поучительный, всё с большим усилием ворочая языком:

– Почто ты фордыбачишь против меня? Это всё – глупость! Это никому не надобно, а для тебя – вредно. Ты старайся, чтобы я тебя признал...

– Вы уж признали.

– Признал?

Он подумал несколько секунд и согласился, толкнув меня плечом.

– Верно! Признал. Только – нужно, чтобы я дал тебе дорогу, а я могу не дать... Хотя я – всё вижу, всё знаю! Гараська у меня – вор. Ну, он тоже умный и, ежели не оступится, в острог не попадёт, – быть ему хозяином! Живодёр будет людям! Тут – все воры и хуже скота... просто – падаль! А ты к ним ластишься... Это даже понять нельзя, такая это глупость у тебя.

Меня одолевал сон; мускулы и кости, уставшие за день, – ныли, голова наливалась тяжкой мутью. Скучный, вязкий голос хозяина точно оклеивает мысли:

– Про хозяев ты говоришь опасно, и всё это – глупое у тебя, от молодости лет. Другой бы сейчас позвал околодочного, целковый ему в зубы, а тебя – в полицию.

Он хлопал меня по колену тяжёлой, мягкой рукой:

– Умный человек должен целить в хозяева, а не мимо! Народищу – множество, а хозяев – мало, и оттого всё нехорошо... фальшиво всё и непрочно! Вот будешь смотреть, увидишь больше, – тогда отвердеет сердчишко, поймёшь сам, что вредный самый народ – это которые не заняты в деле. И надо весь лишний народ в дело пустить, чтобы зря не шлялся. Дерево гниёт и то – жалко, сожги его – тепло будет, – так и человек. Понял ли?

Застонал Яков, я встал и пошёл посмотреть на него: он лежал вверх грудью, нахмуря брови, открыв рот, руки его вытянуты вдоль тела, что-то прямое, воинственное было в этом мальчике.

С ларя вскочил Никандр, подбежал к печи, наткнулся на хозяина и обомлел с испуга на минуту, а потом, широко открыв рот, виновато мигая рыбьими глазами, замычал, чертя в воздухе быстрыми пальцами запутанные фигуры.

– Му-у, – передразнил его хозяин, встав и уходя. – Дура каменная...

Когда он исчез за дверью, – глухонемой подмигнул мне и, взяв себя двумя пальцами за кадык, сделал горлом:

– Хох, хох...

Утром мы с Яшуткой пошли в больницу, – денег на извозчика не было, мальчик едва шагал, слабо покашливая, и говорил, мужественно преодолаясь:

– Плосто – дышать нечем, все дышалки сбиты... Черти какие...

На улице, в ослепляющем сиянии серебряного солнца, среди грузных, тепло одетых людей, он, в тёмных лохмотьях, казался ещё меньше и костлявее, чем был. Его небесные глаза, привыкшие к сумраку мастерской, обильно слезились.

– Ежели я помру – пропал Артюшка, сопьётся, дурак! И ни в чём не бережёт он себя. Ты, Глохал, прикрикивай на него... скажи – я велел...

Тёмные, сухие губёнки болезненно кривились, детский подбородок дрожал, – я вёл его за руку и боялся, что вот он сейчас заплачет, а я начну бить встречных людей, стёкла в окнах, буду безобразно орать и ругаться.

Бубенчик остановился, передохнул и старчески внушительно выговорил:

– Так и скажи – велел я ему слушаться тебя...

...Возвратясь в мастерскую, я узнал, что случилось ещё несчастье: утром, когда Никандр нёс крендели в отделение, его сшибли лошади пожарной команды и он тоже отправлен в больницу.

– Теперь, – уверенно говорил Шатунов, глядя на меня узенькими глазками, – жди чего-нибудь третьего – беда ходит тройней: от Христа беда, от Николы, от Егория. А после мать божья скажет им: «Будет, детки!» Тут они опомнятся...

О Никандре – не говорили, он был человек чужой, не нашей мастерской, но много рассказывалось о быстром беге, силе и выносливости пожарных лошадей.

В обед являлся Гараська – ловкое, красивое животное, парень с наглыми глазами распутника и вора, фальшиво ласковый со всеми, кого боялся; он торжественно объявил мне, что я перевожусь в подручные пекаря на место Никандра – жалованье шесть рублей.

– С возвышением! – весело крикнул Пашка, но тотчас же нахмурился и спросил: – Это – кто распорядился?

– Хозяин.

– Да ведь у него – запой?

– Нисколько даже! – усмехаясь, сказал Гараська. – Вчерась он действительно помянул души усопших, а сегодня – в полном своём достоинстве и во всей красоте, – поехал муку покупать...

– Стало быть, – со свиньями дела не кончены, – сердито и медленно выговорил Цыган.

На меня смотрели злобно, с завистью, с нехорошими усмешками, по мастерской плавали тяжёлые, обидные слова:

– Пошла битка в кон...

– Чужая птица – всегда чужая...

Шатунов медленно жевал свои особливые слова:

– Крапиве своё место, маку – своё...

А Кузин прятал свои мысли за словами, которые он говорил, когда думал что-либо дурное:

– Который раз я вам, дьяволятки, указываю – икону-то божию почистили бы!

Только Артём громко крикнул:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyта

– Ну, залаяли! Завизжали!

...Первой же ночью работы в хлебной, когда я, замесив одно тесто и поставив опару для другого, сел с книгой под лампу, – явился хозяин, сонно щуря глаза и чмокая губами.

– Читаешь? Это – хорошо. Это лучше, чем спал бы, – тесто не перестоится, не проспидишь...

Он говорил тихонько, потом, кинув осторожный взгляд под стол, где храпел пекарь, сел рядом со мною, на мешок муки, взял книгу из рук у меня, закрыл её и, положив на толстое колено своё, прижал ладонью.

– Про что книжка?

– Про народ русский.

– Какой?

– Русский, говорю.

Он искоса взглянул на меня и поучительно сказал:

– И мы – казанские – окромя татар – русские, и сибирские – русские. А это про кого написано?

– А про всех и написано...

Он развернул книгу, отнёс её от лица на расстояние руки, кивая головой, прощупал страницы зелёным глазом уверенно заметил:

– Видно, что не понимаешь ты книгу.

– Почему – видно?

– Так уж. Картинок – нет? Ты бы читал которые с картинками, забавнее, поди-ка! Что же тут про народ написано?

– Во что он верует, какие обычаи у него, какие песни поёт...

Хозяин закрыл книгу, сунул её под себя и протяжно зевнул. Рта не перекрестил – рот у него был широкий, точно у жабы.

– Это всё очень известно, – сказал он. – Верует народ в бога, песни у него есть и плохие и хорошие, а обычаи – подлые! Насчёт этого – ты у меня спроси, я тебе лучше всякой книги обычаи покажу. Это не по книгам надо узнавать, а – выдь на улицу, на базар поди, в трактир или – в деревню, на праздник, – вот и будут тебе показаны обычаи. А то – к мировому судье ступай... в окружный суд тоже...

– Вы не про то говорите.

Он угрюмо взглянул на меня и сказал:

– Мне лучше знать, про что я говорю! А книжки – сказки да басни... просто небылицы! Разве можно про народ рассказать в одной книжке?

– Их – не одна.

– Ну, так что? А народу – тысячи миллионные. Про каждого книжку не напишешь.

Голос его звучал недовольно, жёлтый пух над глазами сердито отвердел, ощетинился. Эта беседа казалась мне неприятным сном, нагоняла скуку.

– Чудак ты, путаная твоя голова! – вздыхая и посапывая, говорил он. – Ты пойми – ерунда всё это, фальша! Книжки – про кого? Про людей. А – разве люди про себя правду скажут? Ты – скажешь, ну? И я – не скажу. Хошь шкуру дери с меня, – не скажу! Я, может, перед богом молчать буду. Спросит он: «Ну, Василий, говори, в

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru
чём грешен?» А я скажу: «Ты, господи, сам должен всё это знать, твоя душа, не моя!»

И, толкнув меня локтем в бок, усмехаясь, подмигивая, он продолжал потише:

– Могу сказать это! Душа – чья? Его! Его душа, он её из меня изнял, ну и – кончен разговор деловой!

Он сердито хрюкнул и, точно умываясь, провёл ладонями по лицу, не переставая настойчиво говорить:

– Ты мне, скажу, душу – дал? Дал! А после – взял? Взял! Значит, и – в расчёте мы. Квит!

Мне стало не по себе. Лампа висела сзади нас и выше, тени наши лежали на полу, у ног. Иногда хозяин вскидывал голову вверх, жёлтый свет обливал ему лицо, нос удлинился тенью, под глаза ложились чёрные пятна, – толстое лицо становилось кошмарным. Справа от нас, в стене, почти в уровень с нашими головами было окно – сквозь пыльные стёкла я видел только синее небо и кучку жёлтых звёзд, мелких, как горох. Храпел пекарь, человек ленивый и тупой, шуршали тараканы, скреблись мыши.

– Да вы верите в бога-то? – спросил я хозяина; он искоса взглянул на меня мёртвым глазом и долго молчал.

– Ты меня об этом спрашивать не можешь. Ты вовсе не смеешь спрашивать меня ни про что, кроме твоего дела. Я тебя – обо всём могу спросить, и ты мне на всё должен ответить. Ты – чего добиваешься?

– Это моё дело.

Он – подумал, посопел.

– Какой это ответ? Дерзкая ты башка...

Вынув книгу из-под себя, шлёпнул ею по колену, бросил на пол.

– История! Кто мою историю может знать? А у тебя – совсем ещё нет истории... да и не будет никакой!

Он вдруг засмеялся самодовольным смехом, – этот странный, всхлипывающий звук, такой тихонький и жидкий, вызвал у меня тоскливое чувство сострадания к хозяину, а он, покачивая своё большое тело, говорил насмешливо и мстительно:

– Знаю я! Видел я такого гуся. У меня любовница приказчицей в отделении сидит, так у неё племянник, студент скотских наук, – лошадей, коров лечить учился, – теперь – пьяница, вовсе спойл я его! Галкин – фамилия. Иной раз заходит гривенник получить на водку, золотая рота он нынче. А тоже вот – добивался! «Должна, – кричал, – быть правда где ни то, в народе, – в моей душе алчба этой самой правды живёт, – стало быть – есть правда и снаружи души!» А я его – накачиваю. Спился, подлец. Бывало, выкатит на меня zenки – они у него ласковые были, бабы, ну, не скажу, чтобы фальшивые... Так он – тихосумасшедший был. Кричит: «Василий Семёнов, ты – мороз, ты ужасный человек в жизни...»

Мне пора было топить печь, я встал и сказал об этом хозяину, – он тоже поднялся, открыл ларь, похлопал ладонью по тесту и сказал:

– Верно, пора...

Ушёл не спеша и не взглянув на меня.

Мне было приятно, что иссяк его хвастливый, жирный голос, выползли из пекарни наглые слова.

В крендельной зашлёпали по полу босые ноги, спотыкаясь во тьме, на меня наткнулся Артём, встрёпанный, широко, точно лунатик, открывший свои хорошие, невесёлые глаза.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Как он тебя охаживает!

– Ты что не спишь?

– Не знай. Сердце мозжит будто... Ка-ак он тебя-а!

– Тяжело с ним.

– Ещё бы! Свинцовый... И собака же!

Парень прислонился плечом к стенке печи и вдруг другим голосом сказал, как будто равнодушно:

– Забили у меня братика... Думаешь – выйдет он из больницы али вынесут?

– Ну, что ты? Бог даст...

Он оттолкнулся от печи и, покачиваясь, снова пошёл в крендельную, скучно и тихо говоря на ходу:

– Нам бог ничего не даст...

Кошмарной полосой потянулись ночные беседы с хозяином: почти каждую ночь он являлся в пекарню после первых петухов, когда черти проваливаются в ад, а я, затопив печь, устраивался перед нею с книгой в руках.

Выкатившись из двери своей комнаты, круглый и ленивый, он, побрякивая, садился на пол, на край приямка, спуская в него голые ноги, как в могилу; вытягивал перед лицом короткие лапы, рассматривал их на огонь прищуренным зелёным глазом и, любуясь густой кровью, видной сквозь жёлтую кожу, заводил часа на два странный разговор, угнетавший меня.

Обыкновенно он начинал с того, что хвастался своим умом, силою которого безграмотный мужик создал и ведёт большое дело с глупыми и вороватыми людьми под рукою, – об этом он говорил пространно, но как-то вяло, с большими паузами и часто вздыхая присвистывающим звуком. Иногда казалось, что ему скучно исчислять свои деловые успехи, он напрягается и заставляет себя говорить о них.

Я уже давно устал удивляться его поистине редким способностям – уменью хорошо купить партию подмоченной, засолодевшей муки, продать мордвину-торговцу сотню пудов загнивших кренделей, – эти торговые подвиги надоедали своим жульническим однообразием и стыдной простотой, которая с жестокой ясностью подчёркивала человеческую жадность и глупость.

Жарко пылают дрова в печи, я сижу пред нею рядом с хозяином, его толстый живот обвис и лежит на коленях, по скучному лицу мелькают розовые отблески пламени, серый глаз – точно бляха на сбруе лошади, он неподвижен и слезится, как у дряхлого нищего, а зелёный зрачок всё время бодро играет, точно у кошки, живёт особенной, подстерегающей жизнью. Странный голос, то – высокий по-женски и ласковый, то – сиплый, сердито присвистывающий, сеет спокойно-наглые слова:

– Доверчив ты – зря, и говоришь много лишнего! Люди – жулики, ими надо управлять молча; гляди на человека строго и – помалкивай – молчи! Ему тебя понимать не след, пусть он боится тебя и сам догадается, чего ты хочешь...

– Я не собираюсь людьми управлять.

– Врёшь! Без этого – нельзя.

И объясняет: одни люди должны работать, другим дано руководить ими, а начальство должно заботиться, чтоб первые покорно подчинялись вторым.

– Лишних – вон! Которые ни в тех, ни в сех, ни в третьих – прочь!

– Куда?

– Это дело не моё. Вот начальство и содержится для бездельников, для воров – для

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
негодного народа. Дельному человеку – воевод не надо, он сам воевода... Губернатор
не может знать, какая мука мне подходящая, какая – нет, он должен знать одно:
какой человек полезный, который вредный.

Иногда мне чудится, что в голосе его звучит сердечная усталость. Может быть, это
печаль о чём-то другом, чего он – не зная – ищет? И я слушаю его речь с
напряжённым вниманием, с живой готовностью понять его, жду каких-то иных мыслей
и слов.

Из-под печки пахнет мышами, горелым мочалом, сухой пылью. Грязные стены дышат на
нас тёплой сыростью, грязный, истоптанный пол прогнил, лежат на нём полосы
лунного света, освещая чёрные щели. Стёкла окон густо засижены мухами, но
кажется, что мухи засидели самое небо. Душно, тесно и несмываемо грязно всё.

Разве достойно человека жить такой жизнью?

Хозяин медленно нижеет слово за словом, напоминая слепого нищего, который
дрожащими пальцами щупает поданные ему копейки.

– Ну, – ладно – наука... Тогда пусть меня научат из пыли, из глины муку молотить! А
то: стоит огромный домик, называется университет, ученики – молодые парни, по
трактирам пьянствуют, скандалят на улицах, про святого Варлаамия зазорно поют,
ходят на Пески, к девкам, живут, вообще, как приказчики, что ли бы... И вдруг,
после всего, – доктор, судья, учитель, адвокат! Стану я верить им? Да они ещё,
может, поганей меня! Не могу я верить никому...

И, сладостно причмокивая, он рассказывает отвратительные подробности о том, как
студенты ведут себя с девицами.

О женщинах он говорит много, со спокойным цинизмом, без возбуждения, с какой-то
странной ищущей задумчивостью и понижая голос почти до шёпота. И никогда он не
описывает лица женщины, а только груди, бедра, ноги; слушать эти рассказы очень
противно.

– Ты вот всё говоришь – совесть, прямота, а я тебя – прямее! Ты, при грубом
твоём характере, очень не прямо ведешь себя, я зна-аю! Намедни сказал ты в
трактире газетчику, что у меня лари гнилые, тесто из них на пол текёт, тараканов
много, работники в сифилисе и грязь везде...

– Об этом я и вам говорил...

– Верно, говорил! А что в газету можешь передать – этого не сказал. Ну, написали
в газете; пришла полиция, санитарный, – дал я им всем вместе двадцать пять
целкачей, и вот тебе, – он обвёл рукою круг в воздухе над головой своей, –
видал? Всё – как было. Все тараканы целы. Вот тебе и газета, и наука, и совесть.
И всё это может обернуться против тебя, чудак сундырский! Тут во всём квартале
полиция в моих калошах ходит, всё начальство моими подачками питается – куда
тебе! А ты – лезешь, таракан супротив собаки. Эх, даже и говорить с тобой
скушно...

И – правда – ему, должно быть, скучно: лицо его скисло и оплыло, он утомлённо
закрыв глаза и с воем позевнул, широко открыв красную пасть с тонким, собачьим
языком в ней.

До встречи с ним я уже много видел грязи душевной, жестокости, глупости, – видел
не мало и хорошего, настояще человеческого. Мною были прочитаны кое-какие славные
книги, я знал, что люди давно и везде мечтают о другом ладе жизни, что кое-где
они пробовали – и неутомимо пробуют – осуществить свои мечты, – в душе моей
давно прорезались молочные зубы недовольства существующим, и до встречи с
хозяином мне казалось, что это – достаточно крепкие зубы.

Но теперь, после каждой беседы, я всё более ясно и горестно чувствовал, как
непрочны, бессвязны мои мысли и мечты, как основательно разрывает их в клочья
хозяин, показывая мне тёмные пустоты между ними, наполняя душу мою тоскливой
тревогой. Я знал, чувствовал, что он – неправ в спокойном отрицании всего, во
что я уже верил, я ни на минуту не сомневался в своей правде, но мне трудно было
оберечь мою правду от его плевков; дело шло уже не о том, чтобы опровергнуть
его, а чтоб защитить свой внутренний мир, куда просачивался яд сознания моего

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
бессилия пред цинизмом хозяина.

Ум его, тяжёлый и грубый, как топор, обрубил всю жизнь, расколол её на правильные куски и уложил их предо мною плотной поленицей.

И он нестерпимо разжёл моё юношеское любопытство словами о боге, о душе. Я всегда старался свести беседу к этим темам, а хозяин, как будто не замечая моих попыток, доказывал мне, как я мало знаю тайны и хитрости жизни.

– Жить надо – опасно! Жизнь от тебя всего хочет, вроде как любовница, примерно, а тебе от неё – много ли надо? Одного – удовольствия! И надо жить уклончиво: где лаской, где – таской, а где прямо подошёл да и ударил – раз! И – твоё!

Если я, раздражённый его речами, ставил прямые вопросы, – он отвечал:

– А это тебя не касаемое. Верую или не верую я – за это мне отвечать, не тебе...

Когда же я начинал говорить о любимом мною, он, помотав головой, как бы ища для неё удобное положение, наставлял маленькое ухо на голос мой и слушал мою речь терпеливо, молча, но – всегда с выражением глубокого равнодушия на плоском, курносом лице, напоминавшем медную крышку с шишечкой посередине.

Едкое чувство обиды втекло в душу, – не за себя, за себя-то я уже устал обижаться, относясь к ударам жизни довольно спокойно, обороняясь от них презрением, – было нестерпимо обидно за ту правду, которая жила и росла в моей душе.

Самый тяжкий стыд и великое мучение – это когда не умеешь достойно защищать то, что любишь, чем жив; нет для человека более острой муки, как немота его сердца...

То, что хозяин беседует со мною по ночам, придало мне в глазах крендельщиков особое значение: на меня перестали смотреть одни – как на человека беспокойного и опасного, другие – как на блаженного и чудака; теперь большинство, неумело скрывая чувство зависти и вражды к моему благополучию, явно считало меня хитрецом и пройдохой, который сумел ловко добиться своей цели.

Поглаживая серенькую, пыльную бородку, загоняя куда-то в сторону свой фальшивый глаз, Кузин почтительно говорил мне:

– Тепериче, браток, скоро ты и до приказчика воздымешься...

Кто-то тихонько докончил:

– Хвосты нам ломать...

За спиною у меня то и дело раздавались колкие словечки:

– Видно, язык-от доводит не токмо до Киева...

– Купи его...

И многие уже смотрели в глаза мне покорно, с обидной готовностью услужить.

Артём, Пашка и ещё человека два внесли в зародившееся у них дружеское чувство ко мне неприятный оттенок подчёркнутого внимания ко всему, что бы я ни говорил, – однажды я, не стерпев, сердито заметил Цыгану, что это – лишнее и очень плохо!

– А ты – молчи, знай! – сказал он, поняв меня и весело поблескивая подсиненными белками вороватых глаз. – Ежели хозяин, будучи поумнее всех тут, с тобою спорит – стало быть, в твоих речах есть гвозди!..

А молчаливый, замкнутый Осип Шатунов подходил ко мне всё ближе, смелее. При встречах один на один его невидные, угрюмые глазки мягко вспыхивали, толстые губы медленно растягивались в широкую улыбку, преображая скуластое, каменное лицо.

– Ну, как – легче тебе работать?

– Не легче, а – чище...

– Чище, – стало быть – легче! – поучительно говорил он и, отводя взгляд куда-нибудь в угол, спрашивал будто бы безразлично:

– А что такое значит – бахтырман-пурана?

– Не знаю.

Он, видимо, не веря мне, смущённо крякал и отходил прочь, покачиваясь на кривых, ленивых ногах, и вскоре спрашивал снова:

– А – саварсан-само, – что бы это такое?

У него был большой запас подобных слов, и когда он чётко выговаривал их своим низким могильным голосом – они звучали странно, чувствовалось в них что-то сказочно древнее.

– Откуда ты берёшь эти слова? – недоумевая, заинтересованный, спрашивал я его. Он отвечал осторожным вопросом:

– А на что тебе знать – откуда?

И опять, как будто стараясь застичь меня врасплох, неожиданно и намекающе вопрошал:

– Что это значит – харна?

Иногда вечерами, кончив работу, или в канун праздника, после бани, ко мне в пекарню приходили Цыган, Артём и за ними – как-то боком, незаметно подваливался Осип. Усаживались вокруг приямка перед печью, в тёмном углу, – я вычистил его от пыли, грязи, он стал уютен. По стенам сзади и справа от нас стояли полки с хлебными чашками, а из чашек, всходя, поднималось тесто – точно лысые головы, прячась, смотрели на нас со стен. Мы пили густой кирпичный чай из большого жестяного чайника, – Пашка предлагал:

– Ну-ка, расскажи чего-нибудь, а то- стихов почитай!

У меня в сундуке на печи лежали Пушкин, Щербина, Суриков, – потрёпанные томики, купленные у букиниста, и я с наслаждением, нараспев читал:

Как высоко твоё, о человек, призванье,
От лика божия на землю павший свет!
Есть всё в твоей душе, чем полно мирозданье,
В ней всё нашло себе созвучье и ответ...
Слепо мигая, Пашка заглядывал сбоку на страницы книги и удивлённо бормотал:

– Скажи, пожалуйста! Совсем ведь священнописание! Это хоть бы и в церкви петь, ей-бо-о...

Стихи – всегда почти – особенно возбуждали его и настраивали на покаянный лад; иногда, повторяя строки стиха, взявшие его за сердце, он размахивал руками и хватался за курчавые волосы, жестоко ругаясь:

– Верно!

Мне жизнь в удел дала нужду, –
Чего же я от жизни жду?
– Верно, мать честная! Господи, – иной раз, братцы, так жалко душеньку свою, – пропадает! Зальётся сердце тоскою, зальётся горькой... э-э-хма:!. В разбойники бы, что ли, пойти?!. Малым камнем – воробья не убьёшь, – а ты вот всё толкуешь: ребята, дружно! Что – ребята? Где там!

Артюшка, слушая стихи, всхлипывал и облизывался, точно глотая что-то горячее, вкусное. Его всегда страшно удивляли описания природы:

Деревья, в золотом уборе,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorki.ua

Стоят понуро над прудом

– читал я.

– Стой! – схватив меня за плечо, воскликнул он негромко, радостно и удивлённо, весь сияя: – Это я – видел! Это – около Арска, в усадьбе в одной, ей-богу!

– Ну, так что, – что видел? – сердито спрашивал Пашка.

– Да – как же! И я видел, и написано...

– А ты – не мешай! Чума ветлянская.

Однажды Артёму очень понравилось суриковское стихотворение «За городом», и дня три, всем надоев, всеми изруганный, он распевал на лад солдатской песни «Было дело под Полтавой»:

Я иду, куда – не знаю,
Всё равно, – куда-нибудь!
Что мне в том, к какому краю
Приведёт меня мой путь...

А Шатунова стихи не трогали, он слушал их совершенно равнодушно, но цепко хватался за отдельные слова, настойчиво добиваясь их смысла:

– Погоди, погоди, – что это – урна?

Его странная погоня за словами не давала мне покоя, я хотел понять – чего он ищет?

Как-то раз, после долгой осады просьбами и вопросами, Осип сдался, – милостиво усмехнувшись, он спросил:

– Что – забрало-таки тебя?

И, таинственно оглядываясь, шёпотом, объяснил мне:

– Есть такой стих секретный, – кто его знает, тот всё может исделать, – это стих на счастье! Только- весь его никому, покамест, не надо знать – все слова розданы по отдельным, разным лицам, рассеяны, до срока, по всей земле. Так – понимаешь – надобно слова эти все собрать, составить весь стих...

Он ещё понизил голос и наклонился ко мне.

– Он, стих этот, кругом читается, с начала и с конца, – всё едино! Я уж некие слова знаю, мне их один странствующий человек сказал пред кончиной своей в больнице. Ходят, брат, по земле неприятные люди и собирают, всё собирают эти тайные слова! Когда соберут – это станет всем известно...

– Почему?

Он недоверчиво оглянул меня с ног до головы и сказал сердито:

– Ну, почему! Сам знаешь...

– Честное слово – не знаю ничего!

– Ладно, – проворчал он, отходя прочь, – притворяйся...

...А однажды утром ко мне прибежал радостно взволнованный Артём и, захлебываясь словами, объявил:

– Грохало! А я ведь сам песню сочинил, право-тко!

– Ну?

– Вот – ей-ей! Во сне, видно, приснилась, – проснулся, а она в голове и вертится, чисто – колесо! Ты – гляди-ко.

Весь как-то потянувшись вверх, он выпрямился, вполголоса и нараспев говоря:

Вот – уходит солнце за реку –
Скоро солнышко в лесу потонет.
Вот пастух стадо гонит,
А... в деревне...
– Как это?

Беспомощно взглянув на потолок, он побледнел и долго молчал, закусив губу, мигая испуганными глазами. Потом узкие плечи его опустились, он сконфуженно махнул рукою:

– Забыл, фу ты, господи! Рассыпалось!..

И – заплакал, бедняга, – на его большие глаза обильно выкатились слёзы, сухонькое, угловатое лицо сморщилось, растерянно ощупывая грудь около сердца, он говорил голосом виноватого:

– Вот те и раз... А какая ведь штука была... даже сердце замирало... Эх ты... Думаешь – вру?

Отошёл в угол, убито опустив голову, долго торчал там, поводя плечами, выгнув спину, и, наконец, тихо ушёл к работе. Весь день он был рассеян и зол, вечером – безобразно напился, лез на всех с кулаками и кричал:

– Где Яшка-а? Братик мой – куда делся? Будь вы трижды прокляты..

Его хотели избить, но Цыган заступился, и мы, крепко опутав пьяного мешками, связав его верёвкой, уложили спать Артёма.

А песню, сложенную во сне, он так уж и не вспомнил...

Комната хозяина отделялась от хлебопекарни тонкой, оклеенной бумагою переборкой, и часто бывало, что, когда, увлекаясь, я поднимал голос, – хозяин стучал в переборку кулаком, пугая тараканов и нас. Мои товарищи тихонько уходили спать, ключья бумаги на стене шуршали от беготни тараканов, я оставался один.

Но случалось, что хозяин вдруг бесшумно, как тёмное облако, выплывал из двери, внезапно являлся среди нас и говорил сверлящим голосом:

– Полуношничаете, черти, а утром продряхаете бог зна до какой поры.

Это относилось к Пашке с товарищами, а на меня он ворчал:

– Ты, псалтырник, завёл эту ночную моду, ты всё! Гляди, насосутся они ума-разума из книжек твоих да тебе же первому рёбра и разворотят...

Но всё это говорилось равнодушно и – больше для порядка, чем из желания разогнать нас; он грузно опускался на пол рядом с нами, благосклонно разрешая:

– Ну, читай, читай! И я прислушаю, авось умный буду... Павелка, – налей-ка чаю мне!

Цыган шутил:

– Мы тебя, Василий Семёныч, чайком попоим, а ты нас – водчонкой!

Хозяин молча показывал ему тупой, мягкий кукиш. Но иногда, выходя к нам, он объявлял каким-то особливый, жалобным голосом:

– Не спится, ребяташки... Мыши проклятые скребут, на улице снег скрипит, – студентишки шляются, в магазин – девки заходят часто, это они – греться, курвы! Купит плюшку за три копейки, а сама норовит полчаса в тепле простоять...

И начиналась хозяйская философия.

– Так и все: не дать, абы взять! Тоже и вы – где бы сработать больше да чище, вы одно знаете, скорее бы шабаш да к безделью...

Пашка, как глава мастерской, обижался и вступал в бесполезный спор:

– Ещё тебе мало, Василий Семёнов! И так уж ломим работу, чертям в аду подобно! Небойсь, когда сам ты работником был...

Таких напоминаний хозяин не любил: поджав губы, он с минуту слушал пекаря молча, строго озирая его зелёным глазом, потом открывал жабий рот и тонким голосом внушал:

– Что было – сплыло, а что есть, то – здесь! А здесь я – хозяин и могу говорить всё, тебе же законом указано слушать меня – понял? Читай, Грохало!

Однажды я прочитал «Братьев-разбойников», – это очень понравилось всем, и даже хозяин сказал, задумчиво кивая головою:

– Это могло случиться... отчего нет? Могло. С человеком всё может быть... всё!

Цыган, угрюмо нахмурясь, вертел папиросу между пальцев и ожесточенно дул на неё, Артюшка, неопределённо усмехаясь, вспоминал отдельные стихи:

Нас было двое: брат и я...

Нам, детям, жизнь была не в радость...

А Шатунов, глядя в подпечек и не поднимая головы, буркнул:

– Я знаю стих лучше...

– Ну, – скажи, – предложил хозяин, насмешливо оглядывая его длиннорукое, неуклюжее тело. Осип сконфузился так, что у него даже шея кровью налилась и зашевелились уши.

– Кажись, – забыл я...

– Не ломайся, – сердито крикнул Цыган. – Тянули тебя за язык?

Артюшка подзадоривал Осипа:

– Лучше? Ну-ка, ахни! Мешок...

Шатунов беспомощно и виновато взглянул на меня, на хозяина и вздохнул.

– Что ж... Слушайте!

Как раньше, глядя в подпечек, откуда торчали поломанные хлебные чашки, дрова, мочало помела, – точно непрожёванная пища в чёрной, устало открытой пасти, – он глухо заговорил:

Ой, во кустах, по-над Волгой, над рекой,
Вора-молодца смертный час его настиг.

Как прижал вор руки к пораненной груди, –
Стал на колени – богу молится.

– Господи! Приими ты злую душеньку мою,
Злую, окаянную, невольничью!

Было бы мне, молодцу, в монахи идти, –
Сделался, мальчонко, разбойником!

Он говорил нараспев и прятал лицо, всё круче выгибая спину, держа себя рукою за пальцы ноги и для чего-то дёргая её вверх. Казалось – он колдует, говорит заклинание на кровь.

Жил для удалства я, не ради хвастовства, –

Жил я – для души испытания,
Силушку мотал, да всё душеньку пытал:

Что в тебя, душа, богом вложено,

Что тебе, душа, дано доброго

От пресвятыя богородицы?

Кое семя в душеньку посеяно

Деймоновой силою нечистою?

– Дурак ты, оська, – вдруг встряхнув плечами, сказал хозяин злым, высоким

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru
голосом, – и стих твой дурацкий, и ничем он на книжный не похож, – соврал ты!
Пентюх...

– погоди, Василий Семёнов, – грубовато вступился Цыган, – дай ему кончить!

Но хозяин возбуждённо продолжал:

– всё это – подлость! туда же: душенька, душа... напакостил, испугался да и завыл:
господи, господи! а чего – господи? сам – во грехе, сам и в ответе...

он нарочито – как показалось мне – зевнул и с хрипотцой в горле добавил:

– душа, душа, а и нет ни шиша!

по стёклам окна мохнатыми лапами шаркала вьюга, – хозяин, сморщившись, взглянул
на окно, скучно и лениво выговаривая:

– по-моему – про душу тот болтает, у кого ума ни зерна нет! ему говорят: вот как
делай! а он: душа не позволяет или там – совесть... это всё едино – совесть али
душа, лишь бы от дела отвертеться! один верит, что ему всё запрещено, – в монахи
идёт, другой – видит, что всё можно, – разбойничает! это – два человека, а не
один! и нечего путать их. а чему быть, то – будет сделано... надо сделать – так и
совесть под печку спрячется и душа в соседи уйдёт.

он тяжело поднялся на ноги и, ни на кого не глядя, пошёл в свою комнату.

– ложились бы спать... сидят, соображают. туда же... душа!.. Богу молиться – очень
просто, да и разбойничать – не велик труд, нет, – вы, сволочь, поработайте! Ага?

когда он скрылся за дверью, шумно прихлопнув её, – Цыган попросил Шатунова,
толкнув его:

– Ну, говори!

Осип поднял голову, осмотрел всех и тихо сказал:

– Врёт он.

– Кто – хозяин?

– Он. Есть в нём душа, и беспокоило ей. Я – знаю!

– Это дело не наше... Ты, знай, говори своё-то!

Осип вздрогнул, вылез из приямка и, встряхнув большой своей башкой, не спеша
пошёл прочь.

– Запомню я...

– Ври!

– Право. спать иду.

– Эх ты... Ты – вспомни!

– Нет, спать надо...

Расплываясь во тьме, Осип тихо сказал:

– А плохая наша жизнь, братцы...

– Неужто? – ворчливо отозвался Артём. – А мы и не знали, – спасибо, что сказал!

Аккуратно скручивая папиросу, Цыган, взглянув вслед Осипа, шепнул:

– ненадёжного разума парень...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912-1923. Максим Горький gorkiyта
Выла и стонала февральская вьюга, торкалась в окна, зловеще гудела в трубе;
сумрак пекарни, едва освещённой маленькой лампой, тихо колебался, откуда-то
втекали струи холода, крепко обнимающая ноги; я месил тесто, а хозяин, присев на
мешок муки около ларя, говорил:

– Покуда ты молодой – думай обо всём, что есть; покуда не прилепился к одному
какому делу – сообрази обо всех делах, – нет ли чего как раз в меру твоей
силе-охоте... Соображай не торопясь...

Сидел он широко расставив колена, и на одном держал графин кваса, на другом –
стакан, до половины налитый рыжею влагой. Я с досадой посматривал на его
бесформенное лицо, склонённое к чёрному, как земля, полу, и думал:

«Угостил бы ты меня квасом-то...»

Он приподнял голову, прислушался к стонам за окном и спросил, понизив голос:

– Ты – сирота?

– Вы уже спрашивали об этом...

– Экой у тебя голос грубый, – вздохнув и мотая головой, заметил он. – И голос и
самые слова...

Я, кончив работу, чистил руки, обирая присохшее тесто; он выпил квас,
причмокивая, налил полный стакан и протянул мне:

– пей!

– Спасибо.

– Да. Вот – пей. Я, брат, сразу вижу, кто умеет работать, такому я всегда готов
уважить. Примерно – Пашка: фальшивый мужик, вор, а я его – уважаю, – он работу
любит, лучше его нет в городе пекаря! Кто работу любит – тому надо оказать
всякое внимание в жизни, а по смерти – честь. Обязательно!

Закрыв ларь, я пошёл топить печь, – хозяин, крикнув, поднялся и бесшумно, серым
комом покатился за мною, говоря:

– Кто делает нужное дело – тому многое можно простить... Плохое его – с ним и
подохнет, а хорошее – останется...

Спустив ноги в приямок, он грузно шлёпнулся на пол, поставил графин рядом с
собой и наклонился, заглядывая в печь.

– Дров мало положено, гляди!

– Хватит – сухие и половина берёзовых...

– Мм-а? Угу...

Тоненько засмеявшись, он ударил меня по плечу:

– Вот, – ты всё соображаешь, это я очень замечаю! Это – много! Всё надо беречь –
и дрова и муку...

– А человека?

– Дойдём и до человека. Ты слушай меня, я худу не научу.

И, глядя себя по груди, такой же выпуклой и жирной, как его живот, он сказал:

– Я, изнутри, хороший человек, – с сердцем. Ты, по молодой твоей глупости, этого
ещё не можешь понять, ну однако пора те знать, – человек... это, брат, не пуговица
солдатская, он блестит разно... Чего морщишься?

– Да – вот: мне спать надобно, а вы мешаете, слушать вас интересно...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– А коли интересно – не спи! Хозяином будешь – выписься...

Вздыхнув, он добавил:

– Нет, хозяином тебе не быть; никогда ты никакого дела не устроишь... Больно уж ты словесный... изойдешь, истратишься на слова, и разнесёт тебя ветром зря... никому без пользы...

Он вдруг длинно, с присвистом выругался отборно скверными словами. Лицо его вздрогнуло, как овсяный кисель от внезапного толчка, и по всему телу прошла судорога гнева; шея и лицо налились кровью, глаз дико выкатился. Василий Семёнов, хозяин, завизжал тихо и странно, точно подражая вою вьюги за окном, где как будто вся земля обиженно плакала:

– Э-эх, ма-а, кабы мне – людей хороших, крепких бы людей? Показал бы я дело – на всю губернию, на всю Волгу... Ну, – нет же народу! Все – пьяны от нищеты и слабости своей... А управители эти, чиновнички...

Он совал ко мне кулаки коротких рук, разжимал пальцы и, хватая ими воздух, точно за волосы ловил кого-то, тряс, рвал и всё говорил, жадно присвистывая, брызгая слюною:

– Смолоду, смолоду надо глядеть, к чему в человеке охота есть, – а не гнать всех без разбору во всякое дело. Оттого и выходит: сегодня – купец, завтра – нищий; сегодня – пекарь, а через неделю, гляди, дрова пилить пошёл... Училищи открыли и всех загоняют насильно – учись! И стригут, как овец, всех одними ножницами... А надо дать человеку найти своё пристрастие – своё!

Схватив меня за руку, он привлёк к себе, продолжая злым, шипящим голосом:

– Ты вот про что думай-говори, что всех заставляют жить против воли, не по своим средствам, а как начальство распорядится... Распоряжаться – кто может? Кто дело делает, – я могу распоряжаться, я вижу, кому где быть!

И, оттолкнув меня, он безнадежно махнул рукой:

– А так, с чиновниками, под чужой рукой, – ничего не будет, никакого дела. Бросить всё и – бежать в лес. Бежать!

Качая своё круглое тело, он тихо протянул:

– Никаких нет людей, всё исполнители! Ступай! Идёт. Стой! Стоит. Вроде рекрутов. И озорство – рекрутское. И всё – никуда, ни к чему... Смотрит, поди-ка, бог с небеси на эту нашу канитель и думает: а, ну вас, болваны... никчемный народ...

– Себя-то вы никчемным не считаете?

Он, всё покачиваясь, ответил не сразу.

– Себя-то, себя-то... Не от всякой искры пожар может быть, иная и так, зря сгорит. Себя-то... Мне – всего сорок с годом, а я скоро помру от пьянства, а пьянство – от беспокойства жизни, а беспокойство... разве я для такого дела? Я – для дела в десять тысяч человек! Я могу так ворочать – губернаторы ахнут!

Он хвастливо посверкал зелёным глазом, а серый глядел в огонь уныло; потом он широко развёл руки:

– Что это для меня? Мышеловка. Дай мне пяток понимающих да честных, – ну, хоть не честных, а просто умных воров! – я те покажу это... Работу! Огромное дело, на удивление всем и на пользу...

Усталый, он лёг, распустился по грязному полу и засопел, а ноги его висели в прямке, красные в отсветах весёлого огня.

– Бабы, тоже, – вдруг проворчал он.

– Что – бабы?

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Посмотрев с минуту в потолок, хозяин приподнялся и сел, говоря тоскливо:

– Ежели бы женщина понимала, до чего без неё нельзя жить, – как она в деле велика... ну, этого они не понимают! Получается – один человек... Волчья жизнь! Зима и тёмная ночь. Лес да снег. Овцу задрал – сыт, а – скушно! Сидит и воет...

Он вздрогнул, торопливо заглянул в печь, строго – на меня и тотчас сурово, хозяйски заворчал:

– Загребай жар, чего глядишь? Развесил уши...

Тяжело вылез из прямка, остановился, почёсывая бок, долго смотрел в окно. За стёклами мелькало, стоная, белое. На стене тихо шипел и потрескивал жёлтый огонёк лампы, закопчённое стекло почти совсем прятало его.

– О, господи, господи, – пробормотал хозяин, пошёл куда-то в крендельную, тяжело шаркая валяными туфлями, и потонул в чёрной дыре арки, а я, проводив его, стал сажать хлебы в печь; посадил и задремал.

– Гляди, не проспи, – раздался над головою знакомый голос.

Хозяин стоял, заложив руки за спину, лицо у него было мокрое, рубаха сырая.

– Снегу нанесло – горы, весь двор завалило...

Он широко растянул губы и несколько секунд смотрел на меня гримасничая, потом медленно проговорил:

– Вот, единожды, пойдёт эдак-то снег неделю, месяц, всю зиму, лето, и – тогда задохнутся все на земле... Тут уж никакие лопаты не помогут... Да. И – хорошо бы! Сразу всем дуракам – конец...

Переваливаясь с боку на бок, точно потревоженная двухпудовая гиря, он, серый, откатился к стене и влез в неё, пропал...

Каждый день – на рассвете – я должен был тащить в одно из отделений магазина корзину свежих булок, и все три наложницы хозяина были знакомы мне.

Одна – молоденькая швейка, кудрявая, пышная, плотно обтянутая скромным серым платьем; её пустые, водянистые глаза смотрели на всё утомлённо, на белом лице лежало что-то горестное, вдовье. Даже и за глаза она говорила о хозяине робко, пониженным голосом, величая его по имени-отчеству, а товар принимала с какой-то смешной суетливостью, точно краденое...

– Ах, – булочки, плюшечки, милочки, – говорила она паточным голосом.

Другая – высокая, аккуратная женщина, лет тридцати; лицо у неё сытое, благочестивое, острые глазки покорно опущены, голос тоже покорно спокойный. Принимая товар, она старалась обсчитать меня, и я был уверен, что – рано или поздно – эта женщина неизбежно наденет на своё стройное и, должно быть, холодное тело полосатое платье арестантки, серый тюремный халат, а голову повяжет белым платочком.

Обе вызывали у меня непобедимую антипатию, и я всегда старался носить товар к третьей; её отделение было дальше других, и мне охотно уступали удовольствие посещать эту странную девицу.

Звали её Софья Плахина, была она толстая, краснощёкая и вся какая-то сборная – как будто её наскоро слепили из разных, не идущих друг ко другу частей.

На голове у неё – копна волнистых волос, досиня чёрных, точно у еврейки, и всегда они причёсаны плохо; между вспухших, красных щёк – чужой горбатый нос, а глаза – редкие: в больших и хрустально-прозрачных белках странно плавают тёмно-карие зрачки и светятся по-детски весело. Рот у неё тоже детский – маленький и пухлый, а расплывшийся, жирный подбородок упирается в мощную, уродливо приподнятую грудь ожиревшей женщины. Неряшливая, всегда растрёпанная и замазанная, с оборванными пуговицами на кофте, в туфлях на босую ногу, она

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
производила впечатление тридцатилетней, а лет ей было:

– Усынадцать, – как говорила она ломаным языком. Сирота, она была привезена из Баронска, хозяин нашёл её в публичном доме, куда она попала, по её словам:

– Так! Мамаша, которая родила меня, – умерла, а папаша женился на немке и тоже помер, а немка вышла замуж за немца – вот у меня ещё и папаша и мамаша, а оба – не мои! И оба они пьяные, а мне уже тринадцать лет, и немец стал приставать, потому что я всегда была толстая. Они меня очень колотили по затылку и по спине. Потом он жил со мной, и случился ребёнок, тогда все испугались и стали бежать из дома, всё провалилось, и дом продали за долги, а я поехала с одной дамой на пароходе сюда делать выкидыш, а потом выздоровела и меня отдали в заведение. Такое всё свинство... Хорошо было только ехать на пароходе...

Это она рассказала мне, когда мы были уже друзьями, а дружба завязалась у нас очень странно.

Мне не нравилось её нелепое лицо, неправильная речь, ленивые движения и шумная, навязчивая болтовня. Уже во второй раз, когда я принёс товар, она объявила со смехом:

– Вчера я прогнала хозяина и морду нацарапала ему – видел?

Видел, – на одной щеке – три рубца, на другой – два, но мне не хотелось говорить с нею, я промолчал.

– Ты – глухой? – спросила она. – Немой?

Я не ответил. Тогда она дунула в лицо мне и сказала:

– Глупый!

На том и кончили в этот раз. А на другой день, когда я, сидя на корточках, складывал в корзину непроданный, засохший, покрытый мшистой плесенью товар – она навалилась на спину мне, крепко обняла за шею мягкими короткими руками и кричит:

– Неси меня!

Я рассердился, предложил ей оставить меня, но она, всё тяжелее наваливаясь, понукала:

– Ну-у, неси-и...

– Оставьте, а то я вас перекину через голову...

– Нет, – убеждённо сказала она, – это нельзя, я – дама! Нужно делать, как хочет дама, – ну-у!

От её жирных волос истекал удушливый запах помады, и вся она была пропитана каким-то тяжёлым масляным запахом, точно старая типографская машина.

Я перекинул её через себя так, что она ударилась в стену ступнями ног и тихонько, по-детски обиженно заплакала, охая.

Мне стало и жалко её и стыдно пред нею. Сидя на полу, спиной ко мне, она качалась, прикрывая вскинувшимися юбками белые, шлифованные ноги, и было в наготе её что-то трогательно беспомощное – особенно в том, как она шевелила пальцами босых маленьких ног, – туфли слетели с них.

– Я ведь говорил вам, – смущённо бормотал я, приподнимая её, а она, морщась, охала:

– Ой, ой... мальчишка...

И вдруг, притопывая ногами о пол, беззлобно расхохоталась, закричала:

– Уйди к быкам, волкам, – уйди!

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru
Я поскорее вышел на улицу, очень сконфуженный, крепко ругая себя. Над крышами домов таяли серые остатки зимней ночи, туманное утро входило в город, но жёлтые огни фонарей ещё не погасли, оберегая тишину.

– Слушай, – открыв дверь на улицу, крикнула девица вслед мне, – ты не бойся, я хозяину ничего не скажу!..

Дня через два снова пришлось мне нести к ней товар, – она встретила меня весело улыбаясь, но вдруг задумалась и спросила:

– Ты умеешь читать?

И, вынув из ящика конторки красивый бумажник, достала кусок бумаги:

– Прочитай!

Я прочитал написанные чётким почерком две начальные строки стихотворения:

Папаша мой, известный казнокрад,
Украл не менее пятидесяти тысяч.

– Ах, какой подлый! – вскричала она, – вырвав бумагу из рук у меня, потом торопливо и возмущённо стала говорить:

– Это написал мне подлый дурачок, тоже мальчишка, только студент. Я очень люблю – студенты, они – как военные офицеры, а он за мной ухаживает. Это он про отца так! Отец у него важный, седая борода, с крестом на груди и гуляет с собакой. Ой, я очень не люблю, когда старик с собакой, – разве нет никого больше? А сын – ругает его: вор! И вот – написал даже!

– Да вам какое дело до них?

– О! – сказала она, испуганно округлив глаза. – Разве можно ругать отца? Сам ходит пить чай к распутной девке..

– Это – к кому?

– Ко мне же! – с удивлением и досадой воскликнула она. – Вот бестолковый!

У меня с нею образовались странные отношения какой-то особой и, так сказать, словесной близости: мы говорили обо всём, но, кажется, ничего не понимали друг в друге. Порою она пресерьёзно и подробно рассказывала мне такие женские и девичьи истории, что я, невольно опуская глаза, думал:

«Что она – женщиной меня считает, что ли?»

Это было неверно; с той поры, как мы подружались, она уже не выходила ко мне распустёхой, – кофта застёгнута, дыры под мышками зашиты, и даже – чулки на ногах; выйдет и, ласково улыбаясь, объявляет:

– А у меня уже самовар готов!

Пили чай за шкафами, где у неё стояла узенькая кровать, два стула, стол и старый, смешно надутый комод с незадвигавшимся нижним ящиком, – об угол этого ящика Софья постоянно ушибала то одну, то другую ногу и всегда, ударив рукою по крышке, поджав ногу, морщилась, ругаясь:

– Пузатый дурак! Совсем как Семёнов, – толстый, злой и глупый!

– Разве хозяин – глупый?

Она удивлённо приподнимала плечи, – большие уши её тоже шевелились, приподнимаясь.

– Конечно же!

– Почему?

– Так уж. По всему.

– Ну, а всё-таки – почему же?

Не умея ответить, она сердилась:

– Всё-таки, всё-таки!.. И всё-таки – дурак... весь – дурак!

Но однажды она, почти возмущённо, объяснила мне:

– Ты думаешь – он живёт со мной? Это было всего два раза, ещё в заведении, а здесь – не бывает. Я раньше даже на колени к нему садилась, а он – щекотит и говорит: «Слезь!» Он с теми живёт с двумя, а я и не знаю, зачем я ему? Отделение это дохода не даёт, торговать я не умею, не люблю. Зачем всё это? Я спрашиваю, а он визжит: «Не твоё дело!» Такие глупости везде...

Качая головой, она закрывает глаза, и лицо её становится тупым, как у мёртвой.

– А ты знаешь тех двух?

– Ну да. Он, когда пьёт, привозит ко мне то одну, то другую и кричит, как сумасшедший: «Бей её по харе!» Молоденькую я не трогала, её – жалко, она всегда дрожит; а ту, барыню, один раз ударила, тоже пьяная была и – ударила её. Я её – не люблю. А потом стало мне нехорошо, так я ему рожу поцарапала...

Задумавшись, она вся как-то подобралась и сказала тихо:

– Его – не жалко, свинью, а – так как-то... Богатый... Лучше бы стал нищим, больным. Я ему говорю: «Это ты как живёшь, дурак? Ведь нужно как-нибудь хорошо жить... Ну, женился бы на хорошей, дети будут...»

– Да ведь он женат...

Пожав плечами, Софья простодушно сказала:

– Отравил же он кого-то... и жену отравил бы... старуха какая-то! Просто он – сумасшедший... И ничего не хочет...

Я пытался доказывать, что травить людей – не следует, но она спокойно заметила:

– Травят же...

На подоконнике у неё стоял бальзамин в цвету, – однажды она хвастливо спросила:

– Хорош светок?

– Ничего. Только надо говорить – цветок.

Она отрицательно качнула головой.

– Нет, это не подходит: цветок – на ситце, а светок, светик – это от бога, от солнышка. Одно – цвет, другое – свет... Я знаю, как говорить: розовый, голубой, сиреневый – это цвет...

...Всё труднее становилось с этими как будто несложными, а на самом деле странно и жутко запутанными людьми. Действительность превращалась в тяжкий сон и бред, а то, о чём говорили книги, горело всё ярче, красивей и отходило всё дальше, дальше, как зимние звёзды.

Однажды хозяин, глядя прямо в лицо мне зелёным глазом, тусклым на этот раз, точно окисшая медь, спросил угрюмо:

– Ты, слышь, там в отделении чай распиваешь?

– Пью.

– То-то – пью! Гляди...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Сел рядом, тяжело толкнув меня, и, с чувством, близким восхищению, заговорил, жмурясь, точно кот, чмокая и обсасывая слова:

– Хороша девка-то, а? Это – я тебе скажу... не нашего бога бес! Что она мне говорит... никакой поп, никто не скажет мне эдак! Да-а. Страшаю я её – для пробы: «Вот я тебя, дура, изобью и выгоню!» Никаких не боится... Любит правду сказать, любит, шельма...

– А зачем вам правда?

– Без правды – скушно, – сказал он удивительно просто.

Потом, вздохнув, уколол меня острым, неприязненным взглядом и ворчливо – точно я его обидел чем-то – продолжал:

– Ты думаешь, жизнь-то – весела?..

– Где уж там! Особенно – около вас...

– Около вас! – передразнил он и долго молчал, раскисая: щёки отвисли, как у старого цепного пса в жаркий день, уши опустились, и нижняя: губа тоже отвисла тряпкой. Огонь отражался на его зубах, и они казались красноватыми.

– Это дуракам жизнь весела, а умному... умный водку пьет, умный озорничает... он – со всей жизнью в споре... Вот я – иной раз – лежу-лежу ночью да и пожалею: хоть бы вошь укусила! Когда я работником был – любила вошь меня... это к деньгам, всегда! А стал чисто жить – отошла... Всё отходит прочь. Остаётся самое дешёвое – бабы... самое навязчивое, трудное...

– Вы у них правды ищите?

Он сердито воскликнул:

– А ты думаешь – они меньше тебя знают дело? Они? Вон – Кузин: он бога боится и правду любит донести... думает, я её покупать буду у него. Я и сам люблю гниль продать по хорошей цене, – на-ко вот!

Хозяин показал огню печи кукиш.

– Егорка – топор. Глуп, как гиря. Ты – тоже: каркаешь – кра, кра, правда, а сам норовишь на шею сесть. Тебе надо, чтобы все жили, как тобой указывается, а я этого не хочу! Меня сам господь без внимания оставил, – живи, дескать, Василь Семёнов, как хошь, а я тебе не указчик... пошёл ты ко всем чертям!

Его розовато-жёлтое лицо, облизанное огнём, лоснилось и потело, глаза остановились, уснули, и язык ворочался тяжело.

– А Совка мне прямо говорит: «Плохо живёшь!» – «Плохо?» – «Ну, да: ни волк, ни свинья...» – «А – как надо жить, дура?» – «Не знаю, говорит, сам догадайся! Ты – умный, ты напрасно притворяешься, можешь догадаться...» Вот это – правда. Не так – правда, не знаю как – правда!.. А вы...

Матерно выругавшись, он заговорил более оживлённо:

– Я её зову – Сова. Днём она вовсе слепая дура... положим, и ночью тоже дура... только ночью у неё... смелость есть...

Он засмеялся тихонько, – в этом смехе мне почудилась ласковость, с которой он говорил свиньям: «Отшельнички мои, шельмочки...»

– Держу трёх, – продолжал он, – одна для плотской забавы – Надька кудрявая. Распутная – без меры! Будто бы всего боится, а ничего не боится, – нет в ней ни страха, ни совести, одна жадность. Пиявка. Святого с толку собьёт. Курочкина у меня – для ума. Её иначе и назвать нельзя, имя ей – Глашка, Глафира, а надо звать – Курочкина... не подходит иначе! Я её дразнить люблю: «Сколько, говорю, ни молись и ни жги лампад, а черти тебя ожидают!» Боится она чертей, смерти боится! Промышляет осторожно фальшивой деньгой – наемни сдала мне трёшницу слепую, а ещё раньше – пятёрку. «Откуда?» Говорит – подсунули. Врёт – просто она сдатчица

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
в шайке какой-нибудь, менялой служит, за процент. Умная баба, хитрая. Скушно с
ней, если не взворошить её... ну, тогда она так взовьётся, что и мне бывает
страшно... Она – человека удушить может. Подушкой. Обязательно – подушкой! А,
удушив, помолится: «Господи, прости, помилуй!» Это – верно!

Чем-то едко раздражающим веяло от всей его безобразной фигуры, щедро освещённой
огнём, лизавшим её всё бойчее и жарче. Он повёртывался от жары, потел, и от него
исходили душные, жирные запахи, как от помойной ямы в знойный день. Хотелось
крепко обругать его, ударить, рассердить этого человека, чтоб он заговорил
иначе, но в то же время он заставлял внимательно слушать именно эти терпкие,
пряные речи, – они сочлились бесстыдством, но была в них тоска о чём-то...

– Все врут: дураки – по глупости, умные – из хитрости, а Совка говорит правду...
она её говорит... не для пользы своей... и не для души... какая там душа? Просто –
хочет и говорит. Слышал я – студенты правду любят... ходил по трактирам, где они
пьянствуют... ничего нет, враки это... просто – пьяницы – пьют... да...

Он бормотал, уже не обращая на меня внимания, как будто забыв, что я сижу бок о
бок с ним:

– Иному человеку правда... вроде бы он в барыню влюбился самого высокого
происхождения... всего один раз и видел, а влюбился на всю жизнь... и никак до неё
не достичь... словно во сне привиделось...

Было трудно понять: пьян хозяин или трезв, но – болен? Он тяжело шевелил языком
и губами, точно не мог размять надуманные им жёсткие слова. В этот раз он был
особенно неприятен, и, сквозь дрему глядя в печь, я перестал слушать его
мурлыкающий голос.

Дрова были сырые, горели натужно, шипя и выпуская кипучую слюну, обильный, сизый
дым. Жёлто-красный огонь трепетно обнимал толстые плахи и злился, змеиными
языками лизал кирпич низкого свода, изгибаясь, тянулся к челу, а дым гасил его,
– такой густой, тяжёлый дым...

– Грохало!

– Что?

– Знаешь, чем ты меня удивил?

– Говорили вы.

– Да...

Он помолчал и нищенским голосом вытянул:

– Ка-акое же тебе дело, что я простужусь, помру! Это ты... не подумав сказал, для
шутки!

– Шли бы вы спать...

Он захихикал, покачивая головой, и тем же плачущим голосом выговорил:

– Я ему добра хочу, а он меня – гонит...

Впервые слышал я из его уст слово – добро, мне захотелось испытать искренность
настроения хозяина, и я предложил:

– Вы бы вот Яшутке добра пожелали.

Хозяин замолчал, тяжело приподняв плечи.

Дня за два перед этой беседой в крендельную явился Бубенчик, гладко остриженный,
чистенький, весь прозрачный, как его глаза, ещё более прояснившиеся в больнице.
Пёстрое личико похудело, нос вздёрнулся ещё выше, мальчик мечтательно улыбался и
ходил по мастерским какими-то особенными шагами, точно собираясь соскочить с
земли. Боялся испачкать новую рубаху и, видимо, конфузясь своих чистых рук, всё
прятал их в карманы штанов из чёртовой кожи – новых же.

– Кто это тебя женихом таким нарядил? – спрашивали крендельщики.

– Июлия Иванна, – слабым, милым голосом отвечал он, останавливаясь там, где застиг его вопрос, вынимал из кармана левую руку и, помахивая ею, рассказывал:

– Доктолиха, полковникова дочь; отцу ейному тулки ногу отлублили, аж до колена, видел я и его, так он – лысый совсем и ко всему говолит – пустяки.

И восторженно восклицал:

– Вот так холошо, блатцы, в больнице-то, ай-ай! Чистота-а!

– А что у тебя в правой руке?

– Ничего! – испуганно округляя глаза, ответил он.

– Врёшь! Показывай!

Он сконфузился, искривился весь, засунув руку ещё глубже в карман и опустив плечо, это заинтересовало ребят, и они решили обыскать его: схватили, смяли и вытащили из кармана новенький двугривенный и финифтяный маленький образок – богородица с младенцем. Монету тотчас же отдали Якову, а образ стал переходить из рук в руки, – сначала мальчик, напряжённо улыбаясь, всё протягивал за ним маленькую ручонку, потом нахмурился, завял, а когда солдат Милов протянул ему образок, – Яшутка небрежно сунул его в карман и куда-то исчез. После ужина он пришёл ко мне унылый, измятый, уже запачканный тестом, осыпанный мукою, но – не похожий на прежнего весельчака.

– Ну, покажи мне подарок-то!

Он отвёл в сторону синие глаза:

– Нет его у меня...

– А где?

– Потелял...

– Да ну?

Яков вздохнул.

– Как это?

– Блосил я его, – тихо сказал он.

Я не поверил, но он, заметив это, перекрестился, говоря:

– Вот – ей-богу! я тебе не совлу. В печку блосил... он закипел-закипел, как смола, и – сголел!

Мальчик вдруг всхлипнул и ткнулся головой в бок мне, говоря сквозь слёзы:

– Сволочи... хватают все, тоже... Солдат её пальцем ковылял... отколупнул с боку кусочек... чолт поганый. Июлия Иванна дала мне её, так – поцеловала спелва... и меня... «Вот тебе, говолит, – на! Это... тебе... годится...»

Он так разрыдался, что я долго не мог успокоить его, а не хотелось, чтоб крендельщики видели эти слёзы и поняли их обидный смысл...

– А что – яшка? – неожиданно спросил хозяин.

– Слаб он очень и в крендельной не работник. Вы бы вот – в мальчики его, в магазин.

Хозяин подумал, пожевал губами и равнодушно сказал:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru
– Ежели слаб – не годится в магазин. Холодно там, простудится... да и Гараська забьёт. Его надо к Совке в отделение... неряха она, пыль у неё, грязь, вот и пускай он там порадеет... Не трудно...

Заглянув в печь на золотую кучу углей, он стал вылезать из приямка.

– Загребай жар, пора!

Я засунул в печь длинную кочергу, а сверху, на голову мне, упали лениво и скучно сказанные хозяйские слова:

– Глупцовый ты человек! Около тебя счастье ходит, а ты... эх, черти, черти!.. Куда вас?

В грязные улицы, прикрытые густыми тенями старых, облезлых домов, осторожно, точно боясь испачкаться, заглядывало мартовское солнце; мы, с утра до вечера запертые в сумрачном подвале центра города, чувствовали приближение весны по сырости, всё более обильной с каждым днём.

В крайнее окно мастерской после полудня минут двадцать смотрит солнечный луч, стекло, радужное от старости, становится красивым и весёлым. В открытую форточку слышно, как взвизгивает железо полозьев, попадая на оголённый камень мостовой, и все звуки улицы стали голее, звончей.

В крендельной непрерывно поют песни, но в них нет зимней дружности, хорое пенье не налаживается, каждый, кто умеет, поёт для себя, часто меняя песни, точно в этот весенний день ему трудно найти подходящую к строю души.

Коль скоро ты мне изменила,
– выводит Цыган у печки, – Ванок с напряжением подхватывает:

Навек я погублен тобой..
И неожиданно обрывает песню, говоря тем же высоким голосом, как пел:

– Ещё дён десять – начнут пахать у нас.

Шатунов только что набил тесто и без рубахи, лоснясь от пота, повязывает разбившиеся волосы лентой мочала, дремотно глядя в окно.

Гудит тихонько его тёмный голос:

Стра-аннички божий мимо-тко идут,
Страннички молчат, на меня не глядят..
Артюшка, сидя в углу, чинит рваные мешки и, покашливая, напевает девичьим голосом заученные стихи Сурикова:

Ты л-лежишь... в гробу тесовом,
Дыруг наш дорогой..
Д-до лица-а... закрыт покровом..
Жёлтый и худой...

– Тьфу, – плюёт в его сторону Кузин. – Нашёл, дурак, слова для песни... Дьяволята, я ли вам не говорил сто раз...

– Эх, мама милая? – оборвав песню, возбуждённо кричит Цыган. – Хорошо на земле будет скоро!

И орёт, притопывая ловкими ногами:

Идёт баба пьяная,
Издаля смеётся, –
Это она самая,
По ком сердце бьётся?..
Уланов подхватывает:

Марья Васильевна
Всех парней осилила, –
Ей в апреле месяце

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyта
Просто – хоть повеситься!..

В разноголосом пении, отрывистом говоре чувствуется могучий зов весны, напряжённая дума о ней, которая всегда вызывает надежду пожить заново. Непрерывно звучит сложная музыка, точно эти люди разучивают новую хоровую песню, – ко мне в пекарню течёт возбуждающий поток пёстрых звуков, и разных и единых в хмельной прелести своей.

И, тоже думая о весне, видя её женщиною, не щадя себя возлюбившей всё на земле, я кричу Павлу:

Марья Васильевна
Всех людей осилила!..
Шатунов отвернул от радужного окна широкое своё лицо и, заглушая ответ Цыгана, урчит:

И эта дорога чижолая-о,
И эта тропина не для грешника.
А сквозь тонкую переборку, в щели её, из комнаты хозяина достигает до слуха нищенское нытьё старухи хозяйки:

– Ва-ась, родименький..

Вторую неделю хозяин пьёт, – запой настиг его и неотступно мает. Он допился уже до того, что не может говорить и только рычит, глаза его выкатились, погасли и, должно быть, ничего не видят – ходит он прямо, как слепой. Весь опух, посинел, точно утопленник, уши у него выросли, оттопырились, губа отвисла, и обнажённые зубы кажутся лишними на его и без них страшном лице. Иногда он выходит из комнаты, переставляя короткие ноги медленно, стуча о пол пятками излишне тяжко и твёрдо – идёт прямо на человека, отталкивая его в сторону жутким взглядом невидящих глаз. За ним, с графином водки и стаканом в огромных лапах, двигается так же мёртво пьяный Егор, – рябое лицо его всё в красных и жёлтых крапинах, тупые глаза полузакрыты, а рот – разинут, словно человек ожёгся и не может вздохнуть.

Не двигая губами, он бормочет:

– Прочь... хозяин идёт..

Их сопровождает серая хозяйка, голова у неё опущена, и глаза, слезясь, кажется, вот-вот вытекут на поднос в её руках, обольют солёную рыбу, грибы, закуску, разбросанную на синих тарелках.

В мастерской становится тихо, как в погребу, что-то душное, ночное наполняет её. Острые, раздражающие запахи текут вслед этой троице тихо обезумевших людей; они возбуждают страх и зависть, и когда они скроются за дверь в сени, – вся мастерская две-три минуты подавленно молчит.

Потом раздаются негромкие, осторожные замечания:

– Обопьётся...

– Он? Ни в жизнь!

– Закусок-то сколько, робя!

– Душисты...

– Пропадает Василь Семёнов..

– Сосчитать бы, сколько он выглохтит!

– Тебе этого в месяц не одолеть.

– Почём ты знаешь? – со скромностью, не лишённой веры в себя, говорил солдат Милев. – Ты попробуй, попой меня месяц-то!

– Сгоришь...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Зато – в удовольствии...

Несколько раз я выходил в сени смотреть на хозяина: среди раскисшего двора на припёке солнца Егор поставил вверх дном старый гнилой ларь, похожий на гроб; хозяин, без шапки, садился посреди ларя, поднос закусок ставили справа от него, графин – слева. Хозяйка осторожно присаживалась на край ларя, Егор стоял за спиной хозяина, поддерживая его под мышки и подпирая в поясницу коленями, а он, запрокинув назад всё своё тело, долго смотрел в бледное, вымороженное небо.

– Игор... дыш-шь?

– Дышу...

– Всякое дыхание хвалит господу? Всякое?

– Всякое...

– На-алей...

Хозяйка, суется, точно испуганная курица, совала в руку мужа стакан водки, он прижимал стакан ко рту и не торопясь сосал, а она торопливо крестилась мелкими крестами и вытягивала губы, точно для поцелуя, – это было жалобно и смешно. Потом она тихонько ныла:

– Егорушко... умрёт он эдак-то...

– Мамаша... не терзайся... бе-ез воли божией – ничего не допущено, – говорил Егор, точно бредил.

А на дворе, отражаясь в лужицах между камней, блестит радостно весеннее солнце.

Однажды хозяин, осмотрев небо и крыши, покачнулся вперёд и, едва не упав лицом на камни, спросил:

– Чей день?

– Божий, – с натугой ответил Егор, еле успевший подхватить хозяина, а Семёнов, вытянув ногу, снова спросил:

– Чья нога?

– Ваша.

– Врёшь! Я – чей?

– Семёнов...

– Врёшь!

– Божий.

– Ага-а!

Хозяин приподнял ногу и, топнув по луже, обрызгал себе грязью и грудь и лицо.

– Егорушка, – заныла старуха; грозя пальцем, Егор сказал:

– Мамаша, – я против хозяина не могу-у...

А хозяин, мигая глазами и не стирая грязь с лица, спрашивал:

– Егор! Волос – не упадёт?..

– Не может... без воли божией...

– Дай сюда...

Егор наклонил под руки ему свою большую лохматую голову, а хозяин, вцепившись в
Страница 50

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
кудрявые пасмы казака, выдернул из них несколько волос, посмотрел их на свет и протянул руку Егору:

– Спрячь... Чтоб не упали...

Счистив осторожно вырванные волосы с толстых пальцев хозяина, Егор скатал их ладонями в шарик и спрятал в карман цветистого жилета. Как всегда, лицо его деревянно и глаза мертвы, только осторожные и всё-таки неверные движения давали понять, что он сильно пьян.

– Береги, – бормотал хозяин, помахивая рукою. – За всё – спросится... за каждый волос...

Должно быть, всё это они уже не однажды делали – было в их движениях что-то заученное. Хозяйка смотрела равнодушно, только губы её, чёрные и сухие, всё время шевелились.

– Пой! – вдруг взвизгнул хозяин.

Егор заломил шапку на затылок, сделал страшное лицо и, плотно усевшись рядом с хозяином, засипел пропитым басом:

Вота донские...

Хозяин вытянул руку вперёд, сложив пальцы горстью, точно милостыню прося.

Эх и гребенские, ой да молодые казаки...

Хозяин завыл, вскинув голову, и его слепое, дикое лицо облилось обильными слезами, точно начало таять.

Во время одного из таких концертов Осип, стоявший в сенях рядом со мною, спросил тихонько:

– Видал?

– Ну?

Он смотрел на меня и жалобно улыбался неясной, дрожащей улыбкой, – за последнее время он сильно похудел и монгольские глаза его как будто выросли.

– Что ты?

Осип навалился на меня и прошептал в ухо мне:

– Богатый, а? Счастье? Вот те и счастье! Попомни...

Пока хозяин пил, Сашка метался по мастерским, тоже как охмелённый: глаза беспокойно сверкают, руки болтаются, точно сломанные, и над потным лбом дрожат рыжие кудри. Все в мастерских открыто говорят о Сашкином воровстве и встречают его одобрительными улыбками.

Кузин нараспев выхваливает приказчика сладкими словами:

– Ох, да и орёл же у нас Лександра Петров, ой, да и высоко ему летать назначено...

Воруют все, кому сподручно, и делается это играючи, – всё уворованное немедля идёт на пропой, все три мастерские живут во хмелю. Мальчишки, бегая в кабак за водкой, набивают пазухи кренделями и где-то выменивают их на леденцы.

– А скоро вы эдак-то разорите Семёнова, – говорю я Цыгану; он отрицательно мотает красивой головой:

– Ему, брат, каждый рубль, обернувшись раз, тридцать шесть копеек барыша даёт...

Он говорит это так, как будто ему совершенно точно известен оборот хозяйского капитала.

Я – смеюсь. Пашка неодобрительно морщится:

– Всего тебе жалко... как это ты можешь?

– Не то что жалко мне, а плохо понимаю я путаницу эту...

– Путаницу и нельзя понять, – вставляет Шатунов; вся мастерская внимательно прислушивается к разговору.

– Хвалите вы хозяина за ловкость, с которой он – вашей же работой – поставил заведение, и сами же зорите дело во всю мочь...

Несколько голосов сразу отвечают:

– Разоришь его, как же!

– Лежит каравай, – кусай, не зевай!

– Нам только и вздохнуть, поколе он пьянствует...

Мои речи тотчас становятся известны Сашке, он влетает в пекарню, стройный, тонкий, в сером пиджаке и, оскалив зубы, орёт:

– На моё место метишь? Нет, погоди, хитёр, да молод...

Все жадно смотрят, ожидая драки, но хотя Сашка и резв, – он осторожен, да мы с ним уже «схлестнулись» однажды: надоел он мне мелкими придирками, укусами комариными, и однажды я заявил ему, что побью, если он не оставит меня в покое. Дело было в праздник, вечером, на дворе, все ребята разошлись кто куда, и мы с ним – одни.

– Давай! – сказал он, сбрасывая пиджак на снег и закатывая рукава рубахи. – Господи благослови! Только – по бокам! По роже – ни-ни! Рожа мне необходима для магазина, ты сам понимаешь...

Будучи побеждён, Сашка попросил меня:

– Ты, милейший человек, не говори никому, что сильнее меня, – уж я тебя прошу о том! Ты здесь лицо временное, мимо проходящее, а мне с людьми этими – жить! Понял? Ну, вот! За это – спасибо! Пойдём ко мне, чайку попить...

За чаем в его каморке он воодушевлённо говорил хорошо подобранными словами:

– Милейший человек, – конечно, это совершенно так, что на руку я будто бы не чист – если рассуждать просто, но – ежели взойти внутрь всех обстоятельств? – и, наклоняясь ко мне через стол, сверкая обиженными глазами, он доказывал, точно песню пел:

– Хуже я Семёнова, глупее его? Я ж его моложе, я ж красивый, я ж ловкий... да вы дайте мне за что ухватиться зубом, дайте ж мне хоша бы малое дело в руки, я тотчас всплыву наверх, я так крылья разверну – ахнешь, залюбуешься! При моей красоте лица и корпуса – могу я жениться на вдове с капиталом, а? И даже на девице с приданым, – отчего это недостойно меня? Я могу сотни народа кормить, а – что такое Семёнов? Даже противно смотреть... некоторый сухопутный сом: ему бы жить в омуте, а он – в комнате! Чудище!

Он тоненько свистнул, сложив трубочкой красные, жадные губы.

– Эх, милачок! Архерей живёт честно, так ведь всем известно – ему и нудно, и скушно, и плоть непослушна... Ты – Ложкина, писаря из полиции, – знаешь? Это его сочинение: «Рацея про архерея», – поучительный человек, хотя и безумный пьяница. Там, в рацее у него, дьячок прямо говорит:

Нет, владыко, ты не прав.

Нельзя прожить, не украв!..

Это ловкое, стройное тело с рыжей головой напоминало мне древние стрелы, – обмотанная смоляной паклей и зажжённая, летит в тёмной ночи стрела на чьё-то горе и разор.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Теперь, во дни хозяйского запоя, Сашка особенно разгорелся, – противно, но и любопытно наблюдать, как он летает, ловя рубли, точно ястреб мелких птишек.

– Осторожные дела пошли, – гудел в ухо мне Шатунов, – держись подале, абы не затянуло как...

Он относился ко мне всё более внимательно и, можно сказать, даже ухаживал за мною, словно за слабосильным, – то принесёт мне муки или дров, то предложит замесить тесто.

– Это – зачем?

Не глядя на меня, он бормотал:

– Помалкивай! Твоя сила для других делов хороша будет... её беречь надо, сила – раз на всю жизнь дана...

И, конечно, тихонько спрашивал:

– А что значит – фраза?

Или внезапно сообщал мне нечто странное:

– Хлысты верно понимают, что богородица – не одна...

– Что это значит?

– Ничего не значит.

– Ты же сам говоришь, что бог – для всех один?

– Ну, да! Только – люди разные и подправляют его к своим надобностям... татаре, напримерно, мордва... Вот он где, грех-то!

Как-то ночью, сидя со мною у печи, он сказал:

– Руку бы мне сломать, а то – ногу... али заболеть чем-нибудь видимым!..

– Что такое?

– Уродство бы мне явное какое...

– Да ты – в уме?

– Очень.

И, оглянувшись, он объяснил:

– Видишь ты: думал я, что быть мне колдуном, – очень душа моя тянулась к этому. У меня и дед с материнной стороны колдун был и дядя отцов – тоже. Дядя этот – в нашей стороне – знаменитейший ведун и знахарь, пчеляк тоже редкий, – по всей губернии его слава известна, его даже и татаре, и черемисы, чувашаи – все признают. Ему уж далеко за сто лет, а он годов семь тому назад взял девку, сироту-татарку, – дети пошли. Жениться ему нельзя уж – трижды венчался.

Тяжело вздохнув, он продолжал медленно и задумчиво:

– Вот ты говоришь – обман! До ста лет обманом не прожить! Обманывать все умеют, это душу не утешает...

– погоди! Уродство-то зачем тебе?

– А – пошатнулась душа в другую сторону... хочется мне пройти по земле возможно дальше... наскрозь бы! Поглядеть, – как оно всё стоит... как живёт, на что надеется? Вот. Однако – с моей рожей – нет у меня причины идти. Спросят люди – чего ты ходишь? Нечем оправдаться. Вот я и думаю, – кабы рука отсохла, а то – язвы бы явились какие... С язвами – хуже, бояться будут люди...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyта
Замолчал, пристально глядя в огонь разбегающимися глазами.

– Это у тебя – решено?

– О нерешённом и говорить не надо, – сказал он, отдуваясь. – О нерешённом говорить – только людей пугать, а и так уж...

Он безнадежно махнул рукою.

Сонно улыбаясь, потирая голову, тихонько подошёл встрепанный Артюшка.

– Приснилось мне – будто купаюсь и надобно нырять, разбежался я – бултых! – да как ахнусь башкой о стену! Аж золотые слёзы потекли из глаз...

И действительно его хорошие глаза были полны слёз.

Дня через два, ночью, посадив хлеб в печь, я заснул и был разбужен диким визгом: в арке, на пороге крендельной, стоял хозяин, истекая скверной руганью, – как горох из лопнувшего мешка, сыпались из него слова одно другого грязнее.

В ту же секунду с треском отлетела дверь из комнаты хозяина, и на порог, вскрикивая, выполз Сашка, а хозяин, вцепившись руками в косяки, сосредоточенно пинал его в грудь, в бока.

– Ой... убьёшь... – вздыхал парень.

– Ать, ать, – спокойно выговаривал Семёнов с каждым ударом и катил пред собою скрюченное тело, ловко сбивая Сашку с ног каждый раз, когда он пытался вскочить с пола.

Из крендельном выскакивали рабочие, молча сбиваясь в тесную кучу, – в сумраке утра лиц не видно было, но чувствовалось, что все испуганы. Сашка катился к их ногам, вздыхая:

– Братцы... убьёт...

Они подавались назад, заваливаясь, точно сгнивший плетень под ветром, но вдруг откуда-то выскочил Артюшка и крикнул прямо в лицо хозяина:

– Будет!

Семёнов отшатнулся. Сашка, как рыба, нырнул в толпу и – исчез.

Стало очень тихо, и несколько секунд длилось это мучительное молчание, когда не знаешь, что победит – человек или животное.

– Это кто? – хрипло спросил хозяин, из-под руки присматриваясь к Артёму и другую руку поднимая в уровень с его головой.

– Я! – слишком громко крикнул Артём, отступая; хозяин покачнулся к нему, но вперёд вышел Осип и получил удар кулаком по лицу.

– Вот что, – мотнув головою и сплюнув, спокойно заговорил он, – ты – погоди, не дерись!

И тотчас на хозяина – пряча руки за спину, в карманы, за гашники [8] – полезли Пашка, солдат, тихий мужик Лаптев, варщик Никита, все они высовывали головы вперёд, точно собираясь бодаться, и все, вперевой, неестественно громко кричали:

– Будет! Купил ты нас? Ага-а?! Не хотим!

Хозяин стоял неподвижно, точно он врос в гнилой, щелявый пол. Руки он сложил на животе, голову склонил немножко набок и словно прислушивался к непонятным ему крикам. Всё шумнее накатывалась на него тёмная, едва освещённая жёлтым огоньком стеной лампы толпа людей, в полосе света иногда мелькала – точно оторванная – голова с оскаленными зубами, все кричали, жаловались, и выше всех поднимался голос варщика Никиты:

– всю мою силушку съел ты! Чем перед богом похвалишься? Э-эх, – отец!

Грязной пеной вскипала ругань, кое-кто уже размахивал кулаками под носом Семёнова, а он точно заснул стоя.

– Кто тебя обогатил? Мы! – кричал Артём, а Цыган точно по книге читал:

– И так ты и знай, что семи мешков работать мы не согласны...

Опустив руки, хозяин повернулся направо и молча ушёл прочь, странно покачивая головой с боку на бок.

...Крендельная мирно и оживлённо ликовала. Все настроились деловито, взяли за работу дружно, все смотрели друг на друга как бы новыми глазами – доверчиво, ласково и смущённо, а Цыган пел петухом:

– Пошевеливайся, ребятки, скрипи костями! Эхма... честно чтобы всё, аккуратно! Мы ему, милому, покажем работу! Валяй на совесть, – свободно-о!

Лаптев с мешком муки на плече, стоя среди мастерской, говорил, облизываясь и чмокая:

– Вот оно что... вот как бывает, ежели дружно, артельно...

Шатунов вешает соль и гудит:

– Артелью и отца бить сподручней.

Все стали точно пчёлы весною, и особенно радостен Артём, только старик Кузин гнусаво поёт свои обычные слова:

– Мальчишки, дьяволята, что же вы, дуй вас горой...

Свинцовый холодный туман окутал колокольни, минареты и крыши домов, город точно обезглавлен, да и люди – издали – кажутся безголовыми. Мокрая изморозь стоит в воздухе, мешая дышать, всё вокруг тускло-серебряное и – жемчужное там, где ещё не погасли ночные огни.

На камень панелей тяжело падают с крыш капли воды, звонко бьёт подкова о булыжник мостовой, и где-то высоко в тумане плачет, заунывно зовёт к утренней молитве невидимый муэдзин.

Я несу на спине короб с булками, и мне хочется идти бесконечно, миновать туман, выбраться в поле на широкую дорогу и по ней – вдаль, где, наверное, уже восходит весеннее солнце.

Высоко вскидывая передние ноги, круто согнув шею, мимо меня плывёт лошадь – большая, серая в тёмных пятнах; сверкает злой, налитый кровью глаз. На козлах, туго натянув вожжи, сидит Егор, прямой, точно вырезанный из дерева; в пролётке развалился хозяин, одетый в тяжёлую лисью шубу, хотя и тепло.

Не однажды эта серая норовистая лошадь вдребезги разбивала экипаж; осенью хозяина и Егора принесли домой в грязи и крови, с помятыми рёбрами, но они оба любят и холят жирное, раскормленное животное с неприятным и неумным взглядом налитых кровью мутных глаз.

Однажды, когда Егор чистил лошадь, незадолго перед тем укусившую ему плечо, я сказал, что хорошо бы этого злого зверя продать татарам на живодёрню, – Егор выпрямился и, прицеливаясь в голову мне тяжёлой скребницей, закричал:

– Уди-и!

Никогда этот человек не говорил со мною, если же я пытался вызвать его на беседу, он, наклоня голову, быком шёл прочь и только однажды неожиданно схватил меня сзади за плечо, встряхнул и пробормотал:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyта
– Я тебя, кацап, намного здоровше, я троих таких уберу, а тебя – на одну руку!
Понял? Кабы хозяин...

Эта речь, сказанная с большим чувством, так взволновала его, что он даже не нашёл силы окончить её, а на висках у него надулись синие жилы и выступил пот.

Дерзкий Яшутка сказал про него:

– Тли кулака, а баски – нет!

Улица становилась тесней, воздух – ещё более сырым, муэдзин кончил петь, замерло вдали цоканье подков о камни, – стало ожидающе тихо.

Чистенький Яшка, в розовой рубахе и белом фартуке, отворил мне дверь и, помогая внести корзину, предупредительно шепнул:

– Хозяин...

– Знаю.

– Селдитый...

И тотчас же из-за шкафа раздался ворчливый зов:

– Грохало, поди сюда...

Он сидел на постели, занимая почти треть её. Полуодетая Софья лежала на боку, щекою на сложенных ладонях; подогнув одну ногу, другую – голую – она вытянула на колени хозяина и смотрела встречу мне, улыбаясь, странно прозрачным глазом. Хозяин, очевидно, не мешал ей, – половина её густых волос была заплетена в косу, другая рассыпалась по красной, измятой подушке. Держа одною рукой маленькую ногу девицы около щиколотки, пальцами другой хозяин тихонько щёлкал по ногтям её пальцев, жёлтым, точно янтарь.

– Садись. Н-ну... давай толковать сурьёзно...

И, поглаживая подъём Софьиной ноги, крикнул:

– Яшка, – самовар! Вставай, Сова...

Она сказала лениво и тихо:

– Не хочется...

– Ну, ну – вставай-ко!

Столкнув ногу её со своих колен и покашливая, с хрипом, медленно выговорил:

– Мало ли кому чего не хочется, а – надо! Поживёшь и нехотя...

Софья неуклюже сползла с постели на пол, обнажив ноги выше колен, – хозяин укоризненно сказал:

– Совсем у тебя, Совка, стыда нет...

Заплетая косу, она спросила, позевнув:

– А тебе на что стыд мой?

– Али я один тут? Вон – парень молодой...

– Он меня знает...

Сердито нахмутив брови, надув щёки, Яшка внёс самовар, очень похожий на него, – такой же маленький, аккуратный и хвастливо чистый.

– А, чёрт, – выругалась Софья, резким движением распустила заплетённую косу и, закинув волнистые волосы за плечи, села к столу.

– Н-ну, – начал хозяин, задумчиво прищури۷ зелёный глаз и совсем закрыв мёрт۷ый, – это ты, что ли, научил их скандалить?

– Вы знаете...

– Конечно. Зачем это тебе понадобилось?

– Тяжело им.

– Скажи на милость! А кому – легко?

– Вам легче.

– Ам, ам! – передразнил он меня. – Много ты понимаешь! Наливай ему, Совка. Лимон – есть? Лимону мне...

В окошке над столом тихонько пел ржавый вертун жестяной форточки, и самовар тоже напевал, – речь хозяина не мешала слушать эти звуки.

– Будем говорить коротко. Ежели ты привёл людей к беспорядку, значит – ты должен и в порядок привести их. А то – как же? Иначе тебе никакой цены нет. Верно я говорю, Сова?

– Не знаю. Мне это не интересно, – спокойно сказала она.

Хозяин вдруг повеселел:

– Ничего тебе не интересно, дурёха! И как ты будешь жить?

– У тебя не поучусь...

Сидела она откинувшись на спинку стула, помешивая ложкой чай в маленькой синей чашке, куда насыпала кусков пять сахара. Белая кофта раскрылась, показывая большую, добротную грудь в синих жилках, туго налитых кровью. Сборное лицо её было сонно или задумчиво, губы по-детски распушены.

– Так вот, – окинув меня прояснившимся взглядом, продолжал хозяин, – хочу я тебя на место Сашки, а?

– Спасибо. Я не пойду.

– Отчего?

– Это мне не с руки...

– Как – не с руки?

– Ну, – не по душе.

– Опять душа! – вздохнул он и, обложив душу сквернейшими словами, со злой насмешкой, пискливо заговорил:

– Показали бы мне её хоть раз один, я бы ногтем попробовал – что такое? Диковина же: все говорят, а – нигде не видать! Ничего и нигде не видать, окромя одной глупости, как смола вязкой, – ах вы... Как мало-мало честен человек – обязательно дурак...

Софья медленно подняла ресницы, – причём и брови её тоже приподнялись, – усмехнулась и спросила весело:

– Да ты честных-то видал?

– Я сам, смолоду, честен был! – воскликнул он незнакомым мне голосом, ударив себя ладонью в грудь, потом – ткнул рукою в плечо девицы:

– Ну, вот – ты честная, а – что толку? Дура же! Ну?

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Она засмеялась – как будто немножко фальшиво:

– Вот... вот ты и видал таких, как я... Тоже – честная... нашёл!

А он, горячась и сверкая глазами, кричал:

– Я, бывало, работаю – всякому готов помочь, – на! Я это любил – помогать, любил, чтобы вокруг меня приятно было... ну, я же не слепой! Ежели все – как вши на тебя...

Становилось тяжело, хоть – плачь. Что-то нелепое – сырое и мутное, как туман за окном, – втекало в грудь. С этими людьми и жить? В них чувствовалось неразрешимое, на всю жизнь данное несчастье, какое-то органическое уродство сердца и ума. Было мучительно жалко их, подавляло ощущение бессилия помочь им, и они заражали своей, неведомой мне, болезнью.

– Двадцать рублей до троицы – хоть?

– Нет.

– Двадцать пять? Ну? Будут деньги – будут девки... – всё будет!

Хотелось что-то сказать ему, чтоб он понял, как невозможно нам жить рядом, в одном деле, но я не находил нужных слов и смущался под его тяжёлым, ожидающим и неверящим взглядом.

– Оставь человека, – сказала Софья, накладывая в чашку сахар; хозяин качнул голову:

– Что ты это сколько сахару жрёшь?

– Тебе – жалко?

– Вредно для здоровья, лошадь! И так вон пухнешь вся... Ну, что ж? Стало быть, не сошлись мы. Окончательно ты против меня?

– Я хочу расчёт просить...

– Н-да... уж, конечно! – задумчиво барабаня пальцами, сказал он. – Так... так! Честь – предложена, от убытка бог избавил. Ты – пей чай-то, пей... Сошлись без радости, разошлись без драки...

Долго и молча пили чай. Сытым голубем курлыкал самовар, а форточка ныла, точно старуха нищая. Софья, глядя в чашку, задумчиво улыбалась.

Неожиданно и снова весёлым голосом хозяин спросил её:

– О чём думаешь, Совка? Ну, ври сразу!

Она испуганно вздрогнула, потом, вздохнув и выговаривая слова, точно тяжело больная – вяло, бесцветно и с трудом, – сказала что-то странное, на всю жизнь гвоздём вошедшее в память мне:

– А вот думаю – надобно бы после венца жениха с невестой на ночь в церковь запирать одних-одинёшеньких, вот бы...

– Тьфу! – сердито плюнул хозяин. – Ну – и вывезет же...

– Да-а, – протянула она, сдвигая брови, – не бойсь, тогда бы крепче было... тогда бы вы, подлецы...

Хозяин приподнялся, сильно толкнув стол:

– Перестань! Опять ты про это...

Она замолчала, поправляя сдвинутую толчком посуду. Я встал.

– Ну, иди! – хмуро сказал хозяин. – Иди. Что ж!

На улице, всё ещё окутанной туманом, стены домов сочились мутными слезами. Не спеша, одиноко плутали в сырой мгле тёмные фигуры людей. Где-то работают кузнецы, – мерно стучат два молота, точно спрашивая: «Это – люди? Это – жизнь?»

Расчёт я взял в субботу, а утром воскресенья ребята устроили мне проводы: в грязненьком, но уютном трактире собрались Шатунов, Артём, Цыган, тихий Лаптев, солдат, варщик Никита и Ванок Уланов в люстриновых – навыпуск – брюках за девять гривен и в отчаянно пёстром жилете со стеклянными пуговицами поверх новой рубахи розового ситца. Новизна и пестрота костюма погасила наглый блеск его бесстыжих глаз, маленькое старческое личико сделалось ничтожным, в движениях явилась пугливая осторожность, как будто он всё время боялся, что костюм у него лопнет или кто-нибудь подойдёт и снимет жилет с его узкой груди.

Накануне все мылись в бане, а сегодня смазали волосы маслом, и это придало им праздничный блеск.

Цыган распорядился угощением, купечески покрикивая:

– Услужай, – кипяточку!

Пили чай и, одновременно, водку, отчего все быстро, но мягко и не шумно пьянели, – Лаптев прижимался ко мне плечом и, прижимая меня к стене, уговаривал:

– Ты нам – ахни, напоследях, слово... очень нуждаемся мы в слове, видишь ты... прямое, верное слово!..

А Шатунов, сидя против меня, опустил глаза под стол и объяснял никите:

– Человек – вещь проходящая...

– Где идти, – печально вздыхал варщик, – как идти...

На меня смотрели так, что я смущался и мне было очень грустно – точно я уезжал далеко куда-то и никогда уже не увижу этих людей, сегодня странно близких мне и приятных.

– Ведь я – здесь, в городе остаюсь, – неоднократно напоминал я им, – видаться будем...

Но Цыган, встряхивая чёрными кудрями и заботливо следя, чтоб чай, разливаемый им, был у всех одной крепости, – говорил, понижая звонкий голос:

– Хоша и остаёшься ты в городе, а всё-таки теперь не наших клопов кормить будешь.

Тихонько и ласково усмехаясь, Артюшка пояснил:

– Теперь ты не нашей песни слово...

В трактире было тепло, вкусно щекотал ноздри сытный запах, дымок махорки колебался тонким синим облаком. В углу открыто окно, и, покачивая лиловые серёжки фуксии, шевеля остренькие листья растения, с улицы свободно втекал хмельной шум ясного весеннего дня.

На стене, против меня, висели стенные часы, устало опустив неподвижный маятник, их тёмный циферблат – без стрелок – был похож на широкое лицо Шатунова, сегодня – напряжённое более, чем всегда.

– Человек, говорю, – дело проходящее, – настойчиво повторял он. – Идёт человек и – проходит...

Лицо у него побурело, и глаза, улыбнувшись остро, – ласково прикрылись:

– Люблю я, у ворот вечером сидя, на людей глядеть: идут, идут неизвестные люди неизвестно куда... а может, который... хорошую душу питает в себе. Дай им, господи, – всего!

Из-под ресниц его выступили пьяные маленькие слёзы и тотчас исчезли, точно сразу высохли на разгоревшемся лице, – глухим голосом он повторил:

– Всего им, от всех щедрот, подай господи! А мы теперь выпьем за дружбу, за любовь-знакомство!

Выпили и все смачно перецеловались, едва не свалив стол с посудой. У меня в груди – соловьи пели, и любил я всех этих людей до боли в сердце. Цыган поправил усы – кстати стёр с губ остренькую усмешку, – и тоже сказал речь:

– Мать честная, до чего, иной раз, братцы, славно душа играет, чисто – гусли мордовские! Намедни, когда все столь дружно взялись против Семёнова, и сегодня, вот – сейчас... Что можно сделать, а? Прямо – вижу я себя благородным человеком и – шабаш!

Барин-господин, ей-богу! И не могу никому вершка уступить! Говори мне что хошь, какую хошь правду, – нисколько не обижусь. Ругай: «Пашка – вор, подлец!» Не приму... не поверю! Оттого и не осержусь, что не поверю! И – знаю способ жизни... Осип – про людей – это верно! Я, брат, так про тебя думал, что ты – тёмного ума человек, а ты – нет! Ты – верно сказал: мы все – люди достойные...

Варщик Никита тихонько и грустно сказал первые слова свои в это утро:

– Все – очень несчастные...

Но в общем говоре, весёлом и дружном, эти слова остались незамеченными, как незаметен был среди людей и сам человек, сказавший их: уже пьяненький, он сидел в полудремоте, глаза его погасли, болезненное, угловатое лицо напоминало увядший лист клёна.

– Сила – в дружбе, – говорил Лаптев Артёму.

Шатунов говорил мне:

– И слушай слова, подбирай – не сойдутся ли в стих?

– А как я узнаю, что сошлись?

– Узнаешь!

– А ежели сложатся, да не в тот стих?

– Не в тот?

Осип подозрительно оглянул меня, подумал и сказал:

– Иного – не может быть! На счастье для всех – стих один, другого нет!

– Да я-то как узнаю, что это он?

Опустив глаза, он таинственно шепнул:

– Увидишь! Это – все увидят, сразу!

Ванок вертелся на стуле и, обегая разгоревшимися глазами трактир, уже тесно и шумно набитый людьми, – стонал:

– Эх, и запеть бы теперь... запеть!

И вдруг, схватившись руками за сидение стула, согнулся, сжался и испуганно зашептал:

– Шш... х-хозяин!..

Цыган схватил полную бутылку водки, быстро опустил её под стол, но сейчас же снова твёрдо поставил её на место, сердито сказав:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorki.ua
– Здесь – трактир...

– Ну, да! – громко отозвался Артём, и все замолчали, притворяясь, будто не видят, как между столами медленно и важно катится, приближаясь к ним, круглая туша хозяина.

Первый заметил его и весело поздоровался, привстав со стула, Артём:

– Василь Семёныч – с праздником!

Остановясь в двух шагах, Семёнов молча стал присматриваться ко всем зелёным глазом, – ребята кланялись ему тоже молча.

– Стул, – сказал он негромко.

Солдат вскочил и подставил свой.

– Водку пьёте? – усаживаясь и тяжело вздохнув, спросил он.

– Чаёвничаем, – сказал Пашка, усмехаясь.

– Из бутылок...

Казалось – весь трактир замолчал и напряжённо ждёт скандала, но Осип Шатунов встал, налил водки в свою рюмку и, протягивая её хозяину, предложил мягко:

– Выпей, Василь Семёныч, с нами за наше здоровье...

Противная тяжесть легла на сердце – хозяин как будто рассчитанно медленно поднимал свою короткую, тяжёлую руку, и – нельзя было понять, вышибет он рюмку или примет?

– Можно, – сказал он наконец, сжимая пальцами ножку рюмки.

– А мы – за твоё выпьем!

Пожевав губами, глядя зелёным глазом в рюмку, хозяин повторил:

– Можно... Н-ну... здравствуйте, что ли!

И выплеснул водку в свой жабий рот. Смуглое лицо Пашки покрылось пятнами, быстро наливая рюмки неверной рукою, он заговорил звенящим голосом:

– Ты, Василий Семёнов, не сердись на меня, мы – тоже люди! Ты сам работал, знаешь...

– Ну, ну, не лиси, не надо, – тихо и угрюмо остановил его хозяин, поглядел на всех поочередно припоминаящим взглядом, остановил глаз на своём лице и – усмехнулся, говоря: – Люди... Арестанты вы, а не люди... Пьём, давайте...

Русское благодушие, всегда не лишённое хитрости, сверкнуло тихой искрой в его глазу, и эта искра тотчас зажгла пожар во всех сердцах, – на лицах ребят явились мягкие усмешки, что-то смущённое, как бы виноватое замелькало в глазах.

Чокнулись, выпили, и Цыган снова заорал:

– Желая я сказать правду...

– Не ори! – сморщившись и отмахиваясь от него, сказал хозяин. – Что ты – прямо в ухо? И – на кой она, твоя правда? Работа нужна...

– погоди! Показал я тебе работу в эти три дня?

– Ты бы вот чужого ума не слушал...

– Нет, ты скажи: показал я...

– Так и надо.

– Так и будет!

Хозяин окинул всех единым взглядом, качнул головою и снова повторил:

– Так и надо. Что хорошо – я не поспорю – хорошо! Ну-ка, солдат, спроси дюжину пива...

Эта команда прозвучала победительно и ещё более увеличила добродушное настроение, а хозяин, прикрыв глаза, добавил:

– С чужими людьми – озеро водки выпил я, а со своими – давно не приходилось...

И тут окончательно размякли, растаяли жадные на ласку, обворованные жизнью человечесьи сердца, – все сдвинулись плотнее, а Шатунов, вздохнув, сказал как бы за всех:

– Мы тебя обидеть нисколько не хотели, а – тяжело нам, измотались за зиму, вот и всё дело.

Я чувствовал себя лишним на этом празднике примирения, он становился всё менее приятен, – пиво быстро опьяняло людей, уже хорошо выпивших водки, они всё более восторженно смотрели собачьими глазами в медное лицо хозяина, – оно и мне казалось в этот час необычным: зелёный глаз смотрел мягко, доверчиво и грустно.

Тихо и небрежно, как человек, уверенный, что его поймут с полуслова, хозяин говорил, наматывая на пальцы серебряную цепочку часов:

– Мы – свои люди... Мы тут, почитай, все – одной земли, одной волости...

– Милый – верно! Одной земли, – умиленно взывал пьяненький Лаптев.

– К чему это собаке волчьи повадки? Такая собака – дому не сторож...

Солдат громко кричал:

– Смир-рно! Слушай...

Цыган, воровато заглядывая в умный хозяйский глаз, лаял лисьим лаем:

– Ты думаешь – я ничего не понимаю?

Становилось всё веселее – спросили ещё дюжину пива, и Осип, наваливаясь на меня, сказал тяжёлым языком:

– Хозяин... всё одно – как алхирей... алхимандрит в монастыре – хозяин!..

– Чёрт его принёс, – тихо добавил Артём. Хозяин молча, механически пил стакан за стаканом пиво и внушительно покашливал, точно собираясь что-то сказать. Меня он не замечал, лишь иногда взгляд его останавливался на моём лице, ничего не выражая и как бы не видя ничего.

Я незаметно встал и пошёл на улицу, но Артём догнал меня и, пьяненький, заплакал, говоря сквозь рыдания:

– Эх, брат... остался я теперь... остался – один!..

Несколько раз я встречал хозяина на улице; раскланивались, – солидно приподняв пухлой рукою тёплый картуз, он спрашивал:

– Живёшь?

– Живу.

– Ну, живи, – разрешал он и, критически осмотрев мою одежду, важно нёс дальше своё круглое тело.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Одна из таких встреч случилась против двери в пивную, – хозяин предложил:

– Хоть – пивка выпьем?

Сошли по четырём ступеням в маленькую комнату полуподвального этажа, хозяин пробрался в угол потемнее, плотно сел на толстоногий табурет, оглянулся, как бы считая столики, – их было пять, кроме нашего, все покрыты розово-серыми тряпочками. За стойкой, дремотно покачивая седую головой в тёмном платке, вязала чулок маленькая старушка.

Серые, каменные, несокрушимо крепкие стены были украшены квадратами картин: одна изображала охоту на волков, другая – генерала Лорис-Меликова с оторванным ухом, третья – Иерусалим, а четвёртая – гологрудых девиц, у одной на широкой груди было чётко написано печатными буквами: «Верочка Галанова, любима студентами, цена 3 коп.», у другой – выколоты глаза. Эти нелепые, ничем не связанные пятна возбуждали тоску.

Сквозь стёкла двери было видно над зелёной крышей нового дома красное вечернее небо, и высоко в нём несчётной стаей летали галки.

Посапывая, хозяин внимательно осмотрел эту скучную яму, лениво расспрашивая, сколько я зарабатываю, доволен ли местом, – чувствовалось, что говорить ему не хочется и давит его неуёмная русская тоска. Медленно высосав пиво, он поставил пустой стакан на стол и щёлкнул его пальцем по краю, – стакан опрокинулся, покатился, я удержал его.

– На что? – тихо сказал хозяин. – Пускай бы падал... разобьётся – заплатим...

Торопливо благовестили к вечерне, пугая галок, метавшихся в небе.

– Люблю я вот эдакие помещения, – заговорил Семёнов, ткнув рукою в угол. – Тихо, и мух нет. Муха – солнышко любит, тепло...

Он вдруг улыбнулся насмешливо и добродушно:

– Совка-то, дура: связалась с дьяконом! Лысый, чахлый и, конечно, – безмерный пьяница. Вдовый. Он ей – канты поёт духовные, а она, дитё, плачет... Ор-рёт на меня... а я – мне что ж? Мне – забавно...

Поперхнувшись каким-то несказанным словом, он шутивно продолжал:

– Была у меня думка – женить тебя на ней, на Софье... Поглядел бы я, как бы выжить стали!..

Мне тоже стало смешно, и мой смех вызвал у него ответный – тихий, плачущий.

– Черти! – встряхивая плечами, подвывал он. – Эдакие черти не нашего бога... ох...

И выжимал пальцами из разноцветных глаз мелкие слезинки.

– А, – Оська-то, – знаешь? Ушёл, баран, от работы...

– Куда?

– На богомолье, что ли то... Ему – по возрасту его, по навыку – в пекаря давно пора бы, работник же он хороший, мастер, да...

Покачал головою, выпил пива и, глядя в небо из-под руки, заметил:

– Галок-то сколько! Свадьба... Вот, брат Грохало: что есть – лишнее и что – нужное? Никто, брат, этого не знает точно... Дьякон говорит: «Нужное для людей – лишнее для бога...» Это он, конечно, спьяна. Всякому хочется оправдать своё безобразие... Сколько лишнего народа в городах – страсть! Все пьют, едят, а – чьё поило, чей хлеб? Да... И как это всё, откуда явилось?

Он вдруг поднялся, опустив одну руку в карман, другую протянув мне. Лицо его задумчиво расплылось, глаз внимательно прищурился: – Надо идти, прощай...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Вынул тяжёлый, потёртый кошелек и, роясь в нём пальцами, он тихонько сказал:

– Намедни спрашивал про тебя околodочный в трактире...

– Что – спрашивал?

Хозяин исподлобья взглянул на меня, равнодушно говоря:

– Про характер, про язык... Я сказал: характер, мол, плохой, а язык – длинный. Ну, прощай!

И, широко растворив дверь, он, твёрдо упираясь короткими ногами в истёртые ступени, медленно поднял свой тяжёлый живот на улицу.

С той поры я не видал его больше, но лет через десять мне пришлось случайно узнать конец его хозяйской жизни: тюремный надзиратель принёс мне колбасу, завернутую в обрывок газетной бумаги, и на этом обрывке я прочитал корреспонденцию, в которой рассказывалось:

«В страстную субботу наш город был свидетелем довольно любопытного зрелища: по улицам разъезжал, обливаясь слезами, известный в торговом мире булочник и крендельщик Василий Семёнович Семёнов, он ездил по домам своих кредиторов, рыдая, убеждал их, что совершенно разорён, и просил немедля посадить его в тюрьму. Зная блестящее состояние его дел, никто не поверил ему; к его настоятельному желанию провести день великого праздника непременно в тюрьме – отнеслись со смехом, – чудачества этого своеобразного человека были всем известны. Но каково было горестное изумление торгового мира, когда через несколько дней оказалось, что Семёнов без вести пропал, оставив за собою долгов около пятидесяти тысяч рублей и продав всё, что только можно было продать! Злостный характер этого банкротства – несомненен».

Далее шла речь о безуспешных поисках бежавшего банкрота, о раздражении кредиторов, приводились разные выходы Семёнова. Прочитал я эту грязную, в жирных пятнах бумажку и задумался, стоя у окна, – эти случаи злостных, неосторожных и несчастных банкротств, эти случаи воровского, трусливого, бессильного бегства от жизни – слишком часты у нас, на Руси.

Что это за болезнь, что за несчастье?

Живёт некто, пытается что-то создать, стягивает в русло своих намерений множество чужих сил, умов и волю, пожирает массу человеческого труда и вдруг – капризно бросает всё недоделанным, недостроенным, да часто и самого себя выбрасывает вон из жизни. И бесследно погибает тяжкий труд людей, ничем разрешается напряжённая, порою мучительная работа.

..Стена тюрьмы стара, низка и не страшна; тотчас же за нею поднимается в ласковое весеннее небо тяжёлое, красно-кирпичное здание винной монополии, а рядом с ним в серой паутине лесов стоит – строится «народный дом».

Дальше – изрезанное глубокими оврагами, покрытое зелёным дёрном бесплодное поле, а там, влево, на краю оврага, печально тёмная купа деревьев – под ними еврейское кладбище. Золотистые лютики качаются в поле, – о грязное стекло окна нелепо бьётся тяжёлая, чёрная муха, – я вспоминаю тихие слова хозяина:

«Муха – солнышко любит, тепло...»

Вдруг встаёт пред глазами тёмная яма пивной и, лишённые всякой внутренней связи, пёстрые картинки на её сырых стенах: охота на волков, град Иерусалим, Верочка Галанова, «цена 3 коп.», Лорис-Меликов, лишённый уха.

«Люблю я вот эдакие помещения», – говорит хозяин человеческим голосом.

Не хочется думать о нём, – я смотрю в поле: на краю его синий лес, а за ним, под горю, течёт Волга, могучая река, – точно она сквозь душу твою широко течёт, спокойно смывая отжившее.

«Что есть – лишнее и что – нужное?» – скрипят в памяти хозяйские слова.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Я вижу, как он, развалив своё большое тело по сиденью пролётки, колышется в ней, остро поглядывая на всё мимо бегущее зелёным глазом. Деревянный Егор торчит на козлах, вытянув руки, как струны, серая, злая лошадь вымахивает крепкие ноги, звучно цокая подковами о холодный камень мостовой.

«Егор... я – чей? Овцу задрал – сыт, а – скушно!»

В груди что-то растёт и душит, как будто сердце пухнет, наливаясь нестерпимой жалостью к человеку, который не знает, куда себя девать, не находит себе дела на земле – может быть, от избытка сил, а не только от лени и «рекрутского», рабьего озорства?

Жалко его до боли, – всё равно, кто б он ни был, жалко бесплодно погибающую силу, и возбуждает он страстное, противоречивое чувство, как ребёнок-озорник в сердце матери: ударить его надо, а – приласкать хочется...

По осыпанным известью доскам лесов, обнявших красную громаду строящегося дома, бойко ползают фигурки каменщиков. Они лепятся на вершине здания, маленькие, как пчёлы, и возводят его всё выше, выше с каждым днём.

Глядя на это движение-деяние, я вспоминаю, что где-то, по запутанным дорогам великой неустроенной земли, не спеша, одиноко шагает «проходящий» человек Осип Шатунов и, присматриваясь ко всему недоверчивыми глазами, чутко слушает разные слова – не сойдутся ли они в «стих на всеобщее счастье»?

М.М. Коцюбинский

«Прекрасное – это редкое», – говорили Гонкуры. Он был одним из тех редких людей, которые при первой же встрече с ними вызывают благостное чувство удовлетворения: именно этого человека ты давно ждал, именно для него у тебя есть какие-то особенные мысли!

В мире идей красоты и добра он – «свой» человек, родной человек, и с первой встречи он возбуждает жажду видеть его возможно чаще, говорить с ним больше.

Обо всём подумавший, он как-то особенно близок хорошему, и в нём кипит органическая брезгливость к дурному. У него тонко развита эстетическая чуткость к добру, он любит добро любовью художника, верит в его победную силу, и в нём живёт чувство гражданина, которому глубоко и всесторонне понятно культурное значение, историческая стоимость добра.

Однажды, рассказывая ему план организации на Руси широкого демократического книгоиздательства, я услышал его мягкий голос, задумчивые слова:

– Нужно бы вести из года в год «Летопись проявлений человеческого», – ежегодно выпускать обзор всего, что сотворено за год человеком в области его заботы о счастье всех людей. Это было бы прекрасное пособие людям для знакомства их с самими собою, друг с другом. Нас ведь больше знакомят с дурным, чем с хорошим. А для демократии такие книги имели бы особенно огромное значение...

Он очень часто говорил о демократии, о народе, и всегда это было как-то особенно приятно слушать и поучительно.

Я рассказал ему однажды, тихим вечером, легенду о калабрийце Чиро, угольщике, который в 49 году, во время борьбы Сицилии против Фердинанда Бомбы, пришёл к благородному Руджиеро Сеттимо и простодушно предложил:

– Синьор, если неаполитанский деспот победит, он, наверное, захочет отрубить вам голову, – да? Тогда, синьор, предложите ему три головы за одну вашу: вот эту, мою голову, голову брата моего и зятя. Мы все ненавидим Бомбу так же, как и вы, синьор, но – маленькие люди – мы не сумеем так умно и успешно бороться за свободу, как умеете вы. Я думаю, что от этой меры народ очень выиграет, а Бомба, вероятно, с большим удовольствием убьёт троих вместо одного, – ведь он, бездельник, любит убивать! Мы же с радостью умрём за свободу.

Легенда понравилась Михаилу Михайловичу; радостно поблескивая ласковыми глазами, он сказал:

– Демократия всегда романтична, и это хорошо, знаете! Ведь романтизм наиболее

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyта
человечное настроение; мне думается, что его культурный смысл недостаточно
понят. Он – преувеличивает, ну да! Но – ведь он преувеличивает добрые начала,
свидетельствуя этим, как велика жажда добра в людях.

Был такой случай: щенилась, впервые и очень мучительно, большая романская
овчарка; щенята рождались мёртвыми; собака, истерзанная болью, почти издыхала, и
эта тяжёлая картина вызвала совершенно ясное чувство сострадания у фокстерьера,
тоже суки, но ещё не рожавшей.

Маленькая, изящная собака поражала напряжённостью своих ощущений: с тихим воем
бегая вокруг овчарки, она слизывала слёзы с её измученных глаз и сама плакала;
мчалась в кухню, хватала там кости и стремглав несла их больной, бежала к людям
и, тихонько, жалобно лая, прыгала на них, как бы прося о помощи, и всё плакала,
– капали слёзы из её прекрасных глаз. Это было очень трогательно и даже немного
жутко.

– Это – удивительно! – волнуюсь, сказал Коцюбинский. – И я ничем иным не могу
себе объяснить такой силы чувства у собаки, как тем, что люди создали уже вокруг
себя неотразимую и внушительную атмосферу человечности, способную перевоспитать
даже животное, привив ему нечто от души человека.

Человечность, красота, народ, Украина – это любимые темы бесед Коцюбинского, они
всегда были с ним, как его сердце, мозг и славные, ласковые глаза.

Он очень любил цветы и, обладая солидными знаниями ботаника, говорил о них, как
поэт. Было приятно видеть, когда он, держа в руке цветок, ласкал его и
рассказывал о нём:

– Смотрите, вот орхидея приняла форму пчелы: этим она желает сказать, что не
нуждается в посещении насекомых. Сколько разума всюду, сколько красоты!

Его больное сердце мешало ему ходить по неровным тропинкам Капри, по камням,
горячо нагретым солнцем, в жарком воздухе, густо насыщенном запахами цветов, но
он не щадил себя, гулял много, часто – до утомления.

И когда, бывало, скажешь ему: «Зачем вы позволяете себе уставать?» – он отвечал,
легко побеждая советы благоразумия:

– Хочется видеть как можно больше: мне ведь недолго жить на земле, а я её –
люблю...

Он особенно нежно любил свою Украину и часто слышал запах чебреца там, где его
не было.

А однажды, увидев у белой стены рыбацкого дома бледнорозовые мальвы, – весь
осветился улыбкой и, сняв шляпу, сказал цветам:

– Здоровеньки були! Як живётся на чужини?

Сконфузился и пошутил:

– Знаете – немножко сантиментальным становлюсь! Но ведь и вам, думаю, нередко
вздыхается по белой берёзе, которой вас секли, бывало? Э, все люди – люди, а кто
не человек – да будет ему стыдно!

Он любил Капри и писал о нём:

«Чувствую себя неважно, мне только хорошо на Капри. Впечатления от каприйской
природы так гармоничны и так благотворно действуют на мою психику, что
положительно оздоравливают меня».

Но я думаю, что это не совсем верно и тепличный воздух острова не был полезен
ему. А к тому же его украинское червонное сердце всегда было на родине, – её
скорбями он жил, её муками мучился.

Бывало, видишь: идёт он тихо, немножко согнувшись, обнажив сияющую голову, с тем
вдумчивым лицом, как на портрете Жука, – видишь и догадываешься: думает о своей
Черниговщине.

Так и есть: пришёл в свою белую комнату, сел утомлённо в кресло и говорит:

– Знаете, там, по пути к Arca Naturale, стоит хата совсем такая, как у нас! И люди в ней – наши: дидусь, такой ветхий и мудрый, сидит на пороге с трубкой и баба такая же, да ещё и дивчина с карими очами – полная иллюзия. Только вот горы, камень, море! А то – всё – и солнце – как у нас!

И начинал тихонько говорить о судьбах родины, о будущем её, о её людях, любимых им крепко, о литературе, о благотворной работе загубленной ныне «Просвіти». Слушаешь его и видишь человека, который именно обо всём подумал и то, что знает, знает хорошо.

В июне 1911 года он писал с Карпат, из Криворивни:

«Всё время провожу в экскурсиях по горам, верхом на гуцульском коне, лёгком и грациозном, как балерина. Побывал в диких местах, доступных немногим, на «полонинах», где гуцулы-номады проводят со своими стадами всё лето. Если бы вы знали, как величественна здесь природа, какая первобытная жизнь! Гуцулы – оригинальнейший парод, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубокий язычник, гуцул всю свою жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми духами, населяющими леса, горы и воды. Христианством он воспользовался только для того, чтобы украсить языческий культ. Сколько здесь красивых сказок, преданий, поверий, символов. Собираю материал, переживаю природу, смотрю, слушаю и учусь».

А в следующем письме, из Чернигова, ему пришлось сказать:

«Не утерпел я, взбирался на горы и, конечно, повредил своему здоровью; но было необычайно красиво, а это – главное».

Не щадя, в стремлении к знанию жизни и красоты её, своих физических сил, он и к своему таланту поэта относился чрезмерно строго, предъявлял к себе требования слишком суровые. «Чувство недовольства собою у меня очень развито», – не однажды говорил он мне. «Мои рассказы всегда кажутся мне бледными, неинтересными, ненужными, и даже как-то совестно перед литературой и читателем», – писал он в 1910 году.

Эти мысли, казалось мне, всегда были с ним и неотступно точили его измученное сердце.

Спрашивает:

– Вам нравится «Самотній»?

– Это лучшее из трёх ваших стихотворений в прозе, а они все, на мой взгляд, очень хороши...

Он грустно улыбается:

– А я прочитал сегодня утром, и стало неловко. Никому это не нужно, не интересно никому. Что за вой? Все люди одиноки. И не так нужно писать об этом проклятии нашем!

Потом продолжал уже сердито:

– Да там ещё в конце гордый крик есть, – это уж и не искренно, а так сказано – для самоутешения. Чем тут гордиться? Одинок, значит – не нужен никому.

Мы часто беседовали на эту тему, и всегда он жестоко казнил себя.

– Смотрите, как это хорошо:

Жаль маю до землі
Бо тіні, що вкривають її
Пересунуться на інше місце
І де було тьмяно і сумно,
Знов ляже золото сонця...

Он усмехнулся и тотчас переделал эти строки в юмористическое стихотворение...

Однажды ему сказали:

– Какая верная и страшная вещь ваш «Сміх».

Он небрежно отмахнулся рукою:

– Да это ж заимствовано! И неумело сделано, – в жизни этот смех страшней и законней.

Иногда было досадно, чаще – больно слышать такие возгласы: много звучало в них великой искренней муки.

Но, относясь безжалостно к себе, к другим он относился очень снисходительно, умея всюду, даже в плохом, найти хорошее – меткое слово, звучную фразу.

– Дорогой мой, – сказал он однажды ночью, когда море и остров молчат так странно, точно в тихом изумлении ждут чего-то необычайного, – столько видано, столько пережито, в душе волнуется целый мир образов, мыслей, каких-то до слёз простых и ласковых песен! Так бы дождём с неба и опрокинул всё это на землю, на людей, а – не удаётся, не умеется!

Не удавалось, – да, но – он мог бы, он бы сумел написать прекрасные, большие вещи: многое у него было уже до конца продумано, готово и – красиво, оригинально, по-своему. Не удавалось потому, что за три года нашего знакомства почти в каждом письме его звучала, всё усиливаясь, одна и та же нота:

«Должен сознаться, что со мною что-то неладно. Сердце работает всё хуже и хуже, порою приходится ложиться в постель, работа так утомляет меня, что нет сил приняться за что-либо другое».

«Почти ничего не удалось заработать зимою, значит – создалось трудно одолимое препятствие. А между тем вила в четыре комнаты за 65 лир, с доброй хозяйкой, манят и улыбаются».

И наконец 9/Х – 912 он писал:

«Плохо мне, дорогой А.М., болею упорно, продолжительно и жестоко; хуже всего – не могу работать. Остаётся попробовать героическое средство: лечь в больницу на продолжительное время, для чего на-днях отправляюсь в Киев».

А из клиники Образцова он бодро сообщает:

«Перевели меня, наконец, в Киев, уложили в клинику как «тяжёлого сердечника». Однако я нахожу, что иногда чудесно эдак побаловаться! Какие великолепные люди посещают меня ежедневно, принося мне всё, что я люблю, – цветы, книги, самих себя! В окно смотрит то же солнце, которое вас греет, и оттого кажется ещё теплей и ласковей».

Он любил сказать человеку ласковое, хорошее слово и даже в этот день, сильно огорчённый накануне смертью Н.В. Лысенка, всё-таки нашёл в душе это слово, милый...

Он знал, что скоро умрёт, и нередко говорил об этом просто, без страха, но и без наигранной бравады, которою многие рисуются столь лживо.

– Смерть необходимо победить, и она будет побеждена! – сказал он однажды. – Я верю в победу разума и воли человека над смертью, так же как в то, что сам – скоро умру. И ещё умрут миллионы людей, а всё-таки, со временем, смерть станет простым актом нашей воли, – мы будем отходить в небытие так же сознательно, как отходим ко сну. Смерть будет побеждена тогда, когда большинство людей ясно сознают цену жизни, поймут её красоту, почувствуют наслаждение работать и жить.

Человек высокой духовной культуры, солидно вооружённый знанием естественных наук, он внимательно следил за всем, что творится в области борьбы со смертью, но и поэзия умирания, поэзия непрерывной смены формы тонко чувствовалась им.

Не раз, благодарно глядя на серые скалы Капри, богато одетые пышной зеленью трав

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma и цветов, он говорил:

– Какая сила жизни! Мы привыкли к этому и не замечаем победы живого над мёртвым, действенного над инертным, и мы как бы не знаем, что солнце творит цветы и плоды из мёртвого камня, не видим, как всюду торжествует живое, чтоб бодрить и радовать нас. Мы должны бы улыбаться миру дружески...

Он очень умел улыбаться так, – всему улыбкой друга. По поводу смерти Л.Н.Толстого он писал:

«Больно мне было читать, что вы так тяжело пережили смерть Толстого. Мне тоже тяжело было, но – не знаю, стыдиться ли? – и хорошо знать, что на свете бывает большое. Смерть как будто вернее определяет размеры, чем жизнь».

Для меня смерть Михаила Коцюбинского определилась как тяжёлая личная утрата, я потерял сердечного товарища.

Прекрасный, редкий цветок отцвёл, ласковая звезда погасла. Трудно жилось ему: быть честным человеком на Руси очень дорого стоит.

Беднеет наше время хорошими людьми, – насладимся грустью воспоминаний о них, о красоте этих светлых душ, любивших беззаветно людей и весь мир, о сильных людях, которые умели работать для счастья родины своей.

Вечная память честным людям!

Кража

Осенью ехал на пароходе из Царицына в Макарьев маленький рыжий солдат Лука Чекин, парень тихий, с круглыми, как у сыча, глазами, в больших – не по лицу – жёстких усах; он весьма гордился ими, хотя росли они некрасиво, топырясь во все стороны.

Три года с лишком Лука тёрся в денщиках у пьяного поручика Слепухина, под началом его многолетней, черноглазой жены, которую поручик звал Галкой; три года молча терпел её раздражённые крики и многие обиды, а сам Слепухин нередко – проигравшись в карты или поссорясь с женой – бил Луку по щекам широкими, всегда потными ладонями.

Но когда Лука стал собираться домой, поручик, придя в кухню, спросил его с угрюмой ласковостью:

– Едешь, Лукан?

– Так точно, ваше благородие!

– Ну, с богом!

Поручик был толстый, сальный, с красным оплывшим лицом в тёмной бороде, с маленькими, скучными глазками; когда он сердился – белки глаз наливались кровью, зрачки зеленели и округлялись, точно у кота, дряблый нос краснел и трясся. От поручика всегда пахло водкой, ваксой, лошадиным потом и ещё чем-то. Лука называл его за глаза Тухлым, не любил и боялся его; но в этот раз, когда поручик стоял перед ним в затёртой тужурке, с папиросой в зубах и сквозь дым смотрел на него незнакомо пристальным взглядом, солдату вдруг стало жалко себя, и он сказал тихонько, неуверенно:

– Прощайте, ваше благородие! Дай вам господи всего...

– Прощай, брат, – невесело выговорил Слепухин, присаживаясь к столу; вытянув ногу, сунул ладонь в карман брюк и, вытащив измятый кошелёк, стал рыться в нём толстыми пальцами, щурясь от дыма папиросы, говоря сквозь зубы и редкие волосы усов:

– И тебе тоже желаю всего хорошего. Спасибо, братец!.. Ты парень смирный, честный, хотя и не больно умён, правду сказать... На-ко вот тебе на дорогу. Дал бы и больше, да – нет! Тут ещё жена хотела...

Лука протянул ладонь, и, когда кожи его коснулись семь холодных, как вдовьи

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
слёзы, двугривенных, у него зашипало в носу, горло сжала судорога, он схватил
руку офицера, желая поцеловать её, но тот встал и сказал угрюмо:

– Ну, не надо! Давай – обнимемся...

Обняв солдата, он трижды потёрся толстыми щеками об усы Луки и пошёл прочь, оттолкнув его.

– Привык я к тебе, братец...

– И я, ваше благородие, – сказал Лука, всхлипнув; застыдился слёз и тотчас присел на корточки к своему сундуку.

А поручик, остановясь у двери, спросил озабоченно:

– Что же ты теперь делать будешь?

– Не могу знать, ваше благородие...

– Н-да! Ну, придёшь домой, жену побьёшь первым делом, – будешь жену-то бить?

– Так точно, буду...

– Распутничала?

– Не слыхал, ваше благородие...

– Наверно – распутничала. Это уж – бабий закон. Четыре года почти обходиться без мужа – это и по природе трудно. Ну, хорошо – жена... А потом что?

Лука перекинулся с корточек на колени и молча глядел в сундук на гармонию, завёрнутую в полотенце и новые портянки. Он никогда не представлял себе ясно, что будет дома, – прошлая жизнь скрылась в мутном облаке пережитого за эти годы, и он не знал, как ответить барину.

А тот спрашивал всё строже и серьезней:

– Отец – помер?

– Так точно.

– А брат – лавочник?

– Телятами торгует.

– Телятами?

Поручик подумал, почесал шею под бородой.

– Вот видишь! Трудно тебе будет на брата работать, обидно. Работать всегда лучше на чужого, чем на своего. А главное – ты человек смирный, честный, к торговле, наверно, не способен. И тебе нельзя жить без начальства, без руководителя – ты это понимаешь?

– Так точно, – тихо сказал Лука; его очень трогала эта первая забота о нём со стороны Слепухина.

Тут вышла Галка в измятом утреннем капоте с оборванными кружевами и большим узлом в руках, она бросила узел на пол и резким голосом сказала в нос, как всегда:

– Это отдай жене, Лука, годится ей. И вот тебе рубль. И спасибо! Не поминай лихом!

Она протянула ему руку, солдат схватил тонкие косточки в смуглой коже и осторожно прижался к ним губами.

– Бог с тобой, – говорила Галка, глядя его по голове, – это прикосновение было

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
легко, щёкотно и приятно сотрясло сердце Луки.

Она смотрела на него сверху вниз, ласково улыбаясь чёрными, как угли, цыганскими глазами, её остроносое, истощённое лицо было так хорошо знакомо; Лука вспомнил, что во многом виноват пред нею, и сердечно проговорил:

– Простите меня, барыня...

– Ну, что ты! – выдернув руку, воскликнула она. – Меня извини, я часто кричала на тебя...

– Он же понимает, что без этого нельзя! – уверенно сказал поручик, закуривая папиросу, а закурив, продолжал вдумчиво:

– Да, вот говорят то и се... А того не понимают, сколько мы, офицерство, даём России... сколько вот эдаких парней возвращаются к земле... так сказать – новыми людьми, с новой душой...

Помолчав, он с улыбкой предложил Галке:

– А спроси его – будет он жену бить?

Она спросила, тоже с улыбкой:

– Будешь?

– Так точно, – сказал Лука смущённо.

– Ай-яй, – зачем же? – покачивая маленькой головой, воскликнула Галка.

– У них без этого нельзя, – успокоил её муж.

Когда они ушли, Лука долго сидел на полу, пред сундуком, очень удивлённый, с грустной тишиной в душе, сидел и думал:

«Хорошие люди оказались! Вроде малых детей будто. А ведь не заметно было, что хорошие...»

Он оглядывал широкими глазами кухню, третью за время его службы у поручика, смотрел на кастрюли и сковороды, на закопчённое чело печи, в подпечек, где по ночам возились мыши, в окно, под которым разросся куст бузины и куда он выплескивал помои, за что Галка топала на него ногами и кричала.

Всё вокруг было знакомо, привычно, срослось с душой и не отпускало её, тянуло к себе. Как будет он жить в деревне?

Галка тоже казалась близкой; сколько раз он видел её почти нагою, она не стеснялась пред ним, как не стесняются пред кошкой или собакой. Первое время её нагота возбуждала его, а равнодушие, с которым она открывалась пред ним, было немножко обидно солдату, но однажды он, войдя убирать комнату, застал её лежащей на диване в одной рубахе, – вся вздрагивая, она плакала, выла.

– Пошёл вон, подлец! – крикнула она ему. Оторопев, он не мог сдвинуться с места, а Галка, присмотревшись к нему, сказала, тихонько всхлипнув:

– Это я – не тебя... Уйди!

Его очень тронуло то, что вот и в горе, в слезах, она всё-таки сказала ему эти слова, и с того времени он стал относиться к ней как-то особенно, с жалостью, точно она была ребёнком или уродцем.

Ещё раз она тронула его за сердце с год тому назад, после родов; ребёнок родился трудно и вышел мёртвый; измученная Галка – одни глаза – лежала в постели, и когда однажды в дождливый день он вошёл к ней, Галка грустно сказала:

– Вот, Лука, прощай, кажется, умру я...

– Что вы, барыня, зачем же? – испуганно пробормотал солдат и убежал вон,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorki۷ta
содрогаясь от нестерпимой жалости к ней.

Не много слышал он ласковых слов, – тем более яркими цветами расцветали они теперь в памяти его. Вспомнилось всё только хорошее, а впереди было как-то пусто. Всё же пережитое в солдатах казалось тем самым, ради чего ему и нужно жить.

Вспоминалось, как он укладывал спать пьяного поручика, как прикрывал его мимолётные романы с обывательскими дамами и помогал Галке в её шашнях с молоденькими офицерами батальона, притворяясь, что он ничего не понимает. Во дни безденежья она занимала у него рубли на обед.

Здесь, в этом песчаном, жарком городе, в этом доме, битком набитом разными людьми, и тесной квартире поручика текла неустанно какая-то странно пёстрая, всегда пьяная, всегда безумная жизнь, и в ней Лука чувствовал себя на месте, стоял крепко, точно дубом врос. А теперь нужно ехать за тысячу с лишком вёрст, в небольшое село среди лесов, в жизнь, от которой он отвык уже.

И когда пароход, отходя от пристани, задрожал, в груди Луки тоже что-то вздрогнуло, натянулось туго и точно оборвалась живая нить.

Одиноко сидя на скамье третьего класса, он крутил усы так, что волосы трещали, и ему смутно вспоминалась жена – маленькая, курносая, с бурыми, надутыми щеками; а глаза – как голубые бусы из стекла.

«Кабы не она, остался бы в Царицыне и жил. В трактир поступил бы, повару подручным. Научился бы делу... А ежели выписать её?»

За четыре года он узнал много женщин – кухарок, горничных и просто гулящих; очень ловкие в делах любви, бойкие на язык и вообще – во всём – особенные, они стёрли память о жене, он помнил её только в первую ночь, когда она билась в руках его, рвала волосы и царапалась, задыхаясь, вскрикивая:

– Пусти, окаянный... пусти – закричу!..

А когда он одолел её, она до утра тихонько плакала, и лицо у неё было удивлённое, испуганное, как у овцы перед лужей.

Чем дальше уходил пароход, тяжело поднимаясь по тёмной и холодной осенней реке, между серо-песчаных берегов, тем настойчивее звало к себе оставшееся позади, а о деревне и жене думалось как-то сверх всего, порывами.

Ещё когда Лука, заняв уютное место в углу, за рубкой второго класса, раскладывал свои вещи, около него явился мужчина в толстой на меху куртке, в картузе набекрень, с бойкими глазами на удалом лице. Внимательно осмотрев соседа, он, для первого знакомства, сказал Луке плясовой прибауткой:

Солдат еде на побывку,

Припаси жена бока!

– Так, что ли, землячок?

– Как полагается, – неопределённо и нехотя ответил солдат.

– На побывку али отслужил?

– Отслужил.

– Дело!

Человек поглядел вдоль палубы, заглянул на рябую реку, на небо в изорванных тучах и, ударив себя ладонями по коленям, воскликнул:

– Хорош бы день, да – некого бить!

– Зачем же бить? – хмуро спросил солдат.

– Это – поговорка такова есть. Поговорочка, друг!

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyua
Снова осмотрев Луку зорким, хозяйским взглядом, он подмигнул ему и встал:

– Пойти поглядеть на людей, каковы они сегодня!

И пошёл, скрипя новыми, с набором, сапогами, глядя на всех, как владелец парохода, и словно собираясь сказать людям командуемое слово.

«Ловок», – почтительно подумал Чекин, следя за ним.

С левого борта медленно тянулся песчаный, пустынный берег, торчали над водою прутья ивняка и, стряхивая остатки жёлтых листьев, качались, точно секли реку. Стеклянно-серая волна, отбегая от парохода, шумно лизала песок. Пятна нефти радужно играли на мутной поверхности воды, она казалась густой, как сусло, и шумела под колесами глухо, устало. Глубоко обнажились синие, по-осеннему чистые дали, и казалось, что чем выше всплывает пароход, тем синее и холоднее будет этот пёстрый и свежий осенний день.

Лука сунул руку в карман за табаком, нащупал круглое зеркало в жестяной оправе, вынул его и стал рассматривать своё мятое лицо, в рыжей жёсткой шерсти, вспоминая семилетнюю Гланьку, подарившую ему зеркало, – с её матерью, кухаркой священника, он хорошо жил последний год, а Гланьку любил, как свою дочь.

– Ты тоже Петруха? – спросила его девочка первый раз, когда он пришёл в гости к матери её.

– Я – Лука.

– А прежний солдат мамин Петруха был, только – чёрный и усы маленькие, а ты – красный! – болтала девочка, доверчиво прижимаясь к нему.

Мать ее сконфузилась, спрятала свои ласковые глаза и шутивно-строго крикнула:

– Ах ты, шабала! Гляди-тко, чево говорит она про мать-то! Ступай, ложись, спи!

После этого всё пошло сразу особенно как-то, – хорошо и просто.

Когда, бывало, Лука жаловался Гланькиной матери на свою трудную, солдатскую жизнь, девочка слушала его речи внимательно, как сказку, и, заглядывая в лицо ему серыми глазами, советовала:

– А ты убеги за Волгу!

– Это нельзя мне.

– А ты убеги только!

– Да нельзя, говорю!

– А ты только попросись...

Солдат смеялся, щекотал её, и она тоже захлёбывалась тоненьким рыдающим смешком, – слушать его было приятно. И вся Гланька была особенная среди детей: беленькая, простенькая, она вызывала у всех взрослых тихое внимание к ней, и на неё нельзя было сердиться. Уезжая, Лука подарил ей красный платок и чижа в клетке, а она отдала зеркалом.

«Усы у меня очень растопырились, это верно Гланька говорила, – думал солдат, надувая щёки. – Надо подстричь – в деревне усы ни к чему. Там борода уважается, солидность...»

Вздохнув, он спрятал зеркало и посмотрел исподлобья на большого монаха, который, сидя против него, аккуратно расчёсывал густые длинные волосы костяным гребнем и, улыбаясь добродушно, тоже осматривал Луку маленькими глазками.

– Ну, нагяделся на себя, – хорош ли? – спросил монах, чмокнув мягкими губами.

– Ничего будто, – ответил солдат сконфуженно.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Вот и слава богу...

Лицо монаха было широкое, бабье, пухлое и белое, как плохо выпеченный хлеб, редкая линючая борода как будто ещё более смягчала его. И сразу, точно он всё время думал о солдате, монах заговорил непривычно Луке мягко, незнакомо приветливо:

– Ну, вот теперь, отслуживши честно царю-отечеству, надобно тебе о господе вспомнить, ему послужить в меру сил...

Под скамьёй ползала, гремя и взвизгивая на блоках, чёрная, жирная рулевая цепь, за бортом сердито плескала вода, плыл серо-жёлтый берег, и всё грозили пароходу и реке сучья голых деревьев, качаясь в прозрачном воздухе. По берегу тянулись сети, развешенные на кольях, на песке лежали лодки, у самой воды проскакал на коне кто-то в красной рубахе, и всё исчезало в холмистых далях, в холодной синеве осени. Встретился маленький, ошарпанный пароход, торопливо били воду его колёса, настигая его, плыла пустая баржа, буксир волочился по воде.

– Старенек, дедушка, – сказал кто-то о пароходе.

– Ты человек, видать, смирный, – слышал Лука тёплый голос монаха, а за спиной его, на другой лавке, спорил бойкий парень:

– Все живут случаем, и боле ничего!

– Это как же?

– А вот так!

– А что такое случай?

– Случай? Случку – знаешь?

– Ну, так что?

– А то: судьба тебе – бык, понял?

Грохнул хохот, хохотало человек пять, и один из них протяжно охал:

– Ло-овко-ой...

– Чу, – тихонько говорил монах, – вон они как! Чему уподобляются? Безбожным скотам...

На палубе становилось всё теснее и шумней; люди собирались обедать, развязывали узлы, мешки, запахло съестным, но Луке не хотелось есть; согнув спину, он слушал слова монаха и думал:

«Это верно, – грубость везде, а в деревне того боле. Али – наплевать на всё, не ездить домой-то? Какой интерес?»

– Эх, братцы, – кричал бойкий парень. – Один господь всю правду знает, да и ему она – польнь, гляди!

– Обитель наша Симбирской губернии, около Алатыря, стоит в лесе, над Сурой, – красота, тишина...

– А трудно в монастыре жить, – не то спросил, не то подумал вслух Лука.

– Кто бога любит, тому не трудно. Ну, а если лентяй, то – конечно. Ты к чему спросил?

– Так себе...

– А ты бы вот зашёл до нас. Пожил бы недельку, подумал, как дальше будешь, помолился бы, а?

Потом монах стал спрашивать Луку о его семье, и, когда узнал, что брат солдата

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
торговец, а у Луки есть деньги, около сотни рублей, голос его сделался тише,
ласковой, и настойчивее зазвучала убедительная речь.

– Крестьян – много, а господу служители нужны.

«Ишь ты, – заманивает как», – подумал Лука, стараясь не смотреть в сладкое,
широкое лицо.

Дул верховой ветер, пароход шёл трудно, дрожал весь, по щеке монаха беспокойно
ползала прядка тёмных волос; он закидывал её за ухо, а она снова падала на щеку,
к редким волосам бороды.

– Я бы, конечно, зашёл, – раздумчиво сказал Лука, – да ведь билет пропадёт,
билет у меня до места, до Исады-пристани.

– С билетом я тебе устрою дело! – обязательно воскликнул монах. – Стало быть –
решил?

– Что же? Можно...

– Ну, и – благослови бог!

И, перекрестив солдата большою белой рукой, монах дружелюбно хлопнул его по
колену.

– Предоброе дело совершишь!

Лука молча улыбнулся. В груди его спокойно улеглось решение зайти в монастырь к
этому добряку; он сразу почувствовал себя бодрее, твёрже и, поглядев на всё
вокруг доброжелательно, встретился с весёлым взглядом зелёных глаз парня в
картузе, – держась одною рукой за спинку скамьи, он рубил воздух взмахами другой
и кричал:

– Чего жалеть? Отчаливай! Студенты в Казани поют:

Наша жизнь коротка
И всё уносит с собою..
– Так ли, военный человек?

– Совершенно так, – согласился Лука; парень этот очень нравился ему своей
весёлой бойкостью.

– А не покушать ли нам? – предложил монах.

Они спросили щей, полбутылки водки, солдат сразу заметил, что монах ест
аккуратнее и вкусней поручика Слепухина, – это ещё более расположило его к
монаху.

«Понимающий человек», – думал он.

– За твоё здоровье! – сказал монах, прикрывая рюмку водки широким рукавом рясы.
– И душевно поздравляю с окончанием срока службы миру земному.

– Покорно благодарю! – вежливо откликнулся Лука.

Пообедав, они улеглись спать, а когда Лука проснулся – небо за кормой было
красное и берега тоже покраснели в холодном огне осеннего заката. Ветер дул
сильнее, чёрные деревья все склонялись в одну сторону, словно убегая к морю и
солнцу. Гремела чайная посуда, по ту сторону скамьи стояла тесная кучка людей,
из её тёмной середины задорно выскакивали удалые выкрики:

– Чей рупь? Получи два! Грабь! Кто ставит, ну?

Деньги – дело наживное,
Об них нечего тужить;
Вот любовь – дело другое,
Ею надоть дорожить!
– Шевелись, честной народ, потихоньку, богатеи помаленьку!

Монах, сдвинув на затылок чёрную скуфейку, тоже стоял у стола; Лука стал сзади него, пригнулся и посмотрел из-под мышки монаха на стол: над коричневым его квадратом летали чьи-то руки, перебрасывая неуловимо быстрыми движениями три измятые карты.

– Король, дама, валет! Ставь, ребята! Полтина на валета? Есть! Дана! Эх, остаться мне сегодня без порток!

– Преопасная забава! – сказал монах Луке. Бойкий парень снял шапку, ветер трепал его рыжеватые волосы, набрасывая их на белый лоб и крепкие щёки, пред ним лежали кучка смятых бумажных денег и кружки серебряных монет, он бросал их во все стороны, снова собирал к себе, его красные губы неустанно шевелились, и всё время он балагурил, задевая Луку дразнящим взглядом.

– Чисто играет, заманчиво! – бормотал монах. – Вон тот, носатый, целковых двадцать нахватал у него...

Лука посмотрел на безволосое, неподвижное лицо носатого человека, ему показались знакомыми исковерканный оспой лоб, изрытые щёки, щербатое, изъеденное ухо. Стоял рябой прямо и крепко, двигал деньги пальцами по столу молча, с небрежением богатого и нежадного. В тёмных ямах под его лбом спокойно блестели прозрачные, как лёд, глаза.

– Оберёт он бойкача, – вздохнув, сказал монах и, помолчав, предложил Луке:

– Поставь полтинку, авось возьмёшь на счастье солдатское...

Это уже было решено Лукою, он торопливо сунул руку в карман, рука дрожала, вынул три двугривенных и сунул их на стол; парень перебросил карты, две монеты подвинул к себе, накрыл третью рублём и крикнул:

– Получи, служба, и – проваливай с мелочью! Тут игра широкая, по всю душу! Кто идёт, что несёт?

– На короля – рубль! – твёрдо сказал Лука, и его тотчас закружил радужный вихрь острого возбуждения; всё отошло – монах и все люди пропали, но в груди стало как-то приятно тесно и тепло, точно во хмелю. Он видел пред собою только горячие глаза игрока, его неуловимые руки, карты и деньги, – деньги всё подвигались на край стола, к животу солдата, от них исходило пьяное тепло, лицо Луки покрылось потом, он весь разомлел, и у него ослабли ноги.

Он и рябой выигрывали все ставки, куча денег пред Лукою всё росла; чтобы они не смешались с деньгами соседа, солдат снял фуражку, сгрёб в неё выигрыш и, устало вздохнув, сказал монаху:

– Ну и здорово же!

Тот, ещё более повеселевший, смотрел на стол полуоткрыв рот, странно выпучив глаза, шарил на груди у себя и шептал:

– Ну-кося и я тоже... ах ты...

– Держи, отец, с выигрыша! – сказал Лука, сунув ему трёшницу, монах тотчас придавил её пальцами к столу и, задохнувшись, рывкнул:

– Дама!

– Дана!

Отовсюду, трясясь, тянулись к столу неверные, точно изломанные руки, хватая и швыряя деньги, крутился рычащий жадный гул, всё было точно в дыму и во сне, всё шаталось, а игрок, метавший карты, пел и свистел, разжигая всех, как огонь.

Потом всё сразу оборвалось для Луки, стало просто и холодно: сунув руку в фуражку, он ощупал в ней только серебряный рубль и скомканную пятишницу, привычным жестом бросил бумажку игроку и, вздрогнув, вытянулся, спрятал руки в кармины штанов, – там ещё должны быть деньги, но оказалось несколько пятакон,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
стёртый гривенник, похожий на бельмо, и зеркало.

Некоторое время он стоял одеревенев, не веря, что проигрался; рябой искоса взглянул на него, отодвинул плечом Луку от стола, кратко и строго сказав:

– Отойди.

Солдат покорно отошёл и замер, упёршись глазами в изогнутые спины людей вокруг стола; хрипя, они толкали друг друга, их тёмная куча шевелилась, как толпа овец пред воротами хлева.

– Проигрался? – спросил монах откуда-то издали.

– Да, – сонно и устало ответил Лука.

– И я, семь целковых...

Лука оглянулся, с трудом говоря:

– Ты бы, отец, отдал мне трёшницу...

– Али я просил её у тебя? Ишь ты! Это была твоя охота поставить...

«Верно», – подумал солдат.

Поддёргивая штаны – пояс их вдруг ослаб и стал широк, – Лука прошёл к борту, заглянул в реку – она была чёрная и текла очень быстро.

Где-то вдали небо ещё краснело, и туда быстро летели тяжёлые облака, чуть-чуть отражаясь в воде. Пароход шёл сквозь облака и тени их, как челнок сквозь основу, встречу ему, посвистывая, двигалась ночная тьма, поглощая берега, суживая реку.

Внутри солдата всё дрожало от обиды и скорби, он присел на что-то, застывая от холода.

Прошли мимо двое людей, один сказал спокойно:

– Оба – жулики!

– Конечно! Рябой – в доле.

Шум на палубе становился всё тише, игра кончилась. Неожиданно рядом с Лукою встал молодой игрок, насвистывая что-то, – солдат тяжело поднял голову, поглядел на него и не увидел в темноте бойкое лицо, а только белое пятно на месте его.

– Проиграл я тебе всё...

– Ну, – отозвался игрок, и было непонятно – верит он или нет.

– Всё, как есть.

– Это – плохо!

Парень пошёл прочь, скрипя сапогами, но из тьмы спросил:

– Хошь – дам рубль?

– Что мне рубль!

– Как желаешь...

Лука в тоске посмотрел на своё место, там монах чистил гребень: держал в зубах нитку и водил по ней гребнем, на колени ему снегом сыпались серые хлопья.

Сидел он плотно, спокойно, широко расставив ноги в тяжёлых сапогах, ряса на коленях у него натянулась, совсем как юбка у торговки на базаре. Лука вспомнил о своём решении идти с ним в монастырь, встал, подошёл к нему, – монах приподнял брови и опустил их.

– Нехорошо вышло, – заговорил солдат.

– Ляг да спи, – посоветовал монах сквозь зубы.

– Не хочу. Это ведь ты, отец, присоветовал мне играть...

Вынув нитку из зубов и навивая её на палец, монах сказал сердито:

– Я и сам проиграл.

Вода под колёсами шумела тоже сердито; ночь совсем окутала реку трауром.

Где-то близко раздался сухой и строгий голос рябого:

– А чем же это вы столько хороши? В чём ваша сдержка? Брось вам кто рубль – все перегрызётесь нещадно...

«Вот, – подумал Лука, – в беде я здесь, а пожалеть меня некому! В городе бы меня хоть Гланька утешила».

Мысль эта застыла у него в голове, он долго рассматривал её, а потом медленно повторил вслух, ожидая, что скажет ему монах, но тот промолчал, неподвижный и чёрный.

– Приду домой, – вяло говорил солдат сам себе, – спросят: отслужил? Мужики подумают – денег принёс. Жена тоже... Брат, конечно, работой давить будет. Теперь мне самое настоящее – заключиться в монастырь.

Последние слова он снова выговорил вслух и посмотрел на монаха, – тот, сидя на скамье с ногами, окутывал их серым одеялом и молчал.

Прошёл мимо рябой, с папиросой в зубах, спросив на ходу:

– Что, солдат, продулся?

– Совсем, – сказал Лука покорно и спросил монаха: – А далеко от Симбирска до монастыря?

– Пятьсот вёрст, – ответил монах глухо и грубо, точно выругался.

Лука понял, что теперь монах не хочет, чтоб он шёл с ним в монастырь, – солдату стало обидно и неловко смотреть на монаха. Тихонько, спустя голову и словно желая спрятаться, он пошёл прочь, мимо людей, съёжившихся на скамьях.

В мутных стёклах лампочек, похожих на водяные пузыри ненастного дня, дразнились жёлтые языки огней, всё вокруг напряжённо тряслось, в груди солдата было темно, мутно и тоже что-то дрожало, растекаясь по всему телу холодом.

Он долго бродил по палубе, вздыхая, дёргая себя за усы, спотыкаясь о чьи-то ноги, потом очутился в узком проходе между фонарём машины и сухопарником. Там, прислонясь спиной к горячему железу стенки сухопарника, стоял рябой, глядя, как за стеклом ворочаются светлые рычаги, качаются шатуны, блестит медь маслёнок, – увидав солдата, он взял его за рукав шинели, властно поставил рядом с собою и спросил:

– Что не спишь?

– Очень я растревожился, – доверчиво сказал Лука, взглянув сбоку в лицо рябого, и вдруг вспомнил осенний тёмный вечер, мелкий дождь и это изжёванное большеносое лицо, в тусклой полосе света из окна, между двух чёрных солдат конвойной команды.

– А ведь я тебя видел! – воскликнул он почти с радостью.

– Где? – строго осведомился рябой.

И, когда Лука рассказал, он, подумав, спокойно заметил:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiusta

- Пожалуй, это я и был... О ту пору судили меня судом.
- За что?
- За кражу. Оправдан был.
- Напрасно, значит, судили?..
- Судят не напрасно, а чтобы узнать правду...
- Всё-таки обидно, поди?
- Чего – обидно?
- В остроге, чать, сидел?.. Конвой...
- Какая ж тут обида? Это всё равно: в остроге, на пароходе – везде люди, одни да всё те же...

Рябой говорил дружелюбно, но в голосе его звучали привычные Луке начальнические ноты, внушая почтение к этому плотному и крепкому человеку. Стоять в темноте рядом с ним было спокойно, и хотя слова его были необычны, малопонятны и похожи на балагурство, но и в них звучало что-то крепкое, приятное и нужное Луке в эту минуту.

Поговорили ещё немножко о том, о сём, и Лука вежливо спросил:

- Вы чем же занимаетесь?
- Я? А вот – кражами и занимаюсь.
- Ну-у? – смущённо протянул солдат, не поняв – испугало или только удивило его это признание.

Рябой выговорил свои слова так просто, точно занятие кражами он считал таким же законным ремеслом, как ремесло маляра или слесаря. Его деревянное лицо было неподвижно, пустые глаза упрямо, не мигая, смотрели в машину.

Помолчав, Лука спросил, смущённо улыбаясь:

- А боязно это?
- Попробуй – узнаешь, – предложил рябой.
- Мне нельзя!
- Отчего?
- Я – солдат.
- А разве солдаты не крадут?

Лука вспомнил, как он таскал у поручика папиросы, ошаривал карманы пьяного Слепухина, как воровал у Галки чай и сахар и вообще не стеснялся брать чужое, – он пугливо сморщил лицо, и ему захотелось уйти прочь от этого человека, но рябой добродушно сказал, позевнув:

- Ты меня не бойся, ведь у тебя украсть мне нечего, верно?
- Да, – вздохнул Лука.
- Ну вот! А у монаха – есть халтура, а?
- У него – есть!
- Однако – монаху деньги иметь не полагается! В карты играть – тоже! Верно?

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Верно, – сказал солдат. – Как он обязан служить богу...

– То-то вот! Ты видел – много у него денег-то?

– Кошелёк толстый.

– Кошелёк?

– Бумажник эдакой...

Кто-то спешно пробежал по палубе, заскрипела железная дверь в колесо, его глухие удары стали слышнее, пароход наполнился влажным шумом и кипением воды. Пыхтела машина, палуба под ногами дрожала, и эта дрожь непрерывно беспокойно отдавалась в груди.

Рябой говорил солидно, не глядя на Луку и позволяя ему рассматривать своё странное лицо, – солдату казалось, что слова его становятся всё более разумны и понятны.

– И всё на свете – божье, а не твоё-моё. Ты со мной поделись, я тебя не хуже; а не поделишься – сам возьму! Вот и кража будет. Понял?

И Лука почти не удивился, когда рябой товарищески предложил ему:

– Ты поди-ка вытащи деньги-то у монаха; десятку мне дашь, за совет, за науку, а всё – тебе! И поправишься добром...

Слово – добром – заставило Луку улыбнуться, он отрицательно покачал головой:

– Я этого не могу, не сумею мне. Добром! Чудак ты...

– Сначала человек ничего не умеет, даже ест плохо, хуже котёнка, – сказал рябой внушительно, подталкивая Луку локтем в бок.

Сквозь запотевшие стёкла из машины на лицо рябого падал мутный свет, – лицо его казалось ещё более каменным, чем днём, но глаза ожили и блестели ясно, покоряюще.

– Хорошо ты обо всём толкуешь, – вздохнув, задумчиво проговорил солдат.

Рябой с гордостью тряхнул головой:

– Мне, брат, сорок лет, я все дела обдумал...

Помолчали. А потом Лука неожиданно для себя согласился:

– Пойду погляжу, авось, что выйдет...

Рябой напутственно молвил:

– Захочешь – всегда выйдет!

Солдат пошёл медленно, осторожно, ступая на носки, покачиваясь, глядя под ноги себе. Он думал только о том, что нужно быть как можно незаметней и не шуметь.

Когда он подобрался к монаху, тот лежал вверх грудью и, открыв рот, гудел, как шмель, захлёбываясь сырым, холодным воздухом. Брови он поднял, точно слепой, его широкое лицо было радостно удивлённым. Одеяло сползло с него, ряса на животе распахнулась, и рыхлое тело его зыбилось, как студень.

Солдат оглянулся назад, далеко от него, во тьме стояла чёрная фигура, мелькало какое-то белое пятно.

«Это он рукой машет», – сообразил солдат, опускаясь на колени перед спящим и тихонько заводя правую руку под рясу, на груди его. Он сразу нащупал бумажник, тёплый и очень тяжёлый, но – в эту секунду весь монах сразу подскочил на скамье, страшно ударив солдата ногою в лицо, опрокинул его, свалился на грудь ему и дико завыл:

– караул, батюшки...

Лука ослеп от удара, обессилел от страха и, лёжа неподвижно под тяжким телом, старался сунуть бумажник в карман себе. Но кто-то вывернул ему руку, вырвал бумажник, залез в карман, вытащил Гланькино зеркало и тут же швырнул его в лицо вора. Лука поймал зеркало левой рукою и крепко сжал его в пальцах.

Солдата били, топтали, потом, подняв, повели куда-то, он шёл покорно, приседая под ударами, и просил тихонько:

– Ну, – ладно, будет! Ну – виноват, что уж! Будет...

И вдруг, вздрогнув всем телом, он остановился, с поражающей ясностью вспоминая, чем он был ещё вчера вечером, сегодня весь день и вот – до этой, последней минуты.

Теперь его нет, есть другой, вор, которого посадят в тюрьму.

– Господи помилуй, – пробормотал он в ужасе и швырнул зеркало куда-то в сторону.

– чего бросил?

– Смотрите за ним!

– Ты чего бросил, а?

Кто-то забежал вперёд и ударил солдата палкой по голове, палка, хряснув, переломилась, а Лука, взметнув руки выше головы, тычком свалился под ноги людям, точно в реку нырнул.

Музыка

Я сижу в кабинете жандармского полковника, в маленькой комнате, сумрачной и тесной; широкий письменный стол, три кресла, обитые тёмной кожей, такой же диван и большой шкаф почти сплошь заполняют её; тягостное впечатление тесноты особенно усилено обилием фотографий на стенах.

Их очень много: группы военных, дамы, дети, снимок с какого-то лагеря, незнакомый мне город на крутом берегу реки, белая лошадь, которую держит на поводу маленький кадет, и монах, снятый во весь рост, – он похож на каменную бабу в степи.

Полковник – высокий, в серой тужурке, немножко сутулый. Лицо у него прозрачное, худощавое. Его голубовато-серые глаза велики и красивы, но смотрят печально, устало. Ему, вероятно, немногим больше сорока лет, но борода у него – седая, волнистые волосы редки, по левой щеке часто пробегает судорога, заставляя его мигать.

Сунув руки в карманы тужурки, он медленно шагает длинными ногами мимо стола и нездоровым голосом говорит:

– Как же вы это объясните, а? Это нужно объяснить...

В кабинете два окна, но они плотно закрыты тёмно-красными шторами; между мною и полковником – красноватая, душная мгла, насыщенная запахами кожи, лекарства и крепким дымом душистого табака.

Когда конвойные вели меня из тюрьмы по весёлым улицам города, я чувствовал себя героем, воспоминания о несправедливостях жизни разжигали в сердце красивый гнев юности, и я шёл на допрос, как на единоборство.

Сначала я отвечал на вопросы полковника задорно, грубовато, добиваясь от него криков и угроз, стремясь вступить в спор со злою вражьей душой, но, когда я присмотрелся к его восковому лицу и печальным глазам, прислушался к его надломленному голосу и равнодушным вопросам, – в сердце всё погасло, задор исчез, стало тягостно, скучно и неловко.

Врага – не было, и не было ничего злого в этом усталом человеке. Ему бы сегодня,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
в светлый день весны, уйти в поле, в лес и лечь там на молодой траве, лицом в небо, а он кружится по комнате, напрасно теряя время со мною, ставя мне всё один и тот же надоедливый вопрос:

– Зачем вы ездили в Ярославль?

– Я же сказал.

– В это нельзя поверить, – говорит он, внимательно разглядывая пепел папиросы, и снова шаркает туфлями по паркету.

Он смотрит на всё вокруг странно пристальным взглядом, как будто вещи в кабинете незнакомы ему, не нравятся или он не находит среди них чего-то нужного. Иногда он молча кивает головою так сильно, что борода его, касаясь груди, расстиляется по ней веером. Он похож на степную птицу, которая кружится над разорённым гнездом.

Впервые вижу я такого человека, и мне думается, что он только один на земле такой.

– Послушайте, – говорит он, остановись и вынув часы, – что же у нас будет, а? Пора вам прекратить это соловецкое сиденье.

И, щёлкнув крышкой, продолжает, глядя в угол, где в сумраке белеет бюст Александра II:

– Вы думаете, я желаю вам зла, хочу держать вас в тюрьме и прочее? Напрасно. Зачем? Зачем вам торчать в тюрьме?

– Выпустите.

Судорога перекосила его прозрачное лицо, глаз закрылся.

– Не могу, – сказал он, сухо кашляя, крепко поглаживая щёку. На указательном пальце правой руки надето толстое и, должно быть, тяжёлое обручальное кольцо. – Нужно иметь правдоподобное объяснение вашей поездки. Я уйду... на четверть часа, а вы – подумайте и напишите...

Он подошёл к двери, остановился там и, держась за ручку её, тихо сказал:

– У меня в Петербурге сын студент, ровесник вам... И, может быть, в этот момент его тоже вот допрашивает жандармский офицер... Понимаете? Вот как...

Я остался один в красноватой мгле; слова о сыне задели что-то во мне.

«Вот как», – эхом звучало в памяти, и тихо сказанные слова принимали форму вопроса: «Вот как?»

Обиженно надув щёки, со стены смотрел на меня монах, косила глазом лошадь; полная дама, улыбаясь, разглядывала своё голое левое плечо. Занавесы окон проточены молью, – если пристально смотреть на них, сквозь маленькие дырочки видно бирюзовое весеннее небо.

Полковник слишком часто произносит слово «зачем». Нехорошо чувствует себя его сын, если только он, – вот так же, как я, – сидит в кабинете жандарма.

Уходя, полковник притворил дверь неплотно, и теперь в кабинет вливается тревожными ручьями музыка, – где-то в доме играют на рояле.

Было нестерпимо скучно, музыка звала ближе к себе; я встал, подошёл к двери и выглянул в светлую, полную солнца комнату.

За открытым окном празднично шумит весенний день; узорные тени деревьев лежат на подоконнике и на полу. Против меня – маленькая дверь; за нею слышны звон шпор, мужские голоса, треск разрываемой бумаги, – это мешает слушать музыку; играют в комнате налево; дверь в неё завешена пёстрым, приятно слинявшим ковром; он тихонько колеблется. Музыка уводит от действительности, забыл, где нахожусь, – приподнял ковёр и очутился в небольшой гостиной. Около двери стоял высокий

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma трельяж с цветами. Я встал между ним и драпировкой, – здесь было очень хорошо слышно, и я видел сквозь листья цветов музыкантшу: она сидела спиной ко мне, – очень тонкая, с голой шеей, в каком-то восточном халате из шёлка, пёстром и лёгком. Голова у неё была маленькая, в кудрявых, тёмных волосах. Она играла без нот, негромко, медленно, как бы вспоминая забытое. Её тонкие пальцы перебирали клавиши басов неуверенно, правая рука суетливо бегала по среднему регистру, и я долго следил за трепетом её рук, чувствуя в различности их движений что-то смятённое, робкое и печальное...

А клавиши точно смеются. Сначала мелодия пьесы была неуловима; альты и тенора звучали бессвязно, тяжёлые вздохи басов говорили о чём-то настойчиво и строго, а в общем это напоминало картину осени: по скошенным лугам, по жухлой траве течёт сырой, холодный ветер, зябко трепещет лес под его натиском, роняя на землю последние золотые листья. Вдали уныло поёт колокол невидимой церкви.

Потом среди поля явился человек с открытой головой: высоко подняв руки, он бежит, гонимый ветром, как «перекати-поле», – бежит и всё оглядывается назад. Глухой, тёмный гул сопровождает его, а дали полевые становятся всё шире, всё глубже, и, умаяясь пред ними, он исчезает с земли.

Женщина перестала играть и сидит неподвижно, опустив руки, – она сидит так очень долго.

Я смотрю на неё сквозь цветы, ни о чём не думая, в груди всё ещё звучит красивое эхо; я помню только одно: не надо шевелиться.

Потом правая рука её, медленно и как бы неохотно, снова легла на клавиши, и снова меня обнимают торжественные аккорды. Я слушаю их, закрыв глаза. Мне кажется, что большая толпа людей стройно и единодушно молит кого-то, – молит со слезами гнева и отчаяния. Это очень тяжёлая, мощная пьеса, и странно, что такая маленькая женщина может так сильно играть.

И эта пьеса совершенно лишила меня сознания действительности...

– Да перестань ты барабанить, Наталья! – сердито крикнул рядом со мною полковник.

Она, не снимая рук с инструмента, повернула голову, – лицо у неё маленькое, птичье, очень сжатое с висков, нос – горбатый и большие синие глаза.

– Арестованный провалился куда-то, понимаешь? – говорил полковник, входя в гостиную, с папиросой в толстом янтарном мундштуке, и приглаживая дрожащей рукой волосы на голове.

– Убежал? – испуганно спросила женщина.

– Очевидно...

Я, конечно, сразу понял, что это обо мне идёт речь, но я не мог тотчас же выйти из-за портьера и трельяжа – было неловко и немножко смешно.

– Но как же он? – спрашивала дама.

– В окно вылез, видимо... Это – сумасшедший, чёрт его возьми! – сказал полковник, уходя.

Дама встала и пошла за ним, запахивая капот на груди. Тогда я выдвинулся навстречу ему.

– Вы? – крикнул он, отступая. – Вы – что? Зачем вы здесь?

– Я слушал музыку...

Он мигнул, посмотрел на даму и, грозно нахмутив серые брови, приподнял плечи.

– Если это неприлично, вы меня извините, – сказал я и решил ничего не говорить более.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Н-да... – отозвался полковник, зажигая папиросу. – Уж я не знаю – как это там – прилично или нет, но делать этого не следовало...

Он пристально уставился в лицо мне и замолчал, а дама, прислонясь к нему, спросила тихонько, но так, что я слышал:

– Его за это накажут?

– Пожалуйте! – сказал полковник, отстранив её и указывая мне на дверь.

А когда я вышел в светлую комнату, он, усмехнувшись, проговорил:

– Вы меня напугали, батенька. Чудак же вы! Разве вы уж так сильно любите музыку, а?

– Редко слышу...

– А... да! Ну-с, сегодня я прекращаю допрос...

И, снова усмехаясь, дважды подмигнув глазом, он добавил:

– Этот случай не располагает... к строгостям... Вам, видимо, придётся ещё разок послушать музыку жены – она всегда играет в это время... До свиданья! Салтыков, сдай конвойным...

Салтыков – толстый, потный жандарм – удивлённо оглядел меня весёлыми, как будто хмельными глазами и со вкусом откликнулся:

– Слушаю, господин полковник!

А когда вывел меня в канцелярию, то сказал укоризненно:

– Что ж вы гуляете по управлению, подобно как по базару? Довольно нехорошая дерзость ваша, и ничего вы не доказали. И что вы думали доказать?

– Просто – я музыку слушал...

– Музыку слушают в городском саду...

И строго скомандовал конвойным, подталкивая меня к ним:

– Принимай, земляки!

Самовар

Было это летней ночью на даче.

В маленькой комнате стоял на столе у окна пузатый самовар и смотрел в небо, горячо распевая:

Замечаете ли, чайник, что луна
Чрезвычайно в самовар влюблена?

Дело в том, что люди забыли прикрыть трубу самовара тушилкой и ушли, оставив чайник на конфорке; углей в самоваре было много, а воды мало – вот он и кипятился, хвастаясь пред всеми блеском своих медных боков.

Чайник был старенький, с трещиной на боку, и очень любил дразнить самовар. Он уж тоже начинал закипать; это ему не нравилось, – вот он поднял рыльце кверху и шипит самовару, подзадоривая его:

На тебя луна

Смотрит свысока,

Как на чудака, –

Вот тебе и – на!

Самовар фыркает паром и ворчит:

Вовсе нет. Мы с ней – соседи.

Даже несколько родня:

Оба сделаны из меди,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma

Но она – тусклей меня,
Эта рыжая лунишка, –
Вон на ней какие пятна!
Ах, какой ты хвастунишка,

Даже слушать неприятно!

– зашипел чайник, тоже выпуская из рыльца горячий пар. Этот маленький самовар и вправду очень любил хвастаться; он считал себя умницей, красавцем, ему давно уже хотелось, чтоб луну сняли с неба и сделали из неё поднос для него.

Форсисто фыркая, он будто не слышал, что сказал ему чайник, – поёт себе во всю мочь:

Фух, как я горяч!
Фух, как я могуч!
Захочу – прыгну, как мяч,
На луну выше туч!
А чайник шипит своё:

Вот извольте говорить
С эдакой особой.
Чем зря воду-то варить.
Ты – прыгни, попробуй!
Самовар до того раскалился, что посинел весь и дрожит, гудит:

Покиплю ещё немножко,
А когда наскучит мне, –
Сразу выпрыгну в окошко
И женюсь на луне!
Так они оба всё кипели и кипели, мешая спать всем, кто был на столе. Чайник дразнит:

Она тебя круглей.
Зато в ней нет углей,
– отвечает самовар.

Синий сливочник, из которого вылили все сливки, сказал пустой стеклянной сахарнице:

Всё пустое, всё пустое!
Надоели эти двое!
Да, их болтовня
Раздражает и меня,
– ответила сахарница сладеньким голосом. Она была толстая, широкая и очень смешлива, а сливочник – так себе, горбатенький господин унылого характера с одной ручкой; он всегда говорил что-нибудь печальное:

Ах, – сказал он, –
Всюду – пусто, всюду – сухо,
В самоваре, на луне.
Сахарница, поёжившись, закричала:

А в меня залезла муха
И щекочет стенки мне...
Ох, ох, я боюсь,
Что сейчас засмеюсь!
Это будет странно –
Слышать смех стеклянный...
– невесело сказал сливочник.

Проснулась чумазая тушилка и зазвенела:

Дзинь! Кто это шипит?
Что за разговоры?
Даже кит ночью спит,
А уж полночь скоро!
Но, взглянув на самовар, испугалась и звенит:

Ай, люди все ушли
Спать или шляться,
А ведь мой самовар
Может распаяться!
Как они могли забыть
Обо мне, тушилке?
Ну, придётся им теперь
Почесать затылки!
Тут проснулись чашки и давай дребезжать:

Мы скромные чашки,
Нам всё всё равно!
Все эти замашки
Мы знаем давно!
Нам ни холодно, ни жарко,
Мы привыкли ко всему!
Хвастун самоварко,
И не верим мы ему.
Заворчал чайник:

Ф-фу, как горячо,
Жарко мне отчаяно.
Это не случайно,
Это чрезвычайно!
И – лопнул!

А самовар чувствовал себя совсем плохо: вода в нём давно вся выкипела, а он раскалился, кран у него отпаялся и повис, как нос у пьяного, одна ручка тоже вывихнулась, но он всё ещё храбрился и гудел, глядя на луну:

Ах, будь она ясней,
Не прячься она днём,
Я поделился б с ней
Водю и огнём!
Она со мной тогда
Жила бы не скучая,
И шёл бы дождь всегда
Из чая!

Он уж почти не мог выговаривать слов и наклонялся набок, но всё ещё бормотал:

А если днём она должна ложиться спать,
Чтоб по ночам светлей сияло её донце, –
Я мог бы на себя и днём и ночью взять
Обязанности солнца!
И света и тепла земле я больше дам,
Ведь я его и жарче и моложе!
Светить и ночь и день ему не по годам, –
А это так легко для медной рожи!
Тушилка обрадовалась, катается по столу и звенит:

Ах, это очень мило!
Это очень лестно!
Я бы солнце потушила,
Ах, как интересно!
Но тут – крак! – развалился самовар на кусочки, кран клюкнулся в полоскательную чашку и разбил её, труба с крышкой высунулась вверх, покачалась, покачалась и упала набок, отколов ручку у сливочника; тушилка, испугавшись, откатилась на край стола и бормочет:

Вот смотрите: люди вечно
Жалуются на судьбу,
А тушилку позабыли
Надеть на трубу!
А чашки, ничего не боясь, хохочут и поют:

Жил-был самовар,
Маленький, да пылкий,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma

И однажды не прикрыли
Самовар тушилкой!
Был в нём сильный жар,
А воды немного;
Распаялся самовар, –
Туда ему дорога,
Туда и дорога-а!
В театре и цирке

Я – статист в огромном театре на ярмарке, получаю двадцать копеек за вечер и учусь быть индейцем и чёртом в пьесе «Христофор Колумб».

С изнанки театр вызвал у меня сквернейшее впечатление: помню, как по просторной полутёмной сцене, против чёрной дыры, наполненной сырым мраком, толстенький человечек, бешено ругаясь, гонял нас, кучу мальчишек, из угла в угол, точно пастух баранов, и визжал:

– Крокодилы дохлые, – убьёте вы меня!

Мне казалось, что он притворяется, – нет у него причин сердиться на нас и бить нас по ногам длинной тонкой палкой, мы бы лучше поняли, чего он хочет, если бы он говорил просто и спокойно. Но он суетился, хватал себя за круглую, как арбуз, голову и ныл, орал:

– Какие же вы индейцы? Вы – свиньи, а не индейцы! И какие вы черти? Медведи вы, а не черти!

Из-за кулис высунулась толстая дама и спросила его басом:

– А ты как знаешь, на кого похожи черти?

– На козлят, душечка моя, и на козлов, и не суйся не в своё дело!

Я читал об открытии Америки, и черти казались мне лишними в этом событии, – книжка Прескотта не упоминала о них. Я читал Майн-Рида, Эмара и, думая, что имею представление о краснокожих, старался ходить по сцене так, как ходят американские индейцы в книгах этих знаменитых писателей. Но мои попытки раздражали учителя; он укоризненно кричал:

– Послушай, ты, длинный, окаянный сухарь, смычок, жердь вавилонская, что у тебя – пятки подрезаны, а? Ты по битому стеклу ходишь? Убьёшь ты меня, бессовестная фигура!..

На спектакле я всё-таки ходил так, как, по моему мнению, должен был ходить настоящий, порядочный индеец.

Несколько раз я смотрел, как актёры репетируют пьесы: среди сцены стоит человек в пальто и цилиндре, с папиросой в зубах, с большим перстнем на толстом пальце, и невнятно бормочет что-то, морщась от дыма, оттопыривая тяжёлые губы. Нога у него выставлена вперёд; он размахивает руками и кричит суфлёру очень красивым голосом:

– Что-о? Не слышу! Подавай громче! Не слы-шу! Откуда тут дует, дьявол?

– Отовсюду дует, – справедливо говорит ему высокая красивая дама вся в чёрном.

Другой человек, пьяный, испитой и отрёпанный, сидит в сторонке на стуле, дремлет и время от времени, пугливо вздрагивая, спрашивает:

– Я? Как? О, господи помилуй...

Всё это было невыразимо нудно и не возбуждало интереса к театру, но первый же спектакль, на который я попал зрителем, заставил меня почувствовать страшную силу театра.

С минуты, когда на сцене явился Андреев-Бурлак в образе Иудушки Головлёва, я совершенно забыл о театре и обо всём, кроме маленького старичка в халате, со свечой в дрожащей руке, с ядовитой улыбочкой на слюнявом лице.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma – Аннинька, Аннинька, – сладострастно всхлипывал он перед измученной, умирающей женщиной.

Всё, что делал этот человек, было страшно просто, неопровержимо правдиво и убедительно. Его липкие слова, паучьи движения, его порабощающий, терпкий голосок и эти гнилые улыбочки, – весь он был до ужаса противен и казался непобедимым, точно Кощей Бессмертный.

Я пережил нечто неопишное: хотелось бежать на сцену и убить это воплощение мерзости, я чуть не плакал от бешенства, а кругом меня люди смеялись, орали, возбуждая страх и тяжкое недоумение. Это был очень тяжёлый и дурной кошмар, тем более тяжёлый, что я чувствовал в нём много знакомого мне, того, чем так богата тёмная, запутанная, болезненно, жестокая душа русской жизни. Много лет спустя я снова пережил такое же угнетающее впечатление, читая книгу о Фёдоре Карамазове.

После спектакля, отравленный я всю ночь шлялся в лугах за ярмаркой; меня остановил какой-то пьяный и больно ударил кулаком по голове; помню, это не обидело меня.

Мне вспоминались все старики, которых видел я: два Петра – извозчик и начётчик, дед, Осип, и во всех я чувствовал начало, враждебное мне, – могучее начало, спокойно отрицавшее меня.

Я перестал ходить в театр, может быть, потому, что боялся ещё раз пережить такое же подавляющее впечатление, а может – хотелось сохранить его нерушимо.

Вскоре я увлёкся цирком; я бывал в нём и раньше, но теперь вдруг первое же представление приятно поразило меня. Всё, что я видел на арене, слилось в некое торжество, где ловкость и сила уверенно праздновали свою победу над опасностями для жизни. Я стал посещать цирк часто, познакомился с конюхами, с наездником Масловым, акробатом Красильниковым. Все артисты казались мне такими же интересными, как братья Земганно, и я воодушевлённо рассказывал им этот печальный роман.

– Бывает, – говорил Маслов, очень простой и милый солдат-кавалерист, но Красильников возражал ему:

– Ну, что ты знаешь? Просто, это – злой случай! Нет, мы, цирковые, живём, слава богу, дружно, хорошо! У нас такая работа опасная, что нужно беречь друг друга...

Мне страшно хотелось взяться за эту опасную работу, но артисты говорили:

– Опоздал ты, не годишься, стар! У тебя уж кости отвердели...

Я начал всячески ломать и выгибать кости, но это мало помогло мне.

Большинство артистов были иностранцы; я особенно жадно следил за ними, расспрашивал, о них, и всё, что я видел, слышал, высоко поднимало этих людей в моих глазах. Русские относились к ним снисходительно, с добродушными усмешками. Маслов рассказывал мне о своём товарище Нони Бедина, с которым он ездил, изображая «двух гладиаторов».

– Это – чудак; ему около тридцати годов, а он – как парнишка живёт! Ты поглядел бы, как он свою жену любит, – умора, видеть нельзя без смеха! Провожает её на арену – ручку целует, ей-богу! А то и ножку! Она работает, ездит, а он глядит на неё бледный, трясётся даже, боится: не упала бы! А она у него ловкая, сильная – бояться-то вовсе нечего! Едет она с арены – он её опять чмок в ручку и рад, – просто смотреть нельзя! А уж лет пять женаты, ребят двое у них. Хороший он товарищ, внимательный, с ним не пропадёшь, но – смешной очень!

А мне нравилось, как Бедина смотрит чёрными глазами на свою жену, – много было радости в этих глазах. Она отвечала ему тоже радостным, праздничным взглядом, и оба они были похожи на детей из хорошего семейства, когда, бывало, шли по пёстрым улицам ярмарки, прижавшись друг к другу.

Иноземцы считались русскими не настоящими людьми, а как бы ошибкой природы, – ошибкой, в которой однако было не мало приятного, но больше всего смешного:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Чистяки: всё моются да обтираются. Деньги копят, – дескать, работа наша скоро силу вымотает, так чтоб на старости было чем жить. Нищими, дескать, не желаем быть. А между собою дружно живут, ничего; только вот смешные очень! Оттого у них и клоуны лучше наших...

Я не видел ничего смешного в этих людях, но мне казалось, что они веселее, живей русских, не так часто позёвывают, потягиваются.

Меня особенно интересовал англичанин-клоун, гладко выбритый, широколобый человек средних лет, с тёмными глазами, ловкий и сильный; было нестерпимо досадно, что я не мог говорить с ним, а он говорил по-русски весьма охотно, хотя никто не понимал его.

Он гораздо больше нравился мне за ареной, чем на глазах публики, посреди чёрной, жуткой воронки цирка, где он кувырчался и метался, играя, точно большой котёнок. Я видел однажды, как он, проходя в буфет, увидел своё изображение в зеркале и, сняв цилиндр, с улыбкой кивнул сам себе головою, – это меня поразило. В антрактах я вертелся около двери его уборной, наблюдая, как он мажет себе лицо и всё время оживлённо разговаривает со своим отражением в зеркале, – несомненно, что он забавлял этим самого себя. Гулял он всегда один, а я ходил за ним, как сыщик, и мне казалось, что этот человек живёт особенной, таинственной жизнью и смотрит на всё так, как я никогда не сумею. Иногда я пробовал представить себя в Англии; никем не понимаемый, страшно чужой всему, оглушённый могучим шумом незнакомой жизни, сумел ли бы я жить так же спокойно улыбаясь, в дружбе только с самим собою, как живёт этот крепкий, стройный щёголь?

Как-то днём, проходя по мосту через Оку, я увидел, что он, сидя на краю одного из плашкоутов, удит рыбу; я остановился и смотрел на него до поры, пока он не кончил ловли. Вытаскивая на крючке ерша или окуня, он брал его в руку, подносил к своему лицу и свистел тихонько в нос рыбе, а потом, осторожно сняв её с крючка, бросал в воду. Надевая червяка, он что-то говорил ему; когда из-под моста выплывала лодка, он снимал шапочку без козырька и любезно кланялся незнакомым людям, а когда ему отвечали, делал страшно удивлённое лицо.

Другой раз я встретил его на горе, около церкви Успения. Он смотрел на ярмарку, клином врезанную между двух рек, держал трость в руках, перебирая по ней пальцами, и тихонько посвистывал, как бы играя на флейте. Издали через реку доносился глухой, чуждый шум; по воде ползли пароходы, точно большие жуки; где-то далеко горели леса; в дымном небе неподвижно стояло тускло-красное солнце. Мне было очень жалко этого человека.

Я выдумывал разные истории, в которых англичанин играл роль благородного героя, уснащал его всеми известными мне достоинствами и любовался им. Он напоминал мне людей Диккенса, упрямых в злом и добром.

Когда этот человек уехал из цирка, я был очень опечален, как будто потерял хорошего друга.

Не знаю, что именно дал мне цирк, кроме того, что в нём я увидел людей, которые красиво рискуют жизнью ради удовольствия ближних, – но я думаю, что и этого достаточно. Я смотрел на них сквозь книгу Гонкура, мемуары Файмали и чувствовал к ним почтительную зависть, ясно понимая, что эти люди нужнее меня на земле...

Рассказы

I

Рассказывают:

– Когда Хаким бен Хеким, прозванный Мокайма, что значит – Занавешенный, – когда этот сын судьбы и случая был на вершине славы своей и весь мир, от Багдада до Самарканда, от Кандахара до Мерва, громко пел о подвигах его меча и тихо говорил о злодействах его, – тогда Хаким Мокайма послал гонцов по всему Туркестану и они возглашали на базарах городов:

– Я, Хаким бен Хеким – Владыка всех Владык, Владыка истины. Я всё знаю – все дела и мысли мира. Народы – собирайтесь вокруг меня и знайте: всемирное господство, могущество и слава принадлежат мне. Кто идёт со мною, тот будет в раю, кто бежит меня – падёт в мрак ада!

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
И, когда эти дерзкие слова дошли до бога, бог улыбнулся, сказав:

– Ничтожен человек воображения, не изведавший восторга добрых деяний!

И, желая наказать человека за гордость его, бог послал к нему женщину.

Рассказывают:

– Она явилась пред шатром безумца на восходе солнца, и стража приняла её за сошедшую с неба.

– Кто ты? – спросил её Хаким, а она, глядя в глаза ему, ответила:

– Ты всё знаешь, как об этом говорят люди, ты должен знать – кто я и зачем пришла!

Тогда он, слепой в душе, сказал:

– Я хотел знать, не солжёшь ли ты, отвечая мне. Но я знаю – ты из Хороссана, где цветут лучшие цветы, и ты хочешь быть наложницей моей.

– Я – из Хандагара, – скромно сказала женщина, – но я буду для тебя тем, что нужно тебе...

– Твоё имя – Бануки, – решил Мокайма и ввёл её в шатёр свой, и полы шатра опустились за ними – с женщиной жарко и в тени.

Рассказывают:

– Семь дней и ночей наслаждался любовью хвастливый безумец, и вот собралось пред шатром его пятьдесят тысяч людей, поверивших в могущество Мокаймы, и стали просить люди:

– Владыка, – покажи нам славу и великолепие твоё!

Он повелел сказать им:

– Моисей хотел видеть меня и не мог вынести лучей света моего, один мой взгляд на земнородных – смертию убивает их!

Но они кричали:

– Мы готовы умереть, только бы видеть лицо твоё!

Тогда устранился Хаким бен Хеким и спросил сам себя:

«Что сделаю я?»

Но бог открыл женщине мысли его, и она покорно посоветовала господину своему:

– Собери всех жён и наложниц твоих, дай в руки каждой из них зеркало и поставь против солнца на холме за шатром!

Так и сделал он, и, когда лучи восходящего солнца отразились в сотнях зеркал, изумлённые люди пали во прах, жалобно взывая:

– Пощади, повелитель! Да не ослепит нас слава твоя!

И ещё более возгордился несчастный Хаким Мокайма, а Бануки вошла в народ и, показывая зеркала, говорила всем:

– Вот что делает славу владыки вашего, только это!

Но не поверили ей люди, и тогда Бануки, возвратясь в шатёр, сказала Мокайме:

– Они поняли, что ты обманул их, и от горя низверглись во прах. Смотри – встанут они и убьют тебя, а сокровища твои разграбят и смешают с грязью славу твою...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Устрашился Мокайма:

– Что же сделаю я?

– Ты – всё знаешь, – сказала Бануки, – ты знаешь, что бог за тебя и не даст огню пожрать жизнь твою; вели зажечь костёр на горе и войди в пламя его – кто тогда посмеет коснуться тебя? Кто не поверит чарам твоим?

Так и сделал испуганный безумец.

Рассказывают:

– Три дня и три ночи горел костёр, а когда янтарные угли его покрылись холодной солью пепла и пришли люди – Бануки сказала им:

– Он вошёл в огонь, чтобы очистить себя от лжи, я всё время стерегла, как он выйдет из пламени, но – не вышел он...

Так рассказывают в Самарканде о гибели великого обманщика.

II

Нет человека, который не хотел бы владеть Самаркандом!

Шир-Али, кривой нищий, тоже мечтал об этом, особенно – по ночам, когда тихий степной ветер пахнет травами, опьяняя, возбуждая безумные мечты.

Но и днём нищий нередко говорил беднякам, друзьям своим:

– Ах, если бы я был владыкой Самарканда!

Весь город узнал мечту Шир-Али, и люди, смеясь при встрече с ним, говорили друг другу:

– Вот этот, одноглазый, тоже хочет владеть Самаркандом!

Узнал о мечтах нищего сам Великий Хромой, Тимур-хан, – узнал и удивился жестоко.

– Несправедливо это, – сказал он, – несправедливо, если мечта героя доступна сердцу ничтожного нищего!

И запомнил он в глубоком сердце своем имя – Шир-Али.

А долго спустя, когда стены Самарканда пали под ударами железной руки Тимура и когда благая рука эта восстановила красоту города во всём великолепии его, повелел Тимур-ленг:

– Найдите нищего, по имени Шир-Али!

Привели одноглазого, и сказал Тимур, глядя на него глазами барса:

– Али! Известно стало мне, что небо и звёзды любят тебя, и решил я – да будешь ты счастлив на земле, да исполнится мечта твоя!

И приказал:

– Омойте нищего, оденьте его и поклонитесь ему – отныне он владыка Самарканда, как того хочет мой разум, как решило сердце моё!

Вот сидит Шир-Али на коврах, выше всех, весь в шёлке и золоте, – сидит, открыв рот, и одинокий глаз его не виден в радужном блеске драгоценных камней.

А пред ним стоят, преклонив головы, великие мурзы, воины, мудрецы и девяносто девять тысяч удивлённого народа.

И сам непобедимый стоит пред ним, прислушиваясь молча, как рыгает чисто вымытый, по горло сытый нищий.

И сказал ему Тимур-хан:

– Скажи нам что-нибудь, Шир-Али, счастливый человек, скажи нам лучшее, что ты носишь в душе твоей, знакомой со всяким горем, – в доброй душе твоей...

Подумал одноглазый и сказал:

– Добрые люди – подайте милостыню одноглазому нищему, подайте...

Долго молчали князя, воины, мудрецы, девяносто девять тысяч народа, и сам Тимур долго молчал. А потом, вздохнув, повелел:

– Повесьте эту кривую собаку на воротах города!

* * *

Есть люди, которые думают, что одноглазый нищий в последний час жизни своей – только в этот час! – был более мудр, чем победитель мира.

III

И вот что ещё рассказывают о Тимуре.

Когда он насытился славой, как Хороссан зноем солнца, он стал задумчив и немногословен, подобно мудрецу с берегов Ганга.

И, созвав однажды в шатёр свой величайших мудрецов земли, кратко спросил их:

– Мне нужно видеть бога, – как я могу достичь его?

Разные пути указывали мудрецы Тимур, но он жестоко молчал, отталкивая мудрых взглядом презрения.

Молодой мудрец далёкой страны Средиземного моря указал Тамерлану:

– Только разумный труд приводит к познанию мудрости божией!

– Это путь рабов, – крикнул Хромой, – укажи мне путь владыки!

– Бог познаётся созерцанием, – сказал седой старик из Пешавера.

Усмехнулся Тимур.

– Созерцание – сон души и бред её, ступай прочь, старик!

Византиец сказал, что путь к богу лежит сквозь любовь и терния любви к людям, но Тимур не понял византийца, насмешливо возразив ему:

– Тех, которые много любят, мы называем распутными, и они заслуживают только презрение.

Так он отверг все советы мудрецов и много дней был мрачен, точно ворон.

Но однажды, запоздав на охоте, он остался ночевать в горном ущелье, и вот, на рассвете, ворвалась в ущелье буря, осыпая его каменные бока огненными стрелами, наполнив горную щель степной пылью и тьмой.

И в громе, во тьме Тимур-ленг услышал спокойный Голос:

– Зачем я тебе, человек?

Понял Хромой, кто говорит с ним, но не уstraшилcя и спросил:

– Это ты создал мир, который я разрушаю?

– Зачем я тебе, человек? – повторил Голос бури. Подумал Тимур, глядя во тьму, и сказал:

– Родились в душе моей мысли, не нужные мне, и требуют ответов – это ты внушаешь ненужные мысли?

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Не ответил Голос, или не слышен был Тимуру ответ его в злом хохоте грома среди камней.

Тогда выпрямился человек и заговорил:

– Вот, я разрушаю мир, – весь он в ужасе пред мечом моим, а я не знаю страха даже пред тобою. Тысячи тысяч людей видели меня, а я даже в сновидениях не встречался с тобою. Ты создал землю, посеял на земле неисчислимые племена, – я поливаю землю твою кровями всех племён, я истребляю лучшее твоё, вся земля побелела, – покрыта костями людей, уничтоженных мною. Я делаю всё, что могу, ты можешь только убить меня, ничего больше ты не сделаешь мне, ничего! И вот – я спрашиваю: зачем всё это – я, ты и все дела наши?

Голос спокойно сказал:

– Придет час, и я накажу тебя...

Усмехнулся великий убийца.

– Смертью?

И Голос ответил:

– Страшнее смерти – пресыщением накажу я тебя!

– Что такое пресыщение? – спросил Тимур.

Но буря взлетела к вершинам гор, и никто не ответил Тамерлану.

После этого Тимур-ленг жил ещё семьдесят семь лет, избивая тьмы людей, разрушая города, как слон муравейники.

Иногда, на пирах, когда пели о подвигах его, он вспоминал ночлег в горах и Голос бури и, вспоминая, спрашивал лучших мудрецов своих:

– Что такое пресыщение?

Они говорили ему много, но ведь нельзя объяснить человеку то, чего нет в сердце его, как нельзя заставить лягушку болота понять красоту небес.

Умер великий Тимур-ленг, разрушитель мира, после великой битвы, и, умирая, он смотрел с жалостью в очах только на любимый меч свой.

Пожар

Наша улица – Мало-Суетинская – круто спускалась с горы к реке по двум сторонам оврага-съезда, вымощенного, точно на смех, неровно, крупным бульжником. По откосам овраг густо зарос лопухами, полынью, конским щавелём; в гуще пыльного бурьяна, среди сношенных опорков, черепков посуды и битого стекла, грустно прятались синие цветы повилки, розовые кисточки клевера, золотые звёзды лютиков и мохнатый одуванчик.

Съезд был непригоден для езды – даже пустые телеги сами собою катились вниз, подпирая лошадей, а спуститься с возом и подавно никто не решался.

Круглый год эта щель в земле была безлюдна, и хотя внизу гудел город, но казалось, что съезд ведёт за реку, в синевато-серую пустоту лугов. Только летом, в праздничные дни да жаркими ночами, доможители Мало-Суетинской вылезали из своих жилищ, располагаясь в бурьяне откосов для бесед, пьянства и любви, возбуждаемой не столько игрою здоровой крови, сколько желанием избыть скуку нищей жизни.

Улицей назывались две узкие полоски земли между линиями домов и откосами съезда. Старенькие дома, распухшие от обилия жителей, смотрели друг на друга через съезд водянистыми очами окошек недоверчиво или жались друг ко другу, не то осторожно спускаясь вниз, к простору широкой реки, не то с трудом восходя наверх, к тихому городу богатых купцов и строгих чиновников.

Тесно, точно кадки огурцами, дома были набиты мастеровщиной, всё – скорняки,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma жестяники, столяры и портные для лавок готового платья на балчуге [9]. Эти люди с утра до ночи создавали непрерывный шум – особенно выделялся стук деревянных молотков по листам жести и дробные удары тонких палок по шкуркам меха. Плакали дети, ругались женщины, безумно орали пьяные – жизнь Мало-Суетинской улицы, задыхаясь в тесноте и грязи, пела всем знакомую бесстыдную песню.

Все доможители не любили свою улицу: земля под окнами домов была заплёскана помоями, засорена разной дрянью, из подворотен выбегала мелкая стружка, текли грязные ручьи; в траве у заборов блестели обрезки жести, куски стекла, летом они вонзались в ноги детей.

Только раз в году, на троицу, домохозяева – не все, конечно, – сметали сор улицы измызганными метлами под откосы съезда.

И на стенах домов грязиросло не меньше, чем на земле. По субботам бабы старательно мыли полы, но от этого только кислый запах гнили растекался в воздухе да с утра до вечера на улице стояли лужи удивительно грязной воды.

Осенними ночами, когда в большинстве окон огонь погашен, а в некоторых ещё горит, улица, под дождём и ветром, становилась особенно унылой; дома, разбухнув, оплывали, везде хлюпала и ворчала вода; жёлтые пятна света ложились из окон на ручьи, ручьи сердито трепали эти пятна, стараясь погасить даже призрак огня. И вообще, всегда огонь в этой улице был тоже как будто нелюбим – мало его, затерян он в тесных клетках домов.

В улице жило человек двести, но наиболее заметными людьми считались трое: лавочник Братягин, бездельный юноша Коля Яшин и печник Чмырёв.

Братягин – вдовец, лет сорока пяти, крепкий мужчина с большими серыми глазами; серо глядя на людей, они, казалось, всё понимали, проникая прямо в душу, но были странно неподвижны – лицо Братягина сплошь заросло желтоватой шерстью, и глаза как будто заплутались в ней.

– Зна-аю я вас! – встряхивая головой, говорил он людям, и люди не сомневались в том, что он их знает.

Он читал «Мямлинский листок», и когда ключья старых номеров вместе с покупками попадали жителям, они тоже читали газету. К лавочнику ходили советоваться о домашних делах, жаловаться друг на друга, он охотно писал прошения мировому и уверенно говорил о России, о боге, о непорядках жизни.

– Живёте вы, как свиньи! – веско внушал он суетинцам; голос у него был громкий, и они, покорно вздыхая, соглашались с ним.

Он жил чисто, смиренно, одиноко, стоял среди суеты нашей улицы крепко, точно по колена в землю врыт. Знали, что, когда женщина помоложе и почище просила у него в долг, он, внимательно и молча выслушав её просьбы и жалобы, приказывал ей, кивая за прилавок, на дверь в свою комнату:

– Пройди туда, что ли...

Через некоторое время он выводил её оттуда и, брезгливо поплёвывая, отпускал ей товара не больше, чем на гривенник. Это – знали, но никто не осуждал вдового человека, а его оценка женской ласки не считалась нищенской в нашей улице.

Печник Чмырёв и Коля Яшин служили улице для забавы и осмеяния.

Над Колей издевались потому, что он был юноша скромный, болезненный, одевался франтовато, и хотя пел в церковном хоре, но не пьянствовал, как все певчие, и вообще в нём не замечали никаких пороков. Это возбуждало ревнивые подозрения улицы и даже несколько обижало людей, – все живут во грехе пред богом, все друг про друга знают что-нибудь худое, а он – беспорочен!

– Пройдёт с ним, – объясняли наиболее добродушные люди, – он – матери боится, а – помрёт мать, покажет Коля фокусы!

Он читал книжки и даже – говорили – сочинял стихи барышням Карахановым; их было семь, все они ходили в одинаковых платьях, и – должно быть, за это – улица звала

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
их – «семь дур Карахановых».

Когда Коля в праздники, перед вечерней, тихонько шагал мимо окон – все знали, что он идёт к «семи дурам»; их барский ветхий дом стоял первым при входе из города в нашу улицу, спрятан в саду, среди лип, покрытых лишаями. Стройный, маленький, похожий на подростка, несмотря на свои двадцать лет, Коля шёл, сконфуженно наклонив голову, пряча бледное лицо и покашливая в ответ на шутки. В руке у него тросточка с набалдашником в виде лошадиной ноги – наследство после отца, другая рука в кармане брюк, а из грудного кармашка тужурки торчит кончик платка – золотисто-жёлтый или алый, под цвет галстуку.

Из окон кричат ему:

– Эй, Яшин-мамашин! Чахотшный, эй!

И почти всегда – мальчишки и взрослые – простейшими словами спрашивали об одном и том же:

– Которую сегодня целовать будешь?

Коля идёт, как глухонемой, только иногда кашляет погромче да поводит плечами, точно его кнутом бьют.

Но его всё-таки не очень обижали, а вот о Чмырёве даже сами суетинцы говаривали:

– Терпелив печник, круглый чёрт! Другой бы на его месте в драку с нами полез, а то – кирпич в окно...

Чмырёв был человек коротконогий, толстый, его широкое лицо исчертили красные и сизые жилки, где-то среди них беспокойно и внимательно бегали маленькие чёрные глаза.

– Сафьяновая рожа! – говорили ему суетинцы, он останавливался и, загибая палец на левой руке, считал серьёзно:

– Раз.

– Утюг!

– Два.

Люди солили слова свои всё круче, но печник оставался непоколебим и всё считал:

– Шашнадцать. Ну?

– Пошёл...

Чмырёв смеялся сиплым смехом и говорил:

– Ну, как же вы? Да же разозлить человека не умеете! Чего же вы умеете?

И уходил, куда ему надо, поглаживая корявой рукою толстые волосы бороды, – борода у него точно из белёных ниток, прямая, серая и тяжёлая. Смешной особенностью печника было наянливое стремление внушать людям любовь к чистоте, благообразию, порядку. Это заметили за ним давно: однажды весенние потоки, выворотив булыжник съезда, вымыли на нём глубокие ямы, – печник тотчас же стал учить доможителей:

– Вы ба забили ямы-те мусором, а то сами же, пьяные, ноги ломать будите...

Он говорил об этом несколько раз, на смех людям, и, наконец, утром воскресного дня сам начал поправлять мостовую: наносил мешком мусора, песку, уложил булыжники и утрамбовал. Смешно и досадно было смотреть, как он возился с этим делом, на пользу городской управы, и много глумились над ним. Тогда и было замечено, что он – чужак.

– Дела надо делать прочно, надолго, – любил он говорить. – Мы на земле не одни живём...

Его спрашивали:

- А кто ещё, кроме нас?
- Чай – не все сразу помрём...
- Экой чудак! – удивлялись жители.

Особенно прославился он после своей распри с Братягиным из-за Лидуши Сувойкиной. Это была девушка-подросток, миловидная и очень набалованная матерью. Она считалась не в своём уме, после того как её мать, торговка старьём на балчуге, умерла в тюрьме, куда её посадили за сбыт краденого.

Однажды Лидуша, остановив Чмырёва на улице, опросила его:

- Как мне быть, Василий Лукич? – она знала, что с печником тоже иногда, шутки ради, советовались. – Лавочник говорит, что я сирота, бесприданница, да и полудурьё, так замуж меня никто не возьмёт, а шла бы я за него...

Чмырёв спросил:

- Тебе который годок-та?
- Пятнадцать скоро...

Через несколько дней в лавку Братягина явилась важная барыня с полицейским и очень напугала почтенного лавочника угрозами отдать его под суд.

Эта история сильно подняла Чмырёва в глазах улицы, но через несколько месяцев стало известно, что Лидуша поступила на содержание к мировому судье, – печник был снова жестоко осмеян, а Братягин уверенно говорил:

- Зна-аю я эдаких-то!

И даже обещал доказать, что Чмырёв сам сосватал девицу мировому, взяв с него за это пять с полтиной.

В сватовство улица не поверила, но печник навсегда упал в её мнению.

А кроме всего этого, раз в год – обыкновенно весной – Чмырёва настигал дикий запой и мучил его недели две, как чёрная немочь, валяя круглое тело по земле, в грязи, по камням мостовой.

- Свинья! – говорил Братягин, стоя на страже у двери лавки своей и спрятав руки под передник, всегда – чистый.

Суетинские мальчишки ездили на пьяном печнике верхом, а он, ползая на четвереньках, дико орал:

- Бож-жа мой... Б-бо-жа!

Весною, когда земля оттаёт, люди тоже как будто становятся мягче.

По вечерам и в праздники суетинцы поднимались к забору Карахановых и на пустырь против него, садились на кучи мусора, торчавшие по пустырю серыми могилами, и смотрели вниз, на реку.

Сбросив серо-синий лёд, река разлилась далеко по лугам и покрыла их мутным стеклом до чуть видной на краю земли белой церкви села Толоконцева. Кое-где стекло как бы разбито, и сквозь него проросли кусты, вершины деревьев, высунулись крыши каких-то хижин. В одном месте над гладью половодья стоят три кудрявых дерева – одно к одному, как три брата, утонув вплоть по нижние сучья.

Над рекою, в зеленоватом вечернем небе, между последних облаков зимы сверкает юное солнце, золотые лучи ласково греют воду, местами она – как расплавленное олово.

Белым дымком стремительно бегут по небу клочья облаков, серые тени лёгкой кисей глядят реку против течения, ветер – на север, а река – на восток. В широких далях водной пустыни снуют рыбацкие лодки, как мухи на стекле, буксирный пароход тяжело тащит из затона пустые тупоносые баржи, лебедем спускается по реке белый пассажирский, взбивая пену красными лапами. Сверху реки, звено за звеном, плывут плоты, тёмные куски эти – точно острова на воде; думается, что земля тает, как лёд, отрывается сама от себя и спешит уплыть скорее к тёплому морю, ближе к ласковому солнцу.

И как будто все на земле передвигается – дома, деревья медленно подставляют озябшие бока вешнему солнцу, так же осторожно и скрыто-радостно, как делают это наши суетинцы.

В саду Карахановых набухают почки, рыжеватые ветви становятся жёлто-зелёными, вороны шумно поправляют гнёзда, растрёпанные зимними вьюгами. По откосам съезда, среди острой щетины робких трав, светятся золотые цветы бедняков – одуванчики, любимые детьми. И даже между серых камней мостовой выползают на солнце какие-то бледные стебли. На пустыре, на серых холмах, среди кусков ржавой жести, высунулись ростки полыни, и в густом запахе гнили уже слышен её острый горький запах. Скромный подорожник стелется под ногами, раскрашивая грязные тропы своей яркой зеленью, и всюду победно вздымается к солнцу новое, юное, ласковое.

Обновилась земля и стала точно девушка, на крепком теле её явились тонкие шёлковые волосы, радостно и стыдливо волнуя ещё не проснувшееся сердце матери. Всюду оживлённо прыгают воробьи – самая бесстрашная птица, яростно играют дети, выпущенные из долгого плена зимы, безумно рад солнцу тонконогий народ, и с каждым днём всё больше краснеет кровь его, посиневшая за зиму в ядовитой духоте тесных грязных комнат.

Кричит наша улица. Вылезли тяжёлые женщины, зимняя любовь «от нечего делать» наградила их новыми беременностями, стоят они у ворот и, открыв вялые синие губы, жадно дышат новым воздухом, рассказывая друг другу о своих болезнях, о болезнях детей, о том, как дороги дрова и хлеб, как изнурительна работа, грубы мужья, хвастаются хорошими сновидениями... Но много есть таких, что и снов не видят никогда.

Мужчины пьют водку на пустыре, играют в карты – в три листика, ругают свою работу, хозяев, а те, кто посолиднее, собрались у лавки Братягина.

Где Братягин, там и Чмырёв; враги, они всегда друг против друга, и если Чмырёв беседует у забора Карахановых, Братягин сам пойдёт туда дразнить его. А где Чмырёв, там неизменно Коля Яшин прячется за чью-нибудь спину и слушает акающую речь печника.

– Теперь – возьмём строение, – говорит Чмырёв, ковыряя воздух тяжёлой рукой с тупыми пальцами. – Что это будет – строение? А понимай – всё. Божий ли храм, дом ли – жилища наши...

Кто-то из доможителей насмешливо вставляет:

– Храм – одно, а дом – другое...

Чмырёв сипло кричит:

– Постой, погоди – как другое? Во храме – дети божий и в доме они жа!

– Какие мы дети божий...

– Погоди – это зависимо от того, как на себя взглянуть...

Тут Братягин вставляет веское слово человека, знающего людей:

– Во храме – ни псы, ни свиньи не живут!

– Во-он что? – кричит печник. – Ты думаешь – коли обругал сам себя, то и прав пред богом, пред людьми?

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorki.ua
– Да я – не себя...

Но Чмырёв идёт на грудь ему, как мордвин на медведя:

– Стой! Ежели все псы да свиньи, тогда – и ты!

Лавочник, видя, что встал на спор неловко для себя, отходит прочь, говоря:

– Эх, обормот!

– То-то жа! – победоносно кричит Чмырёв и снова начинает. – Ну, вот, значит – строение. Что такое?

– Вези дальше!

– Ну, трактир, скажем, ну? – торопит публика.

– Отчего жа именно – трактир? – смущённо спрашивает печник.

Публика хохочет.

– Эх ты, судак-малосол! – кричит кто-то. Коля Яшин пробует поддержать печника и, покашливая, напоминает:

– Ведь Лукич – всегда об одном, вы знаете его мысли...

– То-то вот и есть, что всегда юрнду сеет, – кричит со стороны Братягин.

Он рассуждает проще, понятнее Чмырёва, особенно крепко звучит его глуховатый голос у дверей лавки.

– Живёте вы, как свиньи бестолковые, в грязи, в безобразиях, чешетесь обо что попало. И ежели подохнете все сразу – никакого убытку Россия не потерпит.

С ним соглашаются:

– Верно, не потерпит...

– Кто вы такие для бога?

– Н-да... Не жалко нас господу...

– А за что вас жалеть?

– Конечно... Куда уж...

– То-то вот! Знаю я вас!

Он такой плотный, Братягин, люди чувствуют, что его презрение к ним – неборимо; все они не любят лавочника, но уважают и боятся его ума.

– Вот, – внушает он, потряхивая газетой, – завели, на велик грех, Думу, собрали туда разных этих... десять целковых в сутки на рыло, а их – около пяти сот! Стало быть – в месяц вынь да положи на них полтора ста тысяч, а ежели в год – так это уж восходит до двух миллионов. Да – квартира, да то, да се... Вот они куда идут, ваши деньги, а вы...

Думу он очень не любит и говорит про неё охотнее всего, всего злее.

– Раньше, бывало, эдаких-то в Сибирь да в каторгу засылали, а ныне – получи десять целковых в день и ори всё, не сходя с места! Раньше умней было да и подешевле. А теперь – хотим жить, как за границей, в стеснении и со стыдом. Русский должен по-русски жить, своим умом, а не чужим примером. Заграница-то вся до нас за хлебом идёт.

Коля Яшин и Чмырёв иногда пытаются возражать лавочнику:

– Дума, – тихо говорит Коля, – это сделано для общего согласия интересов...

Но лавочник суёт ему в нос газету.

– На-ко вот, найди мне – где оно, согласие-то!

А Чмырёв сипло кричит:

– Ежели люди домыслят – что есть строение... ежели и кирпич правильно положен – крепко лежит...

– Ты «Листок» читать умеешь? – строго спрашивает Братягин.

Чмырёв неграмотен и молчит, дёргая себя за бороду.

Суетинцы смеются.

Иногда наверху, в начале улицы, точно семь гусынь, являются семь дур Карахановых; впереди – старшая, Серафима, коротенькая и толстая, как Чмырёв, лицо у неё обрюзгло, губы смешно надуты; за нею – двоешки: Нонна и Римма, сухонькие, юркие, с накрашенными щеками; потом – косоглазая Софья, чёрная, как цыганка, и, точно из дощечек, сложена из плоских костей. За нею, пританцовывая и жеманясь, идут младшие – Вера, Надежда и Любовь, – особенно уродлива толстогубая, курносая Любовь, с калмыцкими глазками. Известно, что они живут в постоянных ссорах и одеваются одинаково из ревнивой зависти друг к другу.

Разного роста, они останавливаются у входа в улицу, как солдатики нестроевой роты, смотрят на половодье разными глазами и о чём-то шепчутся, поворачивая друг ко другу несчастливые лица.

Может быть, суетинцы за то и не любят их, что все они так некрасивы и напоминают о несчастьях, о тяжёлой, запутанной жизни.

На Мало-Суетинской знают их историю. Генерал Измаил Караханов женился на вдове Люташкиной с дочерью, но оказалось, что вдова ещё до свадьбы была беременна и через шесть месяцев, родив двойню – умерла. Тогда генерал запил от обиды и женился во второй раз на девушке, дочери тюремного смотрителя Певцова, а Серафима, дочь первой жены, встала в доме за экономку и воспитательницу своих сестёр. Вторая жена генерала, родив в пять лет четырёх девочек, тоже начала пить и, спившись, умерла в один год с мужем. Так и остались на свете семь дур, одиноки и осмеяны.

Мальчишки, видя смешную линию этих девиц, начинали весело петь песню, сложенную нашей мастеровщиной:

Семь веников идут,
Сами улицу метут,
Они шаркают, пылят,
Уважать себя велят!
Они гузками трясут...

– Allons, m-elles! [10] – говорит Серафима сёстрам, и все они уходят к себе в сад, медленно и важно, как гусыни. За ними виновато шагает Коля Яшин, глядя в землю, а вслед Коле – свист и крепкие слова улицы.

– Сорьё! – кратко говорит лавочник, глядя на девиц.

Жители торчат у лавки Братягина вплоть до позднего вечера, слушая твёрдые слова умного человека. Изредка они осторожно спрашивают его о чём-нибудь, но больше молчат, поглядывая вниз на реку.

Там быстро, по-весеннему, творятся разные чудеса, навевая на душу задумчивость и лень. Солнце давно окунулось в красное море половодья, вода в лучах – точно багровый бархат, на нём чёрным узором – ветви затопленного кустарника. Веет сыростью, дымом пароходов, шум города внизу и вверху становится мягче, приглушённый влажным воздухом.

Из далёких лесов за лугами осторожно поднимается ночь, скользит по воде и стирает яркие краски вечерней зари. Вспыхивают звёзды, их острые отражения, вонзаясь в реку, кажутся потерянными лучами ушедшего солнца. Потом, выкатываясь

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyта
из-за чёрных домов города, в синее небо выплывает молодая луна, река блестит
медью, – если подплыть в лодке к этой медной полосе и ударить по краю её веслом,
в ночи разольётся гулкий, длительный звон.

Ночная тьма приятно ласкает усталые за день глаза, тишина баюкает душу, как
родная мать.

Из тёмной дали, оттуда, где потонуло солнце, с верха реки, тихонько спускаются
красные огни; едва заметные сначала, они подплывают всё ближе, становятся ярче,
больше, и вот видно, что это горят костры на плотках, радостно мечется
густо-красное пламя – в чёрных космах дыма смеётся чьё-то здоровое, доброе,
мохнатое лицо.

Слышен тревожный бой деревянного била по чугунной доске, слышен радостный
зверинный рёв и вой плотогонов, – они обязаны давать сигналы по ночам и
пользуются этим – режут во всю власть души.

Суетинцы смотрят на эти огни, слушают буйный крик плотогонов и негромко говорят
друг другу:

– Эко орут...

– Дикой народ...

– Лесовики... конечно...

Но плоты исчезают вместе с огнями, неутомимое течение тёмной реки быстро смывает
всё. Снова на ней тихо, пусто, и в тишине этой сладостно тонет душа.

Иногда ночь бывает так мило чудесна, что уж не хочется, чтобы миновала она, и не
надо солнца, а сидел бы на горе, любясь рекою, до часа, когда незаметно уснёшь
на веки веков.

Весенними ночами Яшин и Чмырёв нередко оставались на улице до рассвета.

– Мне – тихий воздух нужен, – объясняет Коля свою бессонницу. А печник любил
беседы в ночной тишине и во тьме, – тьма и тишина делают улицу, землю и всю
жизнь более благообразной.

Там, где забор Карахановых загибался тупым углом к неровной линии домов, у
забора лежал толстый обрубок липы, сажени полторы длиной, он лежал на трёх
сучьях, ушедших в землю по основанию, и был похож на безголовую лошадь о трёх
ногах.

На нём и сидели друзья – наиболее бессонные и беспокойные люди Мало-Суетинской.

– Что, Коляга, как дела? – спрашивал Чмырёв, поглядывая на реку, а река – точно
бездонная пропасть, налитая густым воздухом.

– Да так, ничего, – отвечает Коля, зажигая папиросу. Он тоже смотрит вдаль
голубоватыми глазами, его скромное, невесёлое лицо задумчиво, как всегда.

– Ну, а с девицами – как?

– Всё так же...

– Играешь?

– Со старшими. В винт.

Чмырёв добродушно смеётся.

– Винт! Это – картёж, я понимаю.. Я спросил в простом смысле – как, мол, –
трогаешь?

Коля молчит, глядя на красный угасающий огонёк папиросы, потом с досадой,
жалобно рассказывает:

– Они сами всё заигрывают со мной, особенно – Софья, она и коленками под столом и ногами... А мне она не нравится. Мне – Надежда нравится, она самая кроткая и всему верит. Только – капризная она чрезвычайно: обожаю, говорит, финики. А принесёшь ей – фыркает: я, говорит, терпеть не могу фиников, а только винные ягоды... Удивительная... Остальные – бог с ними!

– Вот, Надежду и приспособь, – доброжелательно советует печник. – Всё едино – замуж им некоторой не выскочить, перестарки они и немилые...

Ему нравится учить юношу обращению с девицами, он говорит охотно, с большими подробностями, как человек, который знает и любит дело.

Семь звёзд Большой Медведицы высоко в небе сверкают так ярко, точно рады видеть весеннюю землю и широкий водный поток среди неё.

Медлительно покуривая, Коля говорит:

– Какой я жених? У меня – чахотка...

– Разве я про то? – удивлённо восклицает Чмырёв. – Али ты не слушал? Я тебя в женихи не прочу, а так советую – поиграй, веселей будет! Им – всё едино...

Внизу, в городе, ещё не заснули – торопливо катятся пролётки по камням, хлопают двери. Слышится глухое сердитое рычание, тяжёлая возня, посвистывают пароходы на реке, кто-то шлёпает по воде широкими ладонями.

– Жалко мне их, Василий Лукич! – говорит Коля с тихой досадой. – Кабы можно, то есть если бы я был здоровый человек и распутный, то я бы со всеми ими связался – честное слово!

Печник добродушно смеётся.

– Со всеми? Ах ты...

– Ей же богу! С одной, с другой... Вот – пожалуйста! – семь любовниц в одном доме.

– Ну, смешной ты!

– Это ведь верно, я вижу – замуж им очень хочется! Природа требует послушания, на неё не цыкнешь, природа-то – не собака, сами знаете! А мужчин около них – двое, я да штабс-капитан Заточиллов, а ему – пятьдесят, и робкий он...

– Добряга ты, Коля! – задумчиво говорит Чмырёв. – Доброму человеку – трудно жить!

Коля просто соглашается:

– Да, трудно! Если бы не мамаша, я бы уехал куда-нибудь. В Астрахань, например...

– Отчего – в Астрахань?

– Всё-таки... там – персиане!

– Н-да, персиане – другой народ...

– Мамаша очень стесняет меня. Конечно, у неё ноги отнялись и может она только салфеточки вязать, но меня – она связала удивительно. Из-за неё и реального не кончил я, из-за болезни мамашинной. И товарищей нет. Товарищ требует расхода, а я даже в библиотеку записаться не могу...

Чмырёв слушает, запустив пальцы в бороду; ночью борода его кажется грязной, как паутина. Внизу, по гладкой темноте ползёт большой чёрный таракан с огненными лапами, – ползет против течения масляной воды, оставляя за собою серую тень, и дышит искрами. В луга – далеко – выехали рыбаки, лучить рыбу, плавают в пустоте огни.

Звучит тихий голос:

– Ежели бы я был здоровый человек, то полюбил бы какую-нибудь очень тихую девушку, и лежала бы она у меня на коленях, а я бы ей рассказывал всё, о чём душа моя думает... Я бы с нею, знаете, стихами говорил обо всём, ей-богу, честное слово!

– Это – ничего, стихи девице всегда по душе, – одобряет Чмырёв вполголоса.

– Странно это мне, Василий Лукич, рождаются люди, живут в беспокойстве и вопреки судьбе, а – к чему? Какой же смысл? Я думаю – каждая жизнь должна иметь свой смысл...

– Д-да! – говорит печник уверенно, как Братягин, но мягче, ласковее. – Верно, смысл не понять, расчёту – не видно! Вся эта улица наша – ни к чему, сгореть бы ей дотла!.. Лавочник – собака в душе своей, а говорит правильно: живут люди наподобие скотов! То есть – до чего я не люблю улицу эту, сказать не могу!.. Грязища, пьянство, распутство, ни тебе дети – при уходе, ни старики – в чести! А – бабы? Дотронуться нельзя! Всякая гулящая аккуратней живёт, чище держит себя... положим – у наших баб работа, а те... ну всё-таки ж! Надо ж себя маленько уважать... а то – в деревнях лучше живут! Там, брат, всё-таки...

Подумав, он добавляет:

– Там немножко жалости есть друг ко другу...

– Здесь – не жалеют, – соглашается Коля, снова зажигая папиросу, и круглыми глазами смотрит в чёрно-синюю глубину. – Надо мной – смеются, над вами – тоже...

– Смеются – не беда! Кабы умели! А ведь не умеют смеяться-та! Али смешно штаны с пьяного снять, рожу ему смолой намазать или, скажем, обругать человека? В чём тут веселье? Они, брат, не от веселья смеются, а от дикой своей скуки – вот что! Эх, не уважаю эту улицу, гори она дотла!

– И я не люблю, – снова соглашается Коля.

Оба долго молчат. Потом юноша тихо мечтает:

– Как только мамаша скончается...

Но печник безутешно прерывает его:

– С твоей душой, брат, тебе везде одинаково будет, душа у тебя – девичья...

Огонь папиросы, вспыхивая всё чаще, дрожит. Откуда-то из города, сверху, доносится пение, тихий плеск медных струн рояля – неясные, малознакомые звуки другой жизни.

– Я говорю ей, – вдруг начинает Коля, – что же вы, Надежда Измаиловна, на рояле не играете? А она – для кого же, говорит, мне играть? Для вас? Так вы в музыке ничего не понимаете.

– Ишь какая, – замечает Чмырёв, усмехаясь.

– Да. Они все такие. Очень злые и обо всём говорят прямо, даже стыдно слушать иной раз. Образование получили, а грубостей не презирают... А ведь верно – для кого играть?

– Нет, – говорит Чмырёв, – это не так! Всегда кто-нибудь найдётся, ты – поищи! Нет, браток, надо размышлять иначе. Человек должен жить сердечно, даже в церкви говорится: возводи сердце в гору! А мы его – в грязь, а то – прячем! Ты сердца не скрывай, эдак-та никакого соединения не будет.

Чмырёв говорит долго, с великим напряжением, но понять его трудно. Коля и не заботится об этом – не впервые слушает он запутанную речь, и ему тоже, как Братягину, иногда кажется, что печник говорит «юрунду». Но понимая, что за тёмными словами живёт какое-то доброе чувство к людям, к нему, Коля изредка сочувственно, как можно ласковее вздыхает.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Да. Конечно...

– Ежели что строится, так оно – не зря. Это – надо понять, а без понятия – всё будет вроде твоих бесплодных девиц, все люди – бесплодные и больше ничего. Понял?

– Да, да...

– Следственно – надо доверять людям. Я не про наших, наши люди – пустяки, пустой народ, без ядра. А кто строит, тот дорого стоит...

В бесформенной русской душе медленно кружатся, путаются косноязычные мысли, это мысли – старые, христианские, заношенные миром, загрязнённые, но для печника они – новы, он считает их рождёнными его сердцем, они убивают его сон, беспокоя своей тяжёлой возней.

Иногда Чмырёв вздыхает, глубоко и тоскливо:

– Эх, кабы грамотен был я да кабы научен, доказал бы я все начала, ей-бо-о!..

Коротка ночь, – ещё недавно погасла заря вечера, и недавно лунный свет лежал на реке, размахнувшейся по лугам, а вот уже на востоке светлеет, и семь звёзд Медведицы потеряли свою яркость. Луна где-то сзади, над городом, река под тенью его черна и бархатна, а вдали – посветлела, и видно, как на рябой воде скользят лодки.

Тянет утренней свежестью, запах её победно заглушает едкие запахи улицы, и только теперь понятно, как они тяжелы.

В монастыре звонят к заутрене, Коля смотрит в небо и говорит, смущённо улыбаясь:

– Вот когда звон в лунную ночь, так мне кажется, что это по луне бьют...

– Жизнь наша недовольная, – ворчит печник, – улица эта – пропади она... Братягин, побей его бог... Грабитель! Ну – грабь, чёрт с тобой, да – не дави ты мне душу! А он – на душу наступает... Называются люди, туда же... Удивительное дело, до чего противно всё это душе, право...

Точно напевая забытую песню, Коля вполголоса, с напряжением лепечет, покачивая головой в аккуратной фуражке:

...Что час – то жизнь моя короче,
И с каждым днём трудней она,
Уже прошёл я путь мой краткий
И ничего в конце не жду!
Так неразгаданной загадкой
В сырую землю я сойду.
Я жил, как тень, средь серых теней,
Во всем покорствуя судьбе,
Умру – ни слёз, ни сожалений...

– Грустно говоришь, – перебивает печник. Коля сконфуженно и кротко извиняется:

– Да ведь это так только, для забавы...

Зябко передёрнув плечами, он приподнимает воротник тужурки и, глядя вдаль, молчит, губы его шевелятся, точно юноша считает угасающие звёзды, а Чмырёв бормочет:

– Ты – чёрной мысли не предавайся! Все погрём, тут хвастать нечем. Помереть и комар – мастер, а ты вот ухитрись поживи хорошо. Я те докладую – строение...

Зацвела заря, высоко в зеленоватом небе озолотились края перистых облаков, светлые пятна ложатся одно за другим на половодье. Чёткие удары монастырского колокола так странно ясны, что, кажется, можно видеть в воздухе колебания их – сначала медная пыль звука летит облаком, густо и быстро, потом дымок её становится прозрачнее и пропадает, истончаясь до невидимого, до неслышного...

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Пожар на Мало-Суетинской улице возник за полночь, после успенья, приходского праздника. Загорелось у столяров, в подвале двухэтажного дома скорняка Сычёва; огонь выметнулся из окон на улицу вдруг, точно всхлынул из недр земных, и сразу поднял ветхий дом с земли широкими красными ладонями.

Дом, переживший множество зимних вьюг, ошипанный морозами, оплаканный дождями, старчески закричал, греясь в пламени; затрещала, отскакивая, его обшивка, тёс, не однажды покрашенный масляной краской; дом точно раздевался в огне, сбрасывая грязно-рыжие доски, в огненных языках и синих струйках дыма.

Лопались стёкла, издавая резкий звук, из тёмно-багровых окон высовывался подушками тяжёлый серый дым, а за ним – огонь, загибавший вверх красные цепкие лапы с острыми когтями.

Кто-то вышибал рамы верхнего этажа, в одном окне появился гробообразный чёрный сундук и упал сквозь огонь на улицу, в костёр тёса, наличников и ставен, горевший у стены дома. За сундуком в окно высунулась волосатая фигура в белой рубахе и тонким голосом крикнула:

– Гори-им!..

По двору забегали тёмные люди, и вместе со звоном стёкол, треском дерева слились истерические, тоже стеклянные, вопли женщин, визги детей.

Большинство мужчин улицы было пьяно, но этот первый внятный крик как будто отрезвил пьяных, разбудил сонных, к дому Сычёва стали сбегаться, завертелись перед огнём багрово освещённые человечки. Маленький мужичок схватил горящую доску, сбросил её под откос в бурьян, уже высушенный солнцем, и тотчас по бурьяну полетели жёлтые мотыльки, серые стебли полыни унизались жемчугом, алые цветы вспыхнули на метёлках щавеля.

Быстро сбегалась публика из города, чёрной тучей мух она облепила узкую полосу земли по ту сторону съезда и кричала оттуда.

И на той и на другой стороне было весело; шутили праздные люди из города, шутили и наши суетинцы, пьяненькие и беззаботные, видя, как на дворе Сычёва хозяева и постояльцы суются в огонь и отскакивают прочь, закрывая глаза руками.

На женщине затлела юбка, она приподняла её и стала мять руками, показывая голые, дрожащие ноги, это – показалось смешным.

Смеялись и над маленьким рыжим Сычёвым, – пьяный, в одних подштанниках и рубахе, он прыгал перед домом, плевал в огонь и, рыдая, лаял:

– Гори-и, пропадай, дуй... Кто наживал? Я наживал! Гори, чёрт дери...

Дом стоял, точно котёл в костре, сыпались золотые угли, взрывало крышу; в густоте багрового дыма, в красной пыли искр, высоко взлетали головни, падая на мостовую съезда, в бурьян. Как будто все маленькие огни, погашенные людьми этой улицы, тихонько, подземно собрались, соединились в одно непобедимое пламя и вот запели жаркую песню свободы и мести, разрушая грязные, душные клетки людей.

Сычёв быком лез в огонь, точно бодая его, волосы на голове опалило ему, они спеклись, покрылись серо-жёлтой коркой; он подскакивал, наступая на угли босыми ногами, и орал, грозя кулаком:

– Гори-и!

Кто-то большой взял его под мышки и унёс, как чёрт грешника.

Выбежала простоволосая старуха и, махая на огонь иконой в белой ризе, басом запела:

– Ма-атушка, пособница-а, угомони-ка ты силу дьявольску – у...

Её седые короткие волосы тянулись к огню, шевелились и краснели, точно загораясь, а серебро иконы отражало острые лучи.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Вдруг вспыхнуло ещё дома через три, на задворках, люди шарахнулись туда и завывли отчаянно, поняв, что пожар будет немалый. Сквозь горящий бурьян, под откос посыпались ребятишки, но это уже не возбудило смеха и шуток публики.

А через несколько минут загорелось и за спиною зрителей, на другой стороне съезда, – на дворе Братягина, раздался хозяйский, отчаянный рёв лавочника:

– Родимые – сарай... керосин, масла...

Чёрная толстая линия людей разорвалась против лавки, хлынула вверх и вниз улицы – стало видно окна Братягина, дверь лавки. Стёкла, отражая пламя, точно приманивали его, а со двора густо и уверенно поднимался к мутным звёздам серый жирный дым.

Прошло с полчаса, пока появилась первая пожарная команда, но насосы и бочки воды не могли подъехать близко к домам, воду подавали с мостовой вверх по откосу, охотников качать было недостаточно.

С обеих сторон улицы жители сбрасывали под откосы мебель, узлы, какие-то ящики, всё это катилось под ноги пожарных лошадей, пугая их. Брандмейстер, закинув голову, приставил ко рту медный рупор и кричал направо и налево:

– Не смей бросать ничего, дьяволы!

Съезд был забит тёмной массой людей, головы у всех красные, лица колебались, под ногами катались кадки, стулья, подушки, в куче всё прибывавших вещей яростно топтались медноголовые пожарные, трещала мебель, хрустела посуда, тревожно звонили колокольчики, лошади, всхрапывая, трясли гривами и, оскаливая зубы, косились на людей глазами, отражавшими огонь.

Три костра поднимались к небу с весёлым треском и воем, дома таяли и плавилась в красных взрывах пламени, по крышам бегали золотые гребни, золотые птицы летали в тучах дыма, и, отчаянно каркая, над садом семи дур Карахановых шарахались большие, обеспокоенные вороны, сбивая крыльями с деревьев иссохший лист.

Красная метель гуляла по улице, огонь празднично разыгрался и творил непонятное, чудесное. Вот взвевало в синеватом воздухе широкое полотнище кумача, наклонилось к дереву, и дерево сразу зацвело алыми цветами, а через минуту оно уже – чёрное, и тонкие сучья его курятся сизыми струйками дыма, точно восковые свечи, только что погашенные чьим-то дуновением. Дымится голубым дымом ярко освещённая крыша, и вдруг откуда-то с неба невидимо спускаются на неё весёлой стаей трепетных птиц лоскутья пламени, бегут по тёсу до конька крыши и украшают его острыми зубьями. Пламя вздымается снизу, занавешивая стены домов, изгибаясь змеей, заглядывает с крыши в окна, точно вызывая кого-то из дому, чёрный дым густо течёт сквозь переплёты рам, они вспыхнули и сверкают в окнах жемчужными крестами.

Стена дощатого сарая вся разубрана золотым позументом, из щелей выползают гибкие змейки огня, свиваются в пурпуровые клубки и катятся по стене вверх и вниз, падают на чёрную землю и лижут её.

Горячий воздух жёг лица людей, пытавшихся что-то вытащить из огня, они бегали перед ним по узкой полосе земли, осыпанной углями, под дождём искр, корчились, приседали к земле, вскрикивая, и катились под откос, куда вместе с ними спускался тошный запах горелой кожи, шерсти и тряпок.

Стеклянная дверь лавки Братягина висела на одной петле, из её чёрной внутренности медленно истекали сизые струи дыма, лавочник метался с улицы в лавку и обратно, вытаскивая ящики, жестянки, мешки, и сваливал всё это в кучу, на край откоса, под искры и угли.

– Таскай, – кричал он десятку людей, помогавших ему, – родимые, соседушки – таскай!

И ненужно взмахивал правой рукою, растрёпанный, страшный и жалкий.

Было светло, как днём, нестерпимо жарко, душил дым, выщипывая глаза людям, бушевал, всё усиливаясь, шум и гул; в одном месте куча людей, закинув на горевшую стену длинный багор, дёрнула его за верёвку и кричала:

– Ой – раз! Ой – раз!

Коля Яшин, сидя на столбе забора Карахановых, смотрел на всё прищутив глаза, быстро смахивал слёзы, выжатые дымом, кашлял и непрерывно говорил, в радостном удивлении:

– Смотрите, пожалуйста, смотрите!

Дом, где он жил, уже сгорел, его мать лежала в кухне девиц Карахановых. Сад девиц завален имуществом погорельцев, забит женщинами, детьми, везде на жухлой траве одежда, перины, подушки, на них – возятся плачущие дети. Шесть дур носились по саду, возбуждённые, растрёпанные, утешая женщин и детей, дружески перекликаясь сестра с сестрой, и у всех, у каждой, явилась серьёзная, материнская забота о людях, умение помочь им в беде.

Только одна Надежда сидела на заборе рядом с Колей и всё спрашивала его о чём-то, тихонько и пугливо. Но он не слушал её слов, указывал рукою на улицу, стараясь раскрыть глаза как можно шире.

– Несчастье ведь, а со стороны глядеть – точно праздник, и все играют, удивительно, право... Смотрите – у лавки сидит человек на корточках и ест изюм – вон как! А мальчишки – точно ласточки... Как Братягин суётся в огонь... Наша мастеровщина ничего не делает – видите, сколько собралось? Работают люди всё из города, а наши – как чужие сами себе... Ах, господи...

Раздался странный звук – мягко лопнуло что-то, над лавкой Братягина широко взметнулось пламя и покрыло всю её багрово-жёлтой шапкой; от лавки отскочило несколько тёмных фигур, потом ещё одна вырвалась из двери, из-под огня, и стремглав сбежала под откос, а вслед за тем несколько голосов крикнуло впереводку:

– Люди в лавке – воды, эй!

Коля тоже крикнул:

– Я говорил...

Он спрыгнул с забора и поспешно бросился к лавке. Из-под откоса, под ноги ему, вылез на четвереньках Чмырёв, оборванный, мокрый с ног до головы, страшно блестя глазами, он крикнул в лицо Коле:

– Бегём!

Яшин схватил его за надорванный рукав рубахи, оторвал рукав совсем и вытер на бегу влажной тряпицей вдруг и обильно вспотевшее лицо.

– Ползи! – снова крикнул печник, ложась на живот перед огненной рамой двери. – Кричи – воды!

И, скрываясь в двери, как огромная жаба, завыл сипло:

– Воды-ы!..

Коля тоже сунулся в мягкий поток дыма; в спину и затылок ему больно ударила струя воды, столкнула с ног, он опрокинулся на четвереньки и полез в жаркий дым, кашляя, вскрикивая:

– Где? Василии Лукич...

– Тащи! – хрипел невидимый печник.

Шипела вода, дым затыкал рот, точно мокрая тряпка, прижимал к полу, наваливаясь на тело горячей периной, бил по голове частыми мягкими ударами, обессиливая с каждой секундой.

Сквозь веки Коля видел багровое, и ему казалось, что он тонет в густой, горячей крови, захлёбывается ею и вот сейчас нырнёт в жаркую глубину её навсегда.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Эх, – взвизгнул он от страха, извиваясь на полу, слепой, обессиленный, и тотчас наткнулся на большой, тяжёлый сапог. Приподнял его, нащупал чью-то другую ногу, впрягся в них, привстал и пошёл встречу воды, крепко закрыв глаза, стараясь согнуться как можно ниже.

Точно собака лизнула горячим языком – обожгло ухо, щёку, огонь красно заглянул в глаза сквозь веки, но тотчас же в горло хлынул воздух, тёплый, неиспытанно вкусный, он сразу выпрямил скорченное тело, заставил открыть глаза.

– Как из могилы вылез, – сказал Коля кому-то, кто крепко обнял его и повёл за собою.

Юношу мучительно бил кашель, кружилась голова, подламывались ноги, сердце трепетало, точно обожжённое.

Потом он увидел себя снова под забором Карахановых, на липе, рядом с ним сидел чёрный печник, без бороды, без бровей, полуголый, весь мокрый и в грязи, только одни глаза чистые.

– Я, брат, с самого начала действую, – говорил он, отплёвываясь кровью. – Пьяных вытаскивал, хозяйство, ребятишек. Сил даже нету! Ты ожёгся ли?

– Ухо, кажется...

– Ухо – ничего! А меня – гляди, как опалило! Прямо – вроде свиньи... Ну, айда помогать!

Пошли под красным небом, взявшись за руки, Чмырёв шагал и отплёвывался.

– Зубы мне вышибли, чёрт! Нет, каков народ, драть его горой? Стоят, как у праздника, а боле – никаких! Я кричу: «Братцы, что вы – воду жа качать нада, помогать нада!..» – «Мы, говорит, погорельцы!» Будто – погорели, так уж именинники. И чему погореть? Охи да блохи, и – всё имущество. Не народ, а пустяки, пустое место... А бабы-та? Ну, смешной жа народ, бабы эти...

В небе колебалось зарево, дым как будто подпирал его, поднимая всё выше, внизу сверкала багровая полоса реки. Коля, точно сквозь сон, смотрел, как огонь на земле доедает груды брёвен, досок, стропил, грызёт раскалёнными зубами ворота, заборы, бегают по откосам и жнёт бурьян золотыми серпами. Колокольчики пожарной команды беспокойно звонили, будто внутри головы, горячая земля под ногами качалась и плыла. Сетью висели перед сухими глазами искры, и везде по земле живой, весёлой кровью растекался огонь.

– Вот и сгорела улица, – грустно сказал Коля.

– Не вся, – деловито отозвался печник, – домов пяток отстояли всё жа!

Добрались до насоса, он вскочил на подножку, говоря Коле:

– Становись рядом – легче будет...

Вцепился в ручку насоса кривыми пальцами и, кланяясь, заорал, запел:

– Ка-ачай, ребя, качай!

Коля тоже стал кланяться, мерно сгибая спину, взмахивая руками так, что было больно плечам. Возносясь и падая, перед его глазами заколыхались огромные знамёна пламени. Земля тоже поднималась, опускалась, и от этого странно ныло в груди, где-то у горла. Чёрной волною набегала на город заречная даль – набежит бесшумно и бесшумно схлынет, раскачивая землю взад и вперёд.

– Не могу я, – сказал Коля.

– О? – воскликнул печник с сожалением и, перестав качать, сам себе объяснил: – Значит – устал парень! Ну, тогда идём за другим делом, делов тут – конца нет...

Снова пошли куда-то мимо рыжих лошадей с огненными глазами, мимо зелёных бочек и сердитых медноголовых солдат. Непрерывно, досадно звонили проклятые

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru колокольчики, будя смутную тревогу в сердце Коли.

Вышли наверх, в устье улицы, затисканное толпою публики, чёрнобородый полицейский ткнул Чмырёва в живот ножами шашки и закричал:

– Чего шляешься, морда? Прочь!

– Ну, ну, – пробормотал печник, встряхивая животом. – Дейтель! На пожаре и без тебя горячо...

И сказал, взглянув на Колю:

– Лицо у тебя, брат, дажа – синее...

– А ведь мы с тобой человека спасли, – вспомнил Коля.

– Двоих дажа, ты – одного, я – одного... Ну, лавошник, это, положим, не человек, название одно... Он ещё экзамена не сдавал на человека-та... А кто – другой?

– Не знаю, – сказал Коля.

– Н-да... ругали мы с тобой, ругали эту улицу, и всё... а как случился пожар... замечательно!..

Печник усмехнулся, потряс головой и, усадив Колю на любимое место, на липу под забором, быстро ушёл, говоря:

– Погляжу ещё, нет ли чего...

Коля сел на бревно, опираясь спиной о забор, устало поглядывая вдоль улицы и вниз, на реку. В груди что-то мешало дышать, точно туда налили тяжёлой воды.

Светало, уже звёзды исчезли, как бы сгорев в земном огне, огонь побледнел, стал желтее, но доедал остатки жилищ всё с тою же весёлой яростью, как и ночью, когда он был ослепительно красен.

Было странно видеть, как старое дерево, насыщенное грязью, превращается огнём в янтарь и огромные куски янтаря плаваются, тают, текут по земле золотыми ручьями. Это было странно – и грустно и радостно.

Тёмной, тесно уставленной шершавыми домами улицы – не было, и с этим не хотелось мириться. Горели ряды костров, из них во все стороны торчали чёрные головни, курясь дымом и паром, шипя под белой струёю воды. Огромные груды угля сверкали на грязной мокрой земле, среди них торчали закопчённые развалившиеся печи. Как помешанные, около костров с воем бегали люди, взмахивая руками, это напомнило Коле картинку в каком-то журнале – «Жертвоприношение», на ней тоже вокруг костра прыгали тёмные люди, высоко вздымая руки, открыв круглые рыбы рты...

Внизу – синяя река, придавленная со стороны лугов к городу песчаным островом, покрытым кустами ивняка. За рекою в серую даль уходили обритые луга, зарево пожара покрыло их рыжей ржавчиной. Кое-где в лугах грустно маячили одинокие деревья, – скоро эти пустынные дали станут ещё грустней... С деревьев сада Карахановых на плечи и колени Коли падали иссушённые жаром листья, они кружились, точно маленькие, бессильные птицы.

Явился Чмырёв, сел рядом и стал дышать тяжело, как лошадь.

– Устали?

– Есть маленько...

Коле показалось, что он беззвучно икнул, в груди что-то тихонько порвалось, и сразу же исчезла тяжесть. Потом он ощутил во рту солёный вкус крови, плюнул, плюнул ещё, но кровь всё заполняла рот. Он наклонился, открыл рот и, холодея, стал смотреть, как на землю льётся красная тонкая струя.

– Вон как! – неодобрительно сказал Чмырёв, тоже поплёвывая. – Видно, что устал ты... мм...

– Уж это, пожалуй... – заговорил Коля, но печник убедительно и ласково перебил его речь:

– Это – ничего! Пройдёт. всё, брат, пройдет!

И весело усмехнулся, продолжая:

– Я тоже вот кровью плююсь, – мне за ночь два раза по морде дали. Один раз – давеча, пожарный, а теперь вот – барин! На ногу ли я ему наступил, толкнул ли, что ли, как он меня бабахнет! И оба раза по одной скуле, дери их горой!

– Дурак, – сказал Коля так отчётливо, как будто хотел убедиться, что у него ещё есть голос.

– Правой рукой бьют, вот и выходит всё в одно место, – объяснил Чмырёв, помолчав, и предложил:

– Ты – приляг, положи голову на колени мне...

– Нет, – резко сказал юноша, – не хочу я лежать!

– Как хочешь... А – лучше бы...

Чмырёв сунул в рот себе пальцы, ощупывая зубы.

Серыми столбами вздымался дым и пар, в небе тяжело двигались первые осенние тучи, угрожая проливным дождём. Чёрные мокрые угли плотно вымостили землю, всюду трепетал и злился побеждённый огонь.

– Ах, господи! – воскликнул печник, вынув пальцы изо рта и вытерев губы подолом изорванной рубахи. – Не свои мы люди на земле!.. И – вообще, не то всё... Не так нада...

– Да, – согласился Коля.

Кровь всё ещё шла изо рта у него, он сидел согнувшись, подпирая голову ладонями, пристально глядя, как по утопанной земле растекается алое пятно и меркнет тихонько.

В щель съезда опустился липкий, едкий чад – оттого и вода реки казалась такой небывало синей...

Письмо

Душной ночью, в купе вагона, мой сосед, маленький нервный человек, рассказал мне странную историю.

Покашливая и задыхаясь, он закинул тонкие руки за голову, вытянулся на нижней койке, полуголый, точно ограбленный; а я смотрел сверху на его худенькое лицо, в тёмные, тревожно открытые глаза и слушал тусклый голос, минорные слова:

– Это было в мае, цвела черемуха, гудели пчёлы, качаясь на цветах.

Я подошёл к берегу реки, – со скамьи, под липой, быстро встала женщина в белом платье и пошла прочь от меня по запущенной дорожке парка, по золотым пятнам солнца; идёт и отирает на ходу глаза концом газового шарфа.

Маленькая, стройная, она была похожа на девочку, и я знал, что она плачет, – я уже видел её однажды на этой скамье, она сидела и плакала, читая измятое письмо. Знал я и причину её слёз: она – вдова, увлеклась журналистом, он изменил ей; вот и всё. Мимолётный роман зимнего сезона, – стоит ли об этом плакать?

Тогда, в первый раз, смущённый, я незаметно для неё и тихо спустился под гору, к реке, но мне было досадно за неё, – нелепо плакать в мае. И теперь – вторично; я снова почувствовал острый прилив досады: день был великолепен, парк пронизан золотом солнечных лучей, насыщен сладкими запахами весны, воздух – как вино. В пышной зелени берегов полосой синего бархата лежит река; в траве у берега блестят ленивые струйки, всё так ласково, тихо, а женщина – в слезах. В этой

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma певучей тишине нужно думать о радостях, в такие праздничные дни рождаются надежды на счастье.

Закрыв глаза, он помолчал, продолжая шевелить губами; потом, слепой и сердитый, заговорил ворчливо:

– Ненавижу страдание, злую обезьяну, которая, кривляясь, насыщает жизнь болезненными фантазиями! отвратительно болтливое, богатое мутной ненавистью ко всем радостям жизни, оно завистливо ненавидит красоту... и, подобно скользкому осьминогу, выпускает на всё грязную злость, чтобы скрыть в ней своё безобразие и ничтожество. Орёт, визжит оно, как бездарный актёр, который способен лживой декламацией исказить и оболгать все чувства людей.

Он вскочил, словно укушенный, встал на ноги и, неприятно усмехаясь, продолжал говорить прямо в лицо мне:

– Уходит эта женщина всё дальше, дальше, её уже не видно за поворотом дорожки, только между деревьев облаком плывёт её белое платье. Я сел на скамью, где сидела она, и – вдруг вижу в траве это глупое письмо, над которым она плакала.

– Я даже испугался, – должно быть, потому, что сразу почувствовал – сделаю нелепость! В следующую минуту я поднял письмо, положил его на лавку рядом с собою, зажёл спичку, – бумага расцвела жёлтым цветком и нехотя сгорела. По чёрной кучке пепла быстро пробежали красные змейки, потом пепел посерел и на нём явились чёрные узоры слов. Я наблюдал всё это внимательно и злорадно. Не помню, что я думал в эту смешную минуту, – ну да, я знаю, – тут всё смешно! Но, пожалуй, я ничего не думал, а просто смотрел на пепел и, помню, почему-то боялся, как бы он не улетел со скамьи.

Человек торопливо закурил папиросу. Синий свет ночной лампы освещал это детское лицо; нос, удлинённый тенью, печально вытянулся.

– Вдруг, – слышу шорох шагов, взглянул – недалеко от меня остановилась эта женщина и тоже смотрит на пепел. Я встал, снял шляпу.

– «Извините, – сказала она негромко, но как-то требовательно, – я, кажется, оставила здесь...»

– «Ваше письмо сожжено», – сказал я, указав на пепел, и услышал в ответ её нервный возглас:

– «Это очень... странно».

– Она круто повернулась, пошла, снова остановилась, сказала резко:

– «Это больше чем странно! Ведь вы же видели, что я сидела тут... Стыдитесь, сударь!...»

– И – ушла. Ушла. Я долго смотрел вслед ей, не надевая шляпы.

Он нервно засмеялся и лёг на койку, а через минуту спросил меня:

– Вы думаете – это поступок юноши? Это случилось в прошлом году, в конце мая. Мне сорок три. Да. Смешно?

– Не очень, – сказал я.

– Но всё-таки... забавно...

Он долго лежал неподвижно, закрыв глаза, и мне казалось, что он уснул.

Мимо окна, плохо прикрытого занавеской, стремительно неслась предрассветная мгла, изрезанная огнями: мелькали деревья, мохнатые и чёрные; чёрным потоком лилась земля, качались, поднимаясь и опускаясь, проволоки телеграфа; в сердце этого бешеного движения скрипел и грохотал наш поезд.

Вдруг тусклый голос моего соседа снова прозвучал задумчиво, но чётко:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Удивительно милое лицо у неё и такие ясные, ясные глаза.

Театральное

...Лет пятнадцати я чувствовал себя на земле очень не крепко, не стойко, всё подо мною как будто покачивалось, проваливалось, и особенно смущало меня незаметно родившееся в груди чувство нерасположения к людям.

Мне хотелось быть героем, а жизнь всеми голосами своими внушала:

«Будь жуликом, это не менее интересно и более выгодно».

Но жульничать мешала органическая брезгливость, неизвестно как и откуда запавшая в сердце.

Искал я и жаждал какой-то особенной правды, твёрдой и прямой, как шпага; хотелось вооружиться ею и уверенно идти сквозь хаос скользких жабьих слов, – сквозь противоречия поступков, мыслей и чувств.

– Правда? – восклицал тихо и насмешливо мой друг и учитель плотник Осип. – Правда – есть! От, ежели тебя взять за волосы да часок повозить по земле, ты и учуешь её, правду...

Я понимал, что он шутит от «нечего сказать»; я знал, что этот хитрый старичок, способный обо всём наговорить тысячу слов, одинаково ловких и умных, сам не ведает, где правда, не ведает и, кажется, давно уже отчаялся найти её.

Жилось трудно.

В это время трактирный певец Клещов, человек невзрачный и неприятный, внушил мне Беспокойную мечту. Он, несомненно, обладал таинственной и редкой силой заставлять людей слушать себя, его песни были милым голосом другой жизни, более приглядной, чистой, человеческой. Тогда я вспомнил, что ведь и мне, в иконописной мастерской, на ярмарке среди рабочих, удавалось иногда вносить в жизнь людей нечто приятное им, удовлетворявшее меня.

Может быть, мне действительно надо идти в цирк, театр, – там я найду прочное место для себя?

Я решил попробовать, и – вот я статист в огромном театре, на ярмарке, получаю двадцать копеек за вечер и учусь быть индейцем и чёртом в пьесе «Христофор Колумб».

Красное кирпичное здание театра снаружи неприятно похоже на амбар, – внутри оно вызывало чувства тёмные, гнетущие.

Помню, как по просторной, полуосвещённой сцене, против чёрной дыры, наполненной сырым мраком, толстенький человечек, бешено ругаясь, гонял нас, кучу мальчишек, из угла в угол, точно пастух баранов, и визжал:

– Крокодилы дохлые, – убьёте вы меня!

Мне казалось, что он притворяется, – нет у него причин сердиться на нас и бить нас по ногам длинной, тонкой палкой, мы бы лучше поняли, чего он хочет, если бы он говорил просто и спокойно. Но он суетился, хватал себя за круглую, как арбуз, голову и ныл, орал:

– Какие же вы индейцы? Вы – свиньи, а не индейцы! И какие вы черти? Медведи вы, а не черти!

Из-за кулисы высунулась толстая дама и спросила его басом:

– А ты как знаешь, на кого похожи черти?

– На козлят, душечка моя, и на козлов, и не суйся не в своё дело!

Я читал об открытии Америки, и черти казались мне лишними в этом событии, – книжка Прескотта не упоминала о них. Я читал Майн-Рида, Эмара и, думая, что имею представление о краснокожих, старался ходить по сцене так, как ходят

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
американские индейцы в книгах этих знаменитых писателей. Но мои попытки
раздражали учителя, он укоризненно кричал:

– Послушай, ты, длинный, окаянный сухарь, смычок, жердь вавилонская, что у тебя
– пятки подрезаны, а? Ты по битому стеклу ходишь? Убьёшь ты меня, бессовестная
фигура!..

На спектакле я всё-таки ходил так, как, по моему мнению, должен был ходить
настоящий, порядочный индеец, и усердно тыкал деревянным острием копья в животы
неуклюжих испанцев. Это очень веселило людей за кулисами, но помощник режиссера
всё-таки был недоволен мною.

– Послушай, диван с пружинами, – сказал он мне в антракте, – если ты будешь
качаться во все стороны, я тебя швырну в омут!

А тут ещё подошёл пышно одетый испанец, человек, близкий самому Колумбу, и
пожаловался на меня:

– Я этого верблюда проткнул насквозь шпагой, а он – хоть бы что, даже не
пошатнулся! Чудесно вы обучили их, милый мой...

Среди испанцев, чертей и краснокожих спокойно расхаживают обыкновенные русские
люди, обыкновенные женщины; одна из них, маленькая и вся в чёрном, точно
монахиня, сказала испанцу:

– Егор, ты помнишь Тулу?

Я чувствовал себя нелепо, где-то между сном и явью. Расширяясь во все стороны,
передо мною плавал огромный чёрный мешок, тесно набитый головами людей, точно
дынями. Эти бесчисленные головы казались мне слепыми, лишь кое-где, на круглых
пятнах лиц тускло светились ненужные глаза. Из мешка на сцену вливался запах
тёплой сырости; иногда, среди жуткого молчания, был слышен кашель, шарканье,
какой-то скрип.

Зал театра будил у меня странное сравнение с огромнейшей глубокой могилкой, куда
правильными рядами положили множество людей.

Жуткое чувство ещё более усиливалось во время репетиции, когда чёрная пустота
зала тарачилась на полутёмную сцену пустым, бездонным зевом. Смотрит пустота,
молчит, – и так странно, что пред нею люди шутят, смеются, кричат. Голоса
кажутся неестественно громкими, все люди говорят нарочито не те слова, двигаются
необычно и машут руками, точно испуганные слепые в поисках за что бы схватиться.

Этот кошмар ещё более углублялся бредовыми речами артистов; ходит по сцене
длинный человек с лицом красивого мертвеца, с погасшей трубкой в зубах и,
разводя руками, точно плавая в полумраке, бормочет:

– Маркиза, вы поставили меня на край пропасти – чего? Ага – стихи! Я знаю – мне
спасенья нет...

Красивая чернобровая женщина, сидя на стуле у кулисы, сердито кричит:

– Послушай, я здесь бросаюсь к твоим ногам, а ты уходишь от меня! Где же кин?

– Он кинулся в уборную зачем-то.

А около суфлёрской будки стоит маленький человечек без глаз и бровей, с круглым
ртом окуня, стоит и тихонько, грустно, приятным голосом напевает:

Я – страдала,
Страданула,
С моста в речку
Сиганула.

Чернобровая женщина сердито кричит ему:

– Перестаньте выть! Дальше, дальше, господа!

Из-за кулис высовываются чьи-то головы, выходят люди, исчезают, за кулисами

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma стучат молотки, вбивая гвозди в сухое дерево, и что-то противно скрипит.

Стоит среди сцены человек в пальто, в цилиндре, морщится, оттопыривая толстые губы, и кричит суфлёру очень красивым голосом:

– Чьто? Не слышу. Подавай громче! Чьто? Не рассуждать! Откуда тут дует, дьявол?

– Отовсюду дует, – справедливо говорит ему высокая красивая дама.

– Дудует, – презрительно говорит актёр.

Другой человек, пьяный, испитой и отрёпанный, сидит в сторонке на стуле, дремлет и, время от времени пугливо вздрагивая, спрашивает:

– Я? Как? О, господи помилуй... О-о-фу...

Всё это было мало понятно, порою нудно, но хотя всё выдумывалось и создавалось при мне, на моих глазах, однако иногда эта нарочитая, фальшивая жизнь охватывала меня до того сильно, что и я тоже начинал ходить по земле выпячивая грудь, нелепыми шагами петуха, говорил басом, отчеканивая слова, и всё потирал лоб, как это делал один из артистов.

Влюблённые виконты и маркизы, несчастный актёр Яковлев, героический Несчастливцев, дон Сезар де Базан, Карл Моор, разбойники, бояре, купцы и Квазимодо – все эти плохо сшитые кошелы, полные звенящей медью романтизма, кружили мне голову, вызывали чувства, уже знакомые по книгам. Разумеется, я уже видел себя играющим роль гениального Кина, и мне казалось, что я нашёл свое место. Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений.

Если хочешь спокойно наслаждаться – не заглядывай за кулисы!

Но моя роль неизбежно заставляла меня торчать за кулисами, и я слышал, как герой, только что валявшийся у ног возлюбленной своей в судорогах пламенной страсти, кричал на неё за кулисами:

– Какого дьявола у тебя булавки натыканы где не надо!

А благороднейший отец, только что оплакав на сцене свою несчастную дочь, шипел на неё, грозя пальцем:

– Ты опять роль не знаешь, дурында?

Улыбаясь, она говорит:

– Ой, ты так хорошо играл, что я всё забыла...

– Не твоё дело, как я играл!

Дурында – маленькая, стройная женщина, синеглазая, молчаливая. Она смотрит на всё прищурясь и недоверчиво, как будто люди и вещи непонятны, чужды ей. И ходит она осторожно, точно кошка. Как-то раз я застал её в тёмном углу за сценой; прижавшись к стене, закрыв лицо руками, она тихонько плакала. Дня за два до этих слёз она так трогательно изобразила Эсмеральду, что я навеки влюбился в неё и теперь, видя её слёзы, сам готов был гневно плакать или, если она прикажет, избить обидевших её.

Но я не смею подойти к ней, смотрю издали и думаю: хорошо, если бы театр загорелся! Когда все побегут вон из него, – я схватил бы её на руки и вынес сквозь огонь. Только бы вынести, а потом поклониться ей молча и так же великолепно, как это делал актёр Киселевский, поклониться и уйти куда-нибудь, унося в сердце великую радость на всю жизнь.

В успеньев день играли дважды – утром какую-то феерию, вечером шла «Каширская старина». Усталые артисты были пьяны, играли весело – точно для самих себя, забыв о публике, а публика, невидимая в чёрном мешке, рычала и хохотала тоже как бы вне зависимости от сцены.

В антракте пьяненький Андреев-Бурлак, тощий и жалобно смешной в костюме дьяка,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma потешал плотников шутками и анекдотами и всех без разбора звал после спектакля на Пески, в трактир, есть пельмени. Дама моего сердца, наряженная в яркий сарафан и тоже пьяненькая, сидела на связке каких-то веревок, смеясь, напевая.

Я не заметил, кто дёрнул верёвки, видел только, как она, испуганно взмахнув руками, опрокинулась на спину, видел высоко вскинутые ноги и огромные от испуга глаза. В следующий момент она, ловко повернувшись на бок, вскочила и гневно выругалась грязными словами улиц и площадей.

Дикий хохот гремел вокруг неё, люди выли зверьём от удовольствия, – она оглянулась и, подскочив к маленькому актёру в костюме каширского парня, ударила его по щеке. Её схватили, смяли, унесли в уборную.

А у меня угрюмо заняло сердце, всё вокруг стало противно мне, я решил уйти из театра и тотчас ушёл.

Зрителем в театре я за это время был только однажды, и первый же спектакль заставил меня почувствовать страшную силу театральной жизни.

С минуты, когда на сцене явился Андреев-Бурлак в образе Иудушки Головлёва, я совершенно забыл о театре и обо всём, кроме маленького старичка в халате, со свечой в дрожащей руке, с ядовитой улыбочкой на слюнявом лице.

– Аннинька, Аннинька, – сладострастно всхлипывал он пред измученной, умирающей женщиной.

Всё, что делал этот человек, было страшно просто, неопровержимо правдиво и убедительно. Его липкие слова, паучьи движения, его порабощающий, терпкий голосок и эти гнилые улыбочки, весь он был до ужаса противен и казался непобедимым, точно Кощей Бессмертный.

Я пережил нечто неопишное, хотелось бежать на сцену и убить это воплощение мерзости, я чуть не плакал от бешенства, а кругом люди смеялись, орали, возбуждая у меня страх и тяжкое недоумение. Разве можно смеяться, видя гнусного человека?

Это был очень тяжёлый и дурной кошмар, тем более тяжёлый, что я чувствовал в нём много знакомого мне, чем так богата тёмная, запутанная, болезненно жестокая душа русской жизни. Много лет спустя я снова пережил такое же угнетающее впечатление, читая книгу о Фёдоре Карамазове.

После спектакля, отравленный, я всю ночь шлялся в лугах, за ярмаркой, меня остановил какой-то пьяный и больно ударил кулаком по голове, – помню, это не обидело меня.

Несогласный

В пустоте над тюремным двором остановилось мутное солнце; ночью в городе был большой пожар, небо немножко закоптело, солнце – тоже.

Жарко; кирпичная стена тюрьмы кажется раскалённой докрасна: серый бульжник источает липкую духоту, в воздухе висят синие мухи, толчками рвутся куда-то, падают к нагретой земле, взмывают вверх, – следить за ними нестерпимо скучно, а больше делать нечего. Тихо на дворе; кое-где в коротких полосках тени прижались у стены растерзанные арестанты, дремлют, спят, лениво беседуют. За стеной сухо трещит деревянный город, иссыхая под жестоким солнцем. В квартире зрителя звучит пианино, – Миша Зимин, чахоточный вор, выгнув длинную шею, поднял в небо серое с красными малежами лицо и, надув губы, смотрит в окно, слушает музыку.

– Я человек меланхоличный, – вполголоса говорит мне надзиратель Курнашов, сидя со мной на ступенях крыльца тюрьмы. – Есть люди взрывчатого характера, а я – смирноумный, короткого поведения...

– Кроткого, – поправляю я.

– Всё едино, – кроткое и есть короткое поведение, без затяжки, без спора.

И, раздавив окурок папиросы о подошву сапога, он продолжает, точно чулок вяжет:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Мне всё равно, хоть так, хоть этак, меня не обморочишь. Ваши, утверждающие, будто человек нуждается в свободе поведения, премного ошибаются. Этого нельзя. Вон они, свободники, у стенок притулились, а некоторые даже и в кандалах. Никак нельзя. Свинья свободна, ну, что ж? Ей никакого уважения нет. И человек в свободном ходе своих чувств тоже освиняется.

Сняв тяжёлую фуражку, он приглаживает красной ладонью волосы цвета земли и потом внимательно смотрит на свои пальцы.

Мне давно и упрямо хочется знать, как прожил свою жизнь этот суздальский человек, сухонький, спокойный, похожий на икону угодника божия? У него зоркие, приметливые глаза желтоватого цвета. Они смотрят на всё и всех прямым, взвешивающим взглядом. Он часто говорит:

– Я – человек смирный, меланхоличный.

Но он говорит эти слова подозрительно часто. Товарищи явно не любят его и боятся. Арестанты – тоже не любят, но не боятся, хотя исполняют его краткие приказания как будто послушней и охотней, чем крикливую команду других надзирателей.

Он стоит как будто ближе к арестантам, чем к начальству, но в то же время как бы опасается близости к людям или пренебрегает ими, считая себя выше всех. Ему – пятьдесят девять лет, он крепкий, ловкий и лёгок на ногу, – ходит по двору и коридорам быстро, бесшумно, как по воздуху. Чистенький, аккуратный, желтоватая бородка правильно подстрижена, но рот у него противен, – кривой, с толстыми губами, он кажется чужим на постном, благообразном лице.

Основной лад его души – спокойное безразличие, однако я несколько раз видел Курнашова в странном состоянии внутреннего напряжения, возбудившего у меня острый интерес к этому человеку.

Как-то ночью, заглянув в глазок моей двери, я увидел, что он стоит в коридоре против камеры малолетних, под огнём тусклой лампы, его лицо жутко, невероятно искажено, – как будто человека внезапно схватила острая боль, он хочет дико закричать и – не может.

Это искажённое, кричащее и немое лицо было до того ужасно, что я, отшатнувшись, закрыл глаза. Но через минуту, вновь заглянув в глазок, увидел его всё в том же оцепенении, с тем же немым криком в глазах и в судороге полуоткрытого рта.

Я позвал его:

– Павел Степанович!

Пошатнувшись, он спросил:

– Кто это?

– Я, шестая камера.

– А... Не спите?

– Нет. Что с вами?

– А все спят. Господи помилуй...

– Что это с вами?

– Так, задумался...

Он ушёл.

Не один раз я просил его:

– Расскажите, как вы жили!

Глядя на меня снизу вверх, он спрашивал:

– К чему это?

– Я – молодой, мне учиться надо.

– Я жил меланхолично, – говорил он, – вроде отшельника, остерегаясь суеты напрочь...

Философствовал он охотно, но о событиях своей жизни не говорил, как будто их не было. А однажды прямо сказал мне:

– Рассказы – не научат, научает рассуждение. Рассказать можно всё, что хочется, и будет – ложь, а рассуждение – тут не всякий соврать может. Голое слово обязует, как цифры, а цифра – не соврёт, как её ни поворачивай.

Ко мне он относился покровительственно и с любопытством, которого не мог скрыть, хотя и сдерживал его.

Как-то ночью, разговаривая со мной через глазок камеры, он спросил:

– Слышал я, что писанием зарабатываете большие деньги и живёте без нужды, – верно?

– Да.

– Мм... Пьёте?

– Нет.

– Картёжничаете?

– Тоже нет. А – что?

– Тогда – не понимаю: зачем же бунтовать? Ежели бедный бунтует, – это доступно уму, а – если образованный и сытый человек, тогда уж это – баловство.

Я пытался объяснить ему, но, послушав немного и неохотно, он ушёл от двери, сказав:

– Каждый сам себе воевода и хозяин...

В этот жаркий, скучный день я решил добиться толка от Курнашова и добился; осторожно, точно идя в темноте и оглядываясь во все стороны, загромождая свою речь ненужными размышлениями, он начал рассказывать:

– Мещанское сословие, не имеющее в земле никакого корня, – самое худородное и ни к чему, – меланхолическая часть людей. Отец мой, например, старьём торговал на балчуге[11], а я с восьми лет птицеводством занимался, а «рыбаки да птицеловы только врать здоровы». По десятому году отдали меня в учение к скорняку. Учение, конечно, пустое слово, научиться от людей ничему нельзя, кроме пьянства, распутства и как по морде бить. К пьянству я, по счастью слабости здоровья, не привык. Баб, до самой женитьбы, до двадцати шести годов, – тоже не касался. Был случай – лет семнадцать было мне, – но в этом случае я не причинен; просто сказать – насильничала надо мной хозяйнинова сноха, баба пьяная и бесстыдница. Пришла ночью, – мне, конечно, по глупости лет, любопытно, однако с того разу возымел я к этому занятию отвращение и даже страх.

Курнашов сморщился, плюнул, потом, вынув папироску, закурил и продолжал, выпуская слова вместе с дымом.

– Отец, проторговавшись, свихнулся со стези, попал в историю с ворами и, поскорости, отдал душу богу, сидя в тюрьме. Всё равно – и живой пропал бы, потому – кража со взломом. За отца надо мной смеяться стали, дескать – воров сын. Терплю, конечно. Куда убежишь от людей? Никуда не убежишь. А, ну вас, думаю!

Зимин, наслушавшись музыки, сел под окном и славно поёт мягким мурлыкающим голосом:

На сосне сидит,
На густой сосне,
Пёстрая пташечка
Вор-кукушечка...

К нему идёт толстый, рыжий подагрик Иванков, открыв сомовый рот, идёт и гудит:

А под той сосной –
Добры молодцы,
Удалы, честны
Вор-разбойники.
И оба вместе они смело поют:

Ой, да ку-ку, ку-ку,
Бездомовница...

– Цыц! – строго кричит Курнашов, пристукнув концом шашки о ступень. – Что здесь, трактир вам?

Погасив песню, он говорит мне с досадой и лёгким удивлением:

– Привыкли, сукины сыны, совсем как дома! Им – наказание, а они поют. До чего люди беззаботны сами о себе – ни страха, ни ужаса!

В тюрьме, построенной ещё при царице Елизавете, тихо, как под землёй. День – будний, большинство арестантов угнали на работу, осталось десятка полтора, все одинаковые, каждый чем-нибудь болен, и все удивительно тихие люди. Они напоминают поросят, потерявших матку, отчаявшихся найти её и заранее покорных всему, что случится с ними.

У зрителя играют «Молитву Девы». Иванков и Зимин, подняв рожи вверх, слушают и смеются.

– Рассказывайте, – прошу я надзирателя.

– Никогда я не рассказывал, нескладно выходит у меня, – говорит он. – Главное – согласия с людьми не было у меня ни в чём. Забавы ихние не отвечали мне, а больше взять нечего. Читающие евангилье и разные книги священного писания – становятся еретиками, секты составляют, что тоже не годится для меня. А со всех других сторон обида, для каждого нет ничего приятнее, как обидеть человека. Бывал я на прениях о вере, в семинарию хаживал, там тоже ругаются. Один говорит о писании, а другой – встречу ему – говорит: «Дурак!» И так везде – самое неосторожное обращение друг с другом. Конечно, пустяки, но ежели везде, – тогда уж и вся жизнь – чепуха... А меня обижали особенно много, потому что я был терпелив. Терпение требуется от каждого, но которые нетерпеливы, тех оно доводит даже до безумства.

Курнашов не рассказывает, а рассуждает, я слушаю его невнимательно; заметив это, он спросил:

– Что, скучно? То-то вот...

Тщательно высморкался в траурный платок, белый с чёрной каймой, вздохнул:

– Правда – скучновата, – ничего не сделаешь против неё. Был случай – привязался ко мне один человек, Сысоев-покойник, Константин Васильич, лицо распутной жизни, но домовладелец и богач, – в полном уважении человек. Он меня из кости в кость, я – молчу, думаю – устанет и отвяжется. Он меня в ухо – молчу. Он – за волосы, стараюсь в глаза ему глядеть, – когда собака, например, бросится на вас – глядите в глаза ей, – отстанет. Но тут этого не случилось, а вижу я, распалается человек до того, что даже и убить может, – стащил меня со стула и возит по полу, ничего не щадя. Схватили его, меня отняли, омылся я, иду домой, вдруг опять он. «Ты, говорит, переломить меня хочешь?» А с ним ещё кто-то. Схватили за руки, за ноги, несут под гору, на реку, тут догадался я, что хотят они меня в прорубь сунуть. Ну, конечно, завыл, взмолился. «Ага, – говорит, – сдаёшься!» Отпустил меня и даже трёшницу дал. «Получи на пластырь, спорить же со мной не смей никогда!» А весь мой спор только в том и заключался, что желал претерпеть его зверство.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Курнашов вздохнул и пояснил:

– Терпение – оно тоже, знаете, довольно опасно, иногда в нём такая гордость скрыта, что сил нет снести её. У нас, года три назад, мальчишка сидел за убийство вотчима, так это было лицо хуже дьявола. С виду – кроткий, красна девица, вежливый со всеми, а – сделать с ним ничего невозможно.

– Не сознавался? – спросил я.

– Зачем? В убийстве он сразу сознался, ещё дома. А в гордости своей действительно не сознавался. И били его и в карцер сажали – всё! Молчит, ни просьбы, ни жалобы, никакого страха. Еле на ногах держится, а смотрит мимо всех. Даже я, спокойный человек, и то не мог терпеть его. «Ты что, – говорю, – во святые метишь? Я для тебя – ничоём?» А он – ручки назад и тоже в глаза мне смотрит. Дашь ему, бывало, раз, другой, а сам знаешь – это без толку. Так и не согнулся до самого суда, а после – умер незаметно... Человек любит поспорить.

Курнашов улыбнулся, нерешительно поджал губы, приподнял мускулы щёк, жёлтые глаза его, не изменяя блеска и выражения, окружились полувенцом морщинок. Первый раз видел я улыбку на его дублёном лице, и было в ней что-то неумелое, трудное.

– От скорняка перешёл я к часовщику, был такой часовщик Цехановский, Ладислав, кривой. Три года прожил у него, гляжу – а он монету чеканит золотую. Конечно, это мне не мешает: «Делай, что хочешь, меня не трожь». Однако он и меня начал тискать в это дело. Ну, тогда я заявил в полицию, накрыли кривого. Делают обыск у него, а он гонор показывает: швырнул пятирублёвик на стол, кричит: «Чем наши хуже ваших? И звенят, и блестят, и по рукам ходят!» Весёлый был старик и довольно деликатный со мной. Ну, засудили его. А ещё до суда сыскной полиции начальник взял меня к себе на службу. «Всё равно, – говорит, – тебе». Положим – не всё равно: в этой должности очень нелегко себя сохранить. Вор – не глуп, на то он и вор, а себя – всякому человеку жалко. Приходилось и вора уважение оказывать. Да и вообще... глядишь, как люди друг на друга лезут, подобно слепым щенкам, и думаешь: «А, ну вас, делайте, что хотите, только я с вами в душе моей не согласен»... После того взяли меня в солдаты, около года в пехоте служил да два при госпитале писарьком...

Курнашов внезапно оживился, торопливо закурил папиросу и, дёргая левым плечом, точно стараясь стряхнуть с него что-то, спросил прищурившись и тихонько:

– Вы смерти боитесь?

– Нет.

– Я тоже до госпиталя не думал про неё – ни про неё, ни про бога. В церковь, конечно, ходил, а бога не чувствовал, без страха жил. Знаю – есть бог, а – не боюсь. В душе-то у меня не было его. Ну, а тут, в госпитале, смерть у каждого на часах стоит; сегодня – одного долой, завтра – другого, а то и двух, трёх сразу. Бьёт людей, как дамка простые шашки.

Он закачался, крепко потирая ладонями острые колени, и опять трудно улыбнулся.

– Был там фершал, Личков, крещёный еврей, умница и деловик, вдовый, а у него – племянница жила, русская, дочь жениной сестры...

Он надолго замолчал, разглядывая свои сапоги.

– Ну – влюбились вы, – подсказал я.

– Это – глупости, влюбляться, – искоса взглянув на меня, сказал он почти строго, – это баловство со скуки. Я – простой человек, разумный, не барин, не шалыган какой-нибудь. Вовсе я не влюблялся, а тут вышло так: вот – человек, хотя, скажем, и солдат, – вот – нет человека. Сегодня одного снесут, завтра – другого, барабан трещит, – ух, не любил я этого барабанного бою! Как будто по моей спине палками щекотят. Стало это беспокоить меня. «Позвольте, думаю, в чём же суть?» И даже по ночам не сплю, – боязно, мерещится, что скоро все перемрут и я тоже. Привык я к этим мыслям до безобразия; бывало, узнаю, что какой-нибудь солдат отходит, иду глядеть. Личков – смеётся: «Что, говорит, учишься? Учись, говорит, этот экзамен и тебе неизбежно сдавать». Он привык, тыщи на тот свет отправил, а

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
мне жутко. Не знаю даже, что и делать, – душу тянет из меня.

– Тут я сошёлся с девицей этой, с племянницей его, – вздохнув, продолжал надзиратель, нелепо вытянул правую руку и указал пальцем в землю. – Так, знаете, слово за слово – то да сё, а потом говорю: «Давай станем жить потихоньку, кончу службу – женюсь». Она сначала не соглашалась, потом согласилась. Первое время, когда всё в новинку, мне даже веселее стало, мысли отступились, и страх прошёл. Интерес явился, как будто в прятки играешь, и Личкова боязно, и чтобы другие не заметили. Она – шитьём занималась.

– Красивая?

– Ничего. Беленькая. Худощавая, а правильная, и груди и всё, хотя бабья краса у всех одинакова, так я понимаю. Одна – постарше, другая – помоложе, а лучше всех – которую положишь, – говорится. Ну, вот... Заберусь я, бывало, в конурку к ней, когда Личков на дежурстве, побалуемся, устанем, – поговорим. Иной раз заснёт она, я гляжу и думаю: «Вот и ей помереть, может, и не проснётся – помрёт!» Послушаю, бьётся ли сердце, разбужу и говорю шутя: «Ты, Танька, смерти боишься?» Не любила она этого. «Ну её», – говорит. «Нет, погоди, говорю, вот – жива ты, а завтра – ударит тебя неизвестная болезнь, и – каюк!» Она сердится. А я того пуще донимаю её, – не люблю я бабьего разума, птичий разум. Приятно возмущать ихние мысли. До того доводил, что она даже унывала и плакала; жалуется: «Что это, говорит, ты – какой, словно сторож с кладбища, никакого разговора не знаешь, кроме про покойников». А то – рассердится, шепчет: «Пусти меня, я уйду!» Ну, уйти – некуда, ночь...

– Кончивши службу, я поступил в полицию – паспортистом, устроил меня Личков, он у полицеймейстера любимец был – банки ставил ему каждую субботу. С Татьяной я повенчался, как и обещал, Личков три сотни дал за ней. Сняли светленький чердачок, живём – ничего, дружно, детей родить я ей воспретил до поры до времени. Хозяйствует она аккуратно, умненько, но – вижу, задумываться стала не к месту. Шьёт, шьёт, да вдруг на коленки шитьё опустит и оцепенела. «О чём?» – спрашиваю. «Так», – говорит. И ночью тоже, замрёт, уставит глаза в потолок и лежит, не дышит. Я к ней – со своим, а она «подожди», – говорит. – Ну, это мне скушно. «Ах ты, птица», – думаю. И шучу, играю: «Что, – говорю, – боишься?» Молчит.

Нахмутив брови, Курнашов заговорил строго и внушительно:

– «Ежели ты мне жена, то по закону не имеешь права скрываться от меня, а обязана говорить мне всё, начистоту!» – «Да я, говорит, не знаю, что со мной, а только – тоска приступает. Мне бы дитя надо!» Я говорю: «С тобой муж, а больше ничего не полагается; насчёт ребёнка – подожди!» Ребёнок – это пятнадцать лет лишнего расхода, раньше от ребёнка ничего не получишь. «А ты мне скажи – о чём думаешь, ты не вилай!» Не говорит.

– Конечно, это больше в шутку я. Забавно было, как она боится меня. Сам-то я уж не очень вдавался в эти мысли, ну – умрёшь, так умрёшь! И святые смерти не обходят. К тому же мысли эти я в неё переместил. Однако как сам я вынес страх, то, конечно, хочется, чтобы и другой боялся. Вскоре она ошиблась, – а может, и нарочно – забеременела. «Ну, что ж, – думаю, – любишь кататься, люби и саночки возить». Подтруниваю над ней: «Гляди, – говорю, – умрёт ребёнок-то в тебе, и будешь ты ходить сама живая, а в животе – покойник!» Ребёнка она скинула на шестом месяце.

– Любил я бить её, грешен. Бывало, изобью, истерзаю, лежит она на полу али на кровати, платьишко изодрано, в дырках, просвечивает тело её живенькое...

Курнашов заговорил тише, как бы воркуя:

– Ножки голенькие видно, ласковые – даже вспомнить сладко. Женщину бить – это, сударь мой, большущее удовольствие! И не столько бить, сколько жалеть избитую, – это, знаете, ох как за сердце берёт! Лежит она эдакая обиженная, замученная, а я вспоминаю, как меня обижали да мучили в разное время, – плачет сердце. Ей-богу... плакал ведь я над ней, – что вы думаете? – как маленький плакал! Да. Ноги её глазу, бывало, целовать начну, утешаю всяко, даже прощенья просил сколько раз. «Ты, – говорю, – прости меня, ведь меня тоже мучили и били, и всё». Это она понимала умом, а сердцем, видно, не мирилась. И вижу – всё хуже да хуже

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma задумывается, а глаза блестят эдак... Ничего не обнаруживает, а я понимаю, что стала она гордиться своей жизнью, то есть тем, что бью её и тревожу. Как мальчишка этот, – я её по щеке, а она мне в глаза смотрит. «Вот как? – думаю. – Ну, этим меня не одолеешь, я не хуже других... Эту игру я знаю!»

Пошмыгав носом, поморщась, Курнашов торопливо закончил:

– Однако заигрались мы с ней вплоть донельзя. Весною, в апреле, проснулся я, чуть солнышко взошло, утро весёлое, – а её нет рядом со мною. Сразу понял я, что это нехорошо, вскочил, бегу на чердак, а она висит, заслонив собой слуховое окно, и пальцами на ногах шевелит. Обомлел я, ни крикнуть, ни двинуться, стою и гляжу, как она крутится.

Он замолчал, вынул папиросу, дважды глухо кашлянул.

– Ну, и что же? – спросил я с трудом.

– Что же... конечно: признаю себя виновным...

Мне захотелось ударить его кулаком по маленькой узкобойной головке, но его копчёное лицо было до такой степени искажено болью, так кричало, что мне снова показалось – вот сейчас этот человек безумно завоет, завизжит и покатится по земле, как собака, накормленная иголками.

Я отвернулся, а он грубо сказал:

– Вот и весь мой праздник... всё тут! Жил я с ней двадцать месяцев и девять дён. А после её – ещё дальше отшибло меня ото всего. Ну, вот...

Курнашов встал, оглянулся, как чужой, и пошёл к воротам, где серые фигуры арестантов сбились в тесной куче.

Ночью, долго спустя после поверки, он неслышно очутился у двери моей камеры и спросил в глазок:

– Не спите?

– Нет.

– Чего же?

– Думаю.

Он пошаркал ногами и, невидимый мне, сказал в глазок, как в рупор:

– Вот вы всё внушаете – учиться надо, а чему у людей научишься? Не согласен я с вами, ни в чём не согласен...

Исчез.

Я долго слушал – не родится ли какой-нибудь звук, мне почему-то думалось, что сейчас хлопнет выстрел револьвера. Медленно тянулись минуты, тёмные и тихие, как монашенки. Потом я вспомнил слова Аристотеля:

«Кто не может жить в обществе, тот не составляет никакой части государства и есть или зверь, или бог».

Сквозь грязные стёкла окна трепетно-яркие звёзды кажутся тусклыми и круглыми, как фальшивые жемчужины. Я встал на подоконник и начал протирать стёкла рукавом рубахи.

Барышня и дурак

Стёртые камни панелей покрыты холодной слизью; над улицей колышется мокрая кисея тумана, а сквозь неё лениво сочится полуснег, полудождь – какой-то грязноватый пепел. Голубые шары фонарей освещают тёмный измятый снег, сырые стены домов, слёзные потоки на тусклых стёклах окон. Столбы фонарей не видны в тумане, круглые шары огня скучно и непонятно висят в воздухе, насыщенном запахами дыма и конского навоза.

Барышне грустно почти до слёз, до тихого отчаяния. Она трижды прошла взад и вперёд всю улицу от моста до площади, – никто из мужчин не пригласил её, сегодня все бегут в туман, точно желая скорее спрятаться или боясь опоздать куда-то. А уже скоро полночь и пора домой, где ждёт её брат, сердитый пьяница и бездельник. Сам он всегда возится с проститутками, но сестру презирает за её ремесло.

Медленно передвигая ноги, боясь, чтоб не свалились растоптанные галоши, барышня идёт и щурится, глядя на огни в воздухе, – когда прищуришься, голубые шары фонарей покрываются серебряными иглами. А если на ресницах осядут капельки тумана – эти иглы горят радужно.

Из переулка, прямо на неё, вышел мужчина и остановился под фонарём, оглядываясь, как заплутавшийся.

На нём широкая шляпа, мокрые усы обвисли, закрыв рот. Он похож на военного. Барышня улыбнулась ему, он, приподняв шляпу, тоже ответил улыбкой.

– Пойдёте? – спросила барышня.

– Если позволите, – глухо сказал он.

– Почему же нет?

Он наклонил к ней костлявое лицо, тихо спросив:

– А куда?

– Куда хотите.

– Вы далеко живёте?

– Да, очень. Ко мне – нельзя!

– Тогда – как же?

– А тут, близко, есть такие комнаты, – сказала барышня и, шагнув вперёд, поскользнулась.

– Осторожно, – тихонько воскликнул он, подхватив её под руку, и тихонько, неловко повёл.

Барышня поглядела на него из-под намокшей шляпы опасливо; она знала мужчин, – в этом чувствовалось что-то неясное, непривычное ей: он говорит вежливо, даже ласково, и смотрит в лицо её как-то особенно, словно влюблённый. Глаза у него серые, усталые и кроткие, как у комнатной собаки. В нём есть что-то смешное.

«За сорок», – подумала барышня и деловито сказала:

– Я дешевле трёх не беру!

– О! – воскликнул он, шевеля усами. – Сколько хотите, сколько угодно.

Это возбудило у барышни чувство тревоги.

«Распутник, должно быть», – подумала она и даже вздрогнула от безразличности.

Улица, задушенная туманом, бесконечно плыла в даль. Миновали площадь, пронёсся одноглазый автомобиль, проехал извозчик, среди улицы чёрным столбом стоял полицейский.

Было тихо, и в этой мокрой тишине – точно лилась вода по водосточным трубам – звучал глуховатый, воющий голос.

«Жалуются, что ли? – соображала барышня, вслушиваясь в звук и не улавливая связи слов. – Врёт, наверно...»

Остановились у высоких ворот пред серым домом без огней в окнах; барышня

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiuta толкнула рукою калитку, в тёмной дыре под воротами кто-то завозился, закашлял и сказал хрипло:

– Черти носят...

– Трущоба, – пробормотал мужчина, выпустив руку барышни и вытягивая её вперёд, но тотчас споткнулся и схватил барышню за плечо.

– Не надо падать, – сердито посоветовала она, ускользнув из-под его руки, открыла дверь в стене, под ноги ей легла полоса серого света, она нерешительно потопталась на нём и, сказав: «Ну?» – вошла в узкий коридор с дверями направо и налево, как в тюрьме.

Из серой стены выпрыгнул лысый старичок в очках, с папиросой, воткнутой в грязную бороду, уставился на них стеклянными глазами, вытирая ладони рук о ляжки.

– В рубль? – спросила барышня.

– Что?

– Комнату.

– Лучше, – тихо сказал мужчина.

Тогда старик лягнул ногою дверь сзади себя и проговорил детским голосом:

– Три целковых. Что подать – лимонаду, чаю?

– Чаю, – приказала барышня.

Вспыхнул холодный белый огонь, осветив маленькую комнату с диваном, двумя креслами, столом, широкой кроватью у стены и умывальником.

– Грязновато, – сказал мужчина, сняв шляпу.

– Дороже – нет, – отозвалась барышня. С этим человеком не хотелось говорить, и в то же время он возбуждал желание сказать ему что-нибудь обидное.

Вот он снимает мохнатое пальто, украшенное серебряным инеем тумана, и бормочет, раздражая:

– Здесь пахнет старым одеялом и бараниной...

Поправляет длинными пальцами слежавшиеся под шляпой волосы. Он – худой, угловатый, лицо унылое. Но одет чисто – в тёмно-синюю пару дорогого сукна, в хорошие ботинки с гамашами, а в галстухе – булавка с бирюзой.

«Какой-нибудь по электричеству», – сообразила барышня, усевшись в кресло, осматривая мужчину.

– Вы по электричеству служите?

Он круто обернулся к ней.

– Почему вы так думаете?

– Догадываюсь.

– Нет, я по другой части...

Старичок внёс два стакана чая, положил на стол ключ от двери.

– Больше ничего?

Барышня, не ответив старику, взяла стакан чая в ладони.

– Холодно!

– Да, холодно, – слишком торопливо повторил мужчина, садясь в продавленное кресло и потирая колени. – И, главное, – внутри холодно, в душе холодно и пусто. Даже как будто и вовсе нет души, – это бывает с вами?

– Бывает, отчего же нет? – солидно отозвалась барышня.

– Вы боитесь этого?

Она посмотрела на него исподлобья, не отвечая. Мужчина улыбался, и это было неприятно: говорит грустно, а сам улыбается. Всё шло не так, не обычно. Другой бы сел рядом, обнял и весело заговорил о разных пакостях. А этот сидит где-то далеко, не обращая внимания на даму, тянет слово за словом, как полусонный; время идёт медленно и скучно. Улыбается он какой-то раздавленной улыбкой, – это не улыбка весёлого человека, который собрался пошалить, и не улыбка привычного распутника, презирующего женщину.

Выпив стакан горячего чая, барышня спросила, перебив его речь:

– Ну, что же, будем раздеваться?

Он вскинул голову; смешно, с явным удивлением посмотрел на неё и вдруг задёргался, ощупывая карманы, торопливо говоря:

– Нет... Извините меня! Я ведь хотел только побеседовать. Иногда, знаете, ужасно хочется поговорить с незнакомым человеком. Потому что знакомые, видите ли, – как это вам сказать? Всё ужасно опустошено. Неужели – все так, а? У всех эта пустота в душе? Ужасная жизнь!

– Ужа, ужи, – вполголоса повторила барышня, сдвигая брови. – Почему вы такой скушный?

– Да, я, должно быть, очень скучный.

Ей стало немножко жаль этого чудака.

– Вы – женатый?

– Нет...

– Да? Конечно, бывают и весёлые. Но у всякого – свой характер – верно?

– Иногда – нестерпимо хочется чего-то...

– Чего, котик?

– Чего-то небывалого, особенного. – Барышня подозрительно отодвинулась, а он, хрустнув пальцами, сказал:

– Всё так знакомо...

И опустил голову.

«Вынет пистолет да и...» – вздрогнув, подумала барышня и тотчас, сделав ласковое лицо, кокетливо прищурилась, говоря:

– Разве я вам не нравлюсь?

– О, нет, – сказал он вполголоса, не поднимая головы. – Нет, не в этом дело!

Подвинулся к ней, сжав кулак до того крепко, что побелела кожа на суставах пальцев, виновато выговаривая:

– Видите ли, – поймите меня! – я хотел просто поговорить... с человеком...

Усмехнувшись, он разжал кулак. Барышня спросила:

– Это мне?

И двумя пальцами взяла с ладони красную бумажку.

– Пожалуйста! Вы извините меня! Я – уйду.

Барышня расправила билет, подёргала его за углы и великодушно предложила:

– А то – останьтесь?

Но он, уже одетый, сунул ей руку:

– Прощайте!

Барышня ласково кивнула головой:

– До свиданья, котик!

Сунув ноги в галоши, он с треском растворил дверь, обернулся и, заглядывая в комнату, сказал:

– Вы – не беспокойтесь, я сам заплачу старику...

– Ф-фу, – вздохнула барышня, услышав, как хлопнула наружная дверь.

Потом, посмотрев бумажку на свет лампы, сказала вполголоса:

– Какой дурак!..

И начала не торопясь одеваться, напевая:

Что он ходит за мной,
Всюду ищет м-меня?
[День сгоревший хороня...]
День сгоревший хороня,
Ходит Ночь в немой тревоге
От огня и до огня
По дороге, без дороги.
Потеряв от скорби разум,
Смотрит Ночь печальным глазом
Во дворцы и окна хат –
Всюду, где огни горят.
Встанет тихо под оконцем:
«О, зачем горят огни?
Умер день, рождённый солнцем,
Не зажечь другие дни!»
Вот – глядит в моё окно:
«Слушай, – спать пора давно.
Боль – бессонницей не лечат!
Погаси же свои свечи!»
Я – смеюсь: «Ошиблась ты!
Разве здесь свеча пылает?
Здесь горят мои мечты,
Это – сердце догорает!»
Слышу тихий вздох вдовы,
Шелест шёлковой травы,
Птицы, вспугнуты совою,
Осыпают сосен хвою.
Листья чёрные латаний,
Точно пальцы злой руки,
Разрывают Ночи ткани.
Как шаги её легки!
И под нежными шагами
Светят росы жемчугами,
Шепчет росная трава
Ночи нежные слова.
...Так, до самого рассвета,
День сгоревший хороня,
В бархат траурный одета,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma

Ходит Ночь вокруг меня.
[Иду межой среди овса...]
Иду межой среди овса
На скрытую, в кустах, дорогу,
А впереди горят леса –
Приносит леший жертву богу.
Над жёлтым полем – жёлтый дым,
И крепко пахнет едким чадом.
Ёж пробежал, а вслед за ним
Крот и мышонок мчатся рядом.
Ползут ватагой муравьи
И гибнут на земле горячей,
В пыли дорожной колеи
Навозный жук свой шарик прячет.
Желтеет робкий лист осин,
Ель – рыжей ржавчиной одета,
А солнце – точно апельсин –
Совсем оранжевого цвета.
Тяжёл полёт шмелей и пчёл
В угарном дыме надо мной.
Вот – можжевельник вдруг расцвёл
Неопалимой купиной.
Огней собачьи языки
Траву сухую жадно лижут,
И вижу я, что огоньки
Ползут ко мне всё ближе, ближе.
Смотрю на них, едва дыша
Горячей, едкой влагой смрада,
И странная моя душа
Поёт, чему-то детски рада.
Из дневника

В мире живут две мысли: одна, смело глядя во тьму загадок жизни, стремится разгадать их, другая признаёт тайны необъяснимыми и, в страхе пред ними, обоготворяет их.

Для одной – нет непознаваемого, существует только непознанное, другая – верит, что мир непознаваем навсегда.

Первая идёт сквозь хаос явлений бытия, бесстрашно касаясь всего на трудном пути своём и всё оживляя энергией своею, даже немые камни заставляет она красноречиво рассказывать о начале жизни; вторая – пугливо бросается из стороны в сторону, безуспешно пытаясь найти оправдание своего бытия.

– Существуют ли я? – спрашивает она сама себя, тогда как первая говорит:

– Я – действую!

Первая нередко сама отдаёт себя мукам сомнений в силе своей, но холод скептицизма только оздоравливает её, и, ещё более сильная, она снова видит цель бытия в деянии; вторая – всегда живёт в страхе пред собою, ей кажется, что кроме неё есть нечто высшее – начало, родственное ей, но – враждебное и грозно охраняющее тайну своего бытия.

Цель первой – бесконечное движение от одной истины к следующей и сквозь все – к последней, какова бы она ни была; цель второй – найти в мире вечного движения, вечных колебаний мёртвую точку и утвердить на ней непререкаемый догмат, сковать дух исследования и критики железными оковами внушения.

Одна – философствует из любви к мудрости, будучи мужественно уверена в силе своей; другая – размышляет со страха, в чаянии победить страх.

Они обе свободны, одна – как всякая энергия, другая – как бездомная собака, она визжит пред каждой дверью, за которой чувствуется тепло, покой и дешёвенький уют.

Чаще всего эта вторая мысль пресмыкается на папертях храмов, умоляя о милостыне внимания к ней – силу, созданную её же страхом.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Это она, разлагаясь, отравляет землю ядами метафизики и мистики, первая же мысль на пути своём украшает мир дарами искусства и науки.

Миша

Миша был мальчик–непоседа, ему всегда хотелось что–нибудь делать, и, если его не отпускали гулять, он целый день вертелся, как волчок, под ногами взрослых.

Каждому мальчику и девочке хорошо известно, что взрослые – народ, всегда занятый какими–то скучными делами, поэтому они ужасно часто говорят маленьким:

«Не мешайте!»

Мише особенно часто приходилось слышать это слово и от мамы, которая вечно была занята делами, и от папы, который целые дни сидел у себя в кабинете, сочиняя разные книжки, очень большие и, должно быть, скучные, – Мише не давали читать эти книжки.

Мама была очень хорошая, точно куколка, и папа тоже, но он был похож не на куклу, а на индейца.

Вот однажды перед весной, когда погода испортилась, каждый день шёл дождь и снег, гулять было нельзя и Миша особенно усердно мешал папе с мамой заниматься делами, папа спросил его:

– Слушай, Миша, тебе очень скучно?

– Как арифметика! – сказал Миша.

– Ну, возьми вот эту тетрадку и записывай в неё всё интересное, что с тобой случится, понимаешь? Это называется: «дневник». Ты будешь вести дневник!

Миша взял тетрадку и спросил:

– А что случится интересное?

– Я же не знаю! – сказал папа, закуривая папироску.

– А почему не знаешь?

– Потому что когда я был маленький, то плохо учился и ко всем приставал с глупыми вопросами, а сам ни о чём не думал, – понял? Ну, иди!

Миша понял, что папа намекает на него и не желает говорить с ним; он хотел обидеться, Миша, да уж очень хорошие глаза были у папы. Он только спросил:

– А кто будет делать интересное?

– Ты сам, – ответил папа. – Уходи, пожалуйста, не мешай!

Миша ушёл в свою комнату, разложил тетрадку на столе и, подумав, написал на первой странице:

«Это дневник.

Папа дал мне хоршую тетрадку. Если я буду писать в нее что хочу, так будет интересное».

Написал, посидел немножко, осмотрел комнату, – всё в ней такое знакомое.

Он встал и отправился к папе. Папа встретил его нелюбезно.

– Ты, брат, опять явился?

– Смотри, – сказал Миша, подавая тетрадку, – вот я уж написал. Так надо?

– Так, так, – торопливо сказал папа. – Только «это» пишется через «э», и не «хоршую», а «хорошую», – иди!

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma

– А что надо ещё писать? – спросил Миша, подумав.

– Всё, что хочешь! Выдумай что-нибудь и пиши... стихи пиши!

– Которые стихи?

– Не которые, а сам сочини! Отстань, приставала!

Папа взял его за руку, вывел за дверь и плотно закрыл её. Это уж было невежливо, и теперь Миша обиделся. Придя к себе, он снова сел за стол, развернул тетрадь и стал думать: «И чего бы ещё написать?» Было скучно. Мама считает бельё в столовой; в кухню, где всегда интересно, не велют ходить, а на улице – дождь и туман.

Было утро, четверть десятого, Миша посмотрел на часы и вдруг тихонько усмехнулся, а потом написал:

На стене висят часы,
У них стрелки, как усы.

Он очень обрадовался, что у него вышли стихи; вскочил и побежал в столовую, крича:

– Мам, мам, я стихи сочинил, смотри-ка!

– Девять, – сказала мама, перекладывая салфетки. – Не мешай. Десять, одиннадцать...

Миша обнял её одной рукой за шею, а другой поднёс тетрадку прямо к носу ей.

– Да мама же! Ты посмотри...

– Двенадцать, – о, господи! Ты меня свалишь на пол...

Она всё-таки взяла тетрадку, прочитала стихи и огорчила Мишу, сказав:

– Ну, это, наверное, папа тебе подсказал, а во-вторых, «на стене» пишется через «ять» в обоих случаях.

– И в стихах через «ять»? – печально спросил Миша.

– Да, да, в стихах, – не мешай мне, пожалуйста; иди, занимайся!

– Чем?

– Ах! Ну, пиши стихи дальше...

– А как надобно дальше?

– Придумай сам. Ну, висят часы, они тикают звучно... и ещё что-нибудь, вот и будут стихи.

– Хорошо, – сказал Миша и покорно ушёл к себе. Там он написал о часах мамыны слова:

Часы тикают звучно,
но дальше ничего не мог придумать, а уж как старался, даже подбородок себе выпачкал чернилами, не только пальцы.

И вдруг, – как будто кто-то подсказал ему, – он придумал четвёртую строку:

А мне всё-таки скучно!

Это правда: Мише было очень скучно, но когда он написал четвёртую строку, то ему от радости даже жарко стало.

Он вскочил и стремглав помчался к папе, но папа – хитрый человек! – запер дверь кабинета. Миша постучал.

– Кто там? – спросил папа из-за двери.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma

- Открой скорее, – горячо сказал Миша, – это я. Я стихи написал, очень ловко.
- Поздравляю, продолжай, – пробормотал папа.
- Так я хочу прочитать тебе!
- После прочитаешь...
- Я сейчас хочу!
- Мишка, отстань!

Миша наклонился к скважине дверного замка и прочитал стихи, но вышло так, как будто он в колодезь кричал, – папа не ответил ему.

Это окончательно обидело Мишу, он снова тихонько ушёл в свою комнату, минуту постоял у окна, прижав лоб к холодному стеклу, а потом сел за стол и начал писать то, что думал.

«Папа обманул меня, что если писать дневник, так будет интересно, – ничего не будет. Это он, чтобы я ему не мешал. Уж я знаю. Когда мама сердится, он называет маму злая курица, а сам тоже. Вчера я играл в кегли его серебряным портсигаром, так он рассердился получше мамы. А сам говорит. Они оба такие. Когда Нина Петровна, которая поёт, разбила чашку, так они сказали: это ничего и пустяки, а когда я чего-нибудь разбиваю, так они говорят сто слов».

Вспомнив, как несправедливо обращаются с ним папа и мама, Миша едва не заплакал, так жалко ему стало и себя и папу с мамой; оба они такие хорошие, а с ним не умеют хорошо вести себя.

Он встал и снова подошёл к окну: на карнизе сидел, ощипываясь, мокрый воробей. Миша долго смотрел, как он прихорашивается, разглаживая жёлтым носом русые свои перья, около носа они заершились у него, точно усы у папы.

Потом Миша подумал стихами:

Ножки у птички
Тонкие, как спички.
Глазки – точно бусинки,
Русенькие усики.

Дальше стихами не думалось, но и этого было достаточно. Миша почувствовал гордость собою, подбежал к столу, записал стихи и приписал ещё:

«Стихи писать очень просто, нужно только посмотреть на что-нибудь, вот и всё, а они уж сами сложатся. Пускай папа не форсит, я тоже захочу, так буду писать книжки, да ещё стихами. Научусь ставить знаки препинания и «ять» где надо, вот и буду. Рама, мама, упряма, дама. Из этого тоже можно сделать стихи, а я не хочу. Я не буду писать стихи и дневник тоже. Если вам не интересно, так и мне тоже, и не надо заставлять меня писать. И, пожалуйста, не приставайте ко мне».

Мише стало так грустно, что он чуть-чуть не заплакал, но в это время пришла учительница Ксения Ивановна, маленькая, румяная, с жемчужными капельками тумана на бровях.

– Здравствуй, – сказала она. – Отчего ты такой надутый?

Миша важно нахмурил брови:

– Не мешайте мне! – проговорил он папиным голосом и написал в тетрадке:

«Папа называет учительницу курносенькой девчушкой и что ей ещё надо в куклы играть».

– Что с тобой? – удивилась учительница, растирая кукольными лапками свои розовые щёки. – Что ты пишешь?

– Нельзя сказать, – ответил Миша. – Это папа велел написать дневник и всё

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru
интересное, о чём я думаю. Обо всём.

– Что же ты придумал интересного? – спросила учительница, заглянув в тетрадку.

– Ещё ничего нет, только стихи, – сказал Миша.

– Ошибок-то, ошибок! – воскликнула учительница. – Стихи, да. Ну, это, конечно, папа сочинил, а не ты..

Миша снова обиделся: что такое? Никто не верит ему! И сказал учительнице:

– Если так, тогда я не буду заниматься!

– Это почему?с

– Потому, что не буду!

Тут учительница прочитала то, что Миша написал о ней, покраснела, взглянула в зеркало и тоже обиделась:

– Ах ты, и про меня написал, вот как! Это правда, что папа говорит?

– Вы думаете, он вас боится? – спросил Миша.

Учительница подумала, ещё раз взглянула в зеркало и сказала:

– Так не хочешь заниматься?

– Нет.

– Хорошо. Пойду спрошу, как посмотрит на это мама.

Она ушла.

Миша посмотрел вслед ей и стал писать: «Я накапризничал Ксении Ивановне, как мама папе, пусть она не пристаёт и не мешает. Если меня никто не любит, то всё равно. Потом я извинюсь перед учительницей и тоже запишу в тетрадку. И буду писать целый день, как папа, и никто меня не увидит. И обедать не буду никогда, даже когда на сладкое печёные яблоки. Не буду ночью спать, всё пишу-пишу, и пусть мама утром говорит мне, как папе, что я изведусь и у меня будут нервы. И плачет. А мне всё равно. Если меня никто не любит, так уж всё равно».

Он едва успел дописать, как в комнату вошла мама с Ксенией Ивановной; мама молча взяла у него тетрадку, и её милые глаза, улыбаясь, стали читать Мишины мысли.

– Господи, – тихонько воскликнула она. – Ах, какой... Нет, это нужно показать отцу!

Она ушла с тетрадкой в руках.

«Накажут!» – подумал Миша и спросил учительницу:

– Наябедничали?

– Но если ты не слушаешься...

– Я не лошадь, чтобы слушаться...

– Миша! – вскричала учительница, но Миша сердито продолжал:

– Я не могу учиться и думать обо всём и всё записывать...

Он мог бы сказать ещё многое, но вошла горничная и сказала, что его зовёт папа.

– Слушай-ка, брат! – заговорил папа, придерживая ладонью усы, чтобы они не шевелились, а в другой руке зажав Мишину тетрадку, – поди-ка сюда!

Папины серые глаза светились весело, а мама лежала на диване, уткнув голову в

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru
кучу маленьких подушек, и плечи её дрожали, как будто она смеялась.

«Не накажут», – догадался Миша.

Папа поставил его перед собой, сжал коленями и, приподняв пальцем Мишин подбородок, спросил:

– Ты капризничаешь, да?

– Да, капризничаю, – сознался Миша.

– А зачем это?

– Так.

– Ну, всё-таки зачем?

– Да я не знаю, – сказал Миша, подумав. – Ты не обращаешь на меня внимания, мама тоже не обращает, и учительница тоже... нет, она не тоже, – она пристаёт!

– Ты обиделся? – тихонько спросил папа.

– Ну да, обиделся, конечно...

– А ты не обижайся! – дружески посоветовал папа. – Это не я тебя обижаю и не мама, – видишь, она хохочет тихонько, валяясь на диване? И мне тоже смешно, да я уж потом похохочу...

– А почему смешно? – спросил Миша.

– Я тебе скажу почему, только после.

– Нет, почему? – настаивал Миша.

– Да, видишь ли, ты у нас очень смешной!

– Ну-у, – недоверчиво сказал Миша.

Папа посадил его на колени себе и сказал, пощекотав за ухом:

– Давай говорить серьёзно, ладно?

– Ладно, – согласился Миша и нахмурил брови.

– Никто тебя не обижал, это плохая погода обижает тебя, понял? Была бы хорошая погода, солнце, весна, ты бы гулял, и всё было бы хорошо! А в дневнике ты чепуху написал...

– Сам велел, – сказал Миша, пожимая плечами.

– Ну, брат, чепуху писать я тебя не просил!

– Может, не просил, – согласился Миша. – Я уж не помню. А у меня чепуха вышла?

– Вышла, брат! – сказал папа, качая головой.

– А у тебя, когда ты пишешь, тоже чепуха выходит? – спросил Миша.

Мама вскочила с дивана и убежала, точно у неё кофе перекипел, она даже зафыркала, как фыркает кипящий кофейник. Миша понял, что это она смеётся, но только не хочет показать, что ей смешно.

Эти взрослые – тоже порядочные притворяшки. Папе тоже хотелось смеяться, он надул щёки докрасна, оцетинил усы и фыркал носом.

– У меня, – сказал он, – тоже иногда чепуха выходит. Это очень трудно – писать, чтобы всё было хорошо и правдиво. Стишки ты придумал неплохо, а всё остальное не годится.

– Почему? – спросил Миша.

– Серdito очень. Ты у меня – критик, а я не знал этого, – ты всех критикуешь. Это нужно начинать с себя самого, ты сначала себя хорошенько раскритикуй. А то и этого не надо, давай лучше бросим писать дневник.

Раскрашивая красным и синим карандашом папину бумагу, Миша сказал:

– Давай бросим, а то это тоже скучно, как учиться. Только ты сам ведь выдумал это, – ты сказал: «Пиши, будет интересно». Я и стал писать, а ничего не случилось. Слушай-ка, можно сегодня не учиться?

– Почему? – спросил папа.

– Я лучше почитаю с Ксенией Ивановной.

– Можно не учиться, – весело согласился папа. – Только нам с тобой надобно извиниться перед учительницей, а то мы наговорили и написали про неё не... ладно!

Папа встал и, ведя Мишу за руку в его комнату, тихонько сказал:

– Конечно, это правда, что она немножко курносенькая, но лучше не напоминать ей об этом. Этого, брат, не исправишь словами, и нос на всю жизнь даётся тот или иной. Вот у тебя веснушки на носу и по всей рожице, – ладно ли будет, если я тебя стану звать пёстреньким?

– Неладно, – согласился Миша.

На этом и кончается благополучная история о том, как Миша писал дневник.

Из воспоминаний

Интересно умирал один мой знакомый, человек лет под шестьдесят, благовоспитанный и симпатичный, один из тех людей, которые всю жизнь ищут применения своим недюжинным силам и умирают, не успев израсходовать себя.

Он любил естественные науки и хорошие сигары, записывал стенографическими знаками в чёрную книжку какие-то наблюдения и мысли и охотно философствовал, поучая меня:

– Всего бесполезнее человеку – философия!

Умирал он в тесной, грязненькой кухне; его койка была выдвинута на середину пола, и прямо пред глазами у него – закопчённое жирным дымом чело печи, на шестке – грязная посуда и, конечно, тараканы. За его изголовьем пара маленьких окон, сквозь радужные стёкла виден грязный двор, полуразрушенный сарай и помойная яма рядом с ним. На подоконниках стояли два цветочных горшка, в них торчат луковицы, выпустив острые, зелёные перья.

И прежде не однажды я видел, как смерть играет свою тёмную игру, но никогда ещё не чувствовал столь острой обиды, наблюдая её подлую игру.

Умирать нужно так же красиво и чисто, как следует жить, – а тут всюду грязь, копать, тараканы на стенах и эти жалкие луковицы.

Я сидел в ногах старика, прикладывая к сухим, холодным подошвам его бутылки с горячей водою; он задыхался, хрипел и почти непрерывно говорил, спокойный, как будто наблюдающий за собою откуда-то со стороны.

– Горячая вода, очень? – спрашивал он с клокотаньем в горле.

– Очень.

– А ноги уже не чувствуют. Не чувствуют – баста!

За окном по двору ходит золотистый петух, самодовольно взмахивая ярко-красным гребнем, в жирных лужах блестят лучи солнца, встречу солнцу нагло разинула зловонную пасть помойная яма.

Я спрашиваю умирающего:

– А вообще как вы себя чувствуете?

– Вероятно, так же, как огарок свечи, догорая. Это, конечно, ничего не говорит вам. И мне тоже. Никто не знает ощущений догорающей свечи...

Его лицо, обсосанное болезнью, спокойно, несмотря на лихорадочный блеск красивых и умных глаз. Сухие волосы седой бороды торчат, как иглы ежа, и кажутся ломкими, на голове они тоже сухи, но спутаны. Вздывается острый кадык, натягивая тёмно-пепельную кожу, на висках, на лбу выступил липкий, пахучий пот, мелкими, точно просо, зёрнами. Дышит старик отрывисто и шумно, жадными глотками хватая скверный воздух кухни.

– Отчего у вас такое унылое лицо? – спрашивает он, пощипывая тонкими пальцами одеяло.

– Не вижу причин веселиться.

– Я вас расстраиваю?

– Но, боже мой...

– Полноте, батенька. Старики должны умирать, – это законно.

С той поры, как я встретил его, я не помню, чтоб он волновался по тому или иному поводу. О себе он говорил немного и всегда как о человеке хорошо знакомом, но – мало интересном ему, обо всех явлениях жизни – как о деле, чужом для него.

Невидимая, таинственная сила медленно уничтожает жизнь в тесной клетке, наполненной грязью.

– Понимаете, – говорит он, с трудом выталкивая слова из пересмякших губ и касаясь моей руки горячим пальцем. – Я всё-таки думал, что меня несколько испугает это умирание. Но – не чувствую страха. Пока. И вообще – не чувствую ничего мистического. Даже – не обидно. Хотя – устал. А сверх всего, это любопытно – умирать. Я думал – будет хуже, тяжелее. Но тяжело – физически... Внутренно, духовно...

Он прикрыл глаза, как бы вслушиваясь в своё духовное, и потом сказал:

– Ничего... не страшно...

Я верил ему и думал:

«Вспомнит он о боге, скажет о нём что-нибудь?»

Разъедаая сердце – росло чувство горечи; человек умирал так хорошо, без жалоб и стонов, так просто и мужественно, а вокруг эта унижительная грязь нищеты, дурацки важный петух за окном и до губ набитая грязью помойная яма. Если б я мог положить его в светлую комнату, одеть в чистое бельё, украсить цветами! И нужно, чтоб тихо играла виолончель. Я думаю об этом и знаю, что это глупо, смешно. Я вижу, что, может быть, через несколько минут этот человек замолчит, погаснет, но – так трудно поверить в это! Потом я думаю, что когда-нибудь люди победят смерть. У меня нет иных оснований верить в победу над смертью, у меня только одно основание – вот умирает человек, и это так просто, так ненужно.

А он, как будто уловив мои думы о боге и смерти, говорит, закатив глаза, бредовым голосом:

– Чудес – нет... Сказки – по эту сторону. По ту – ничего нет... очевидно. Я ожидал чего-то. Я спрашивал сам себя... До рождения – не было и по смерти – нет. Я – жалею?

И, задыхаясь, он отвечает:

– Жалеть можно только то, что было. Н-не нужно выдумывать лишнего. Нет... Я не

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
вину себя... но – ох, поднимите меня повыше... задыхаюсь!

Обняв иссохшее, лёгкое тело, я поднимаю его, а старик шепчет:

– Мне хочется что-то сказать вам... но я теряю память. Досадно!

А мне снова хочется ругать гадость нищеты. И хочется о многом спросить отходящего с земли, но я не умею или не решаюсь построить ни одного вопроса. В груди и голове у меня горит, я точно печь, полная раскалёнными углями мыслей; быстро прогорая, они обращаются в холодный пепел невыносимой тоски.

– Окончательно, – слышу я всхрипывающий голос, – задыхаюсь...

Сидя на койке, я держу в своих руках его маленькую руку; он только вчера аккуратно обрезал ногти, я помню, как тщательно он делал это, слушая чтение книги Карлейля «Sartor Resartus».

– Превосходный ум, – говорил он, полируя ногти косточкой. – Англичанин – это, прежде всего, умный человек. И вследствие этого он то, что называется – джентльмен. Быть джентльменом – это равносильно понятию быть разумным человеком.

И, покашляв, добавил с усмешкой:

– Но – есть условия, при наличии которых честнее быть бездельником... есть такие мудрые условия!

Я не понял этих слов, я тогда был молод.

Вот этот человек уже не в силах произнести связную фразу, да и голоса у него нет, он шипит, точно головня, облитая водой.

– Юноша... юношей я думал, я дал... клятву себе... понимаете ли... у большинства женщин нет половой совести... впрочем, я тоже... мы все... ох, подождите...

Смерть душила его лениво, не торопясь. Я чувствую, как холодеет, умирая в моих руках, его рука и застывают пальцы, теряя живую гибкость, вытягиваясь. Отваливается подбородок, открывая тёмную впадину рта, и в ней свалившийся направо серый язык. Дрожат ресницы, мерцая на солнце, точно металлические.

– Да-да, – невнятно шепчет он, дёргая костяными плеч и захлёбываясь, – вы помните?..

В горле у него влажно хлюпает, глаза расширяются, как у человека, которого душат, но он, быстро и упрямо глотая воздух, всё ещё силится договорить что-то и бормочет:

– Не много... нужно ума...

Это были последние его слова, он вздрогнул тихонько и замолчал, выпрямляясь.

Я знаю, что он хотел ещё раз напомнить мне свою любимую поговорку:

«Не много нужно ума для того, чтобы тебя считали умным, большинство признанных умников – только осторожные люди; но необходимо быть мудрецом, чтоб хорошо притвориться глупеньким...»

Как я учился

Когда мне было лет шесть-семь, мой дед начал учить меня грамоте. Было это так.

Однажды вечером он достал откуда-то тоненькую книжку, хлопнул ею себя по ладони, меня по голове и весело сказал:

– Ну, скула калмыцкая, садись учить азбуку! Видишь фигуру? Это – «аз». Говори: «аз»! Это – «буки», это – «веди». Понял?

– Понял.

– Врёшь.

Он ткнул пальцем во вторую букву.

– Это – что?

– «Буки».

– Это?

– «Веди».

– А это? – Он указал на пятую букву.

– Не знаю.

– «Добро». Ну – это какая?

– «Аз».

– Попал! Говори – «глаголь», «добро», «есть», «живёте»!

Он обнял меня за шею крепкой, горячей рукой и тыкал пальцами в буквы азбуки, лежавшей под носом у меня, и кричал, всё повышая голос:

– «Земля»! «Люди»!

Мне было занятно видеть, что знакомые слова – добро, есть, живёте, земля, люди – изображаются на бумаге незатейливыми, маленькими знаками, и я легко запоминал их фигуры. Часа два дед гонял меня по азбуке, и в конце урока я без ошибки называл более десяти букв, совершенно не понимая, зачем это нужно и как можно читать, зная названия буквенных знаков азбуки.

Насколько легче учиться грамоте теперь, по звуковому способу, когда «а» так и произносится – «а», а не «аз», «в» – так и есть «в», а не «веди». Великую благодарность заслужили учёные люди, придумавшие звуковой приём обучения азбуке, – сколько детских сил сохраняется благодаря этому и насколько быстрее идёт усвоение грамоты! Так – повсюду наука стремится облегчить труд человека и сберечь его силы от излишней траты.

Я запомнил всю азбуку дня в три, и вот наступило время учить слога, составлять из букв слова, теперь, по звуковому способу, это делается просто, человек произносит звуки: «о», «к», «н», «о» и сразу же слышит, что он сказал определённое, знакомое ему слово – «окно».

Я учился иначе: для того, чтоб сказать слово – «окно», я должен был проговорить длинную бессмыслицу: «он-како-наш-он-но-окно». Ещё труднее и непонятнее складывались многосложные слова, например: чтобы сложить слово «половица», нужно было выговорить «покой-он-по-по», «люди-он-ло-поло», «веди-ик-ви-полови», «цы-аз-ца-половица»! Или «червяк»: «червь-есть-че», «рцы-веди-яз-рвя-червя», «како-ер-кь-червяк»!

Эта путаница бессмысленных слогов страшно утомляла меня, мозг быстро уставал, соображение не работало, я говорил смешную чепуху и сам хохотал над нею, а дед бил меня за это по затылку или порол розгами. Но нельзя было не хохотать, говоря такую чепуху, как например: «мыслете-он-мо-мо», «рцы-добро-веди-ивин-рдвин-мордвинь»; или: «буки-аз-ба-ба», «ша-како-иже-ки-шки-башки», «арцы-ер-башкирь»! Понятно, что вместо «мордвин», я говорил «мордин», вместо «башкир» «шибир», однажды сказал вместо «богоподобен» «болтоподобен», а вместо «епископ» «скопидом». За эти ошибки дед жестоко порол меня розгами или трепал за волосы до головной боли.

А ошибки были неизбежны, потому что в таком чтении слова трудно понять, приходилось догадываться о смысле их и говорить не то слово, которое прочитал, да не понял, а похожее на него по звукам. Читаешь «рукоделье», а говоришь – «мукосей», читаешь «кружева», говоришь «жевать».

Долго – с месяц и больше – маялся я на изучении слогов, но стало ещё трудней, когда дед заставил меня читать псалтырь, написанный на церковно-славянском

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma языке. Дед хорошо и бойко читал на этом языке, но он сам плохо понимал его различие от гражданской азбук. Для меня явились новые буквы «пса», «кси», дед не мог объяснить, откуда они, бил меня кулаками по голове и приговаривал:

– Не «покой», дьяволёнок, а «пса», «пса», «пса»!

Это была пытка, она продолжалась месяца четыре, в конце концов я научился читать и «по-граждански» и «по-церковному», но получил решительное отвращение и вражду к чтению и книгам.

Осенью меня отдали в школу, но через несколько недель я заболел оспой и учение прервалось, к немалой радости моей. Но через год меня снова сунули в школу – уже другую.

Я пришёл туда в материнских башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в жёлтой рубахе и штанах «навывпуск», всё это сразу было осмеяно, за жёлтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня.

Учитель был жёлтый, лысый, у него постоянно текла кровь из носа, он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивал уроки и вдруг, замолчав на полуслове, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал её, качая головой. Лицо у него было плоское, медное, окисшее, в морщинах лежала какая-то прозелень, особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нём оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щёки ладонью.

Несколько дней я сидел в первом отделении, на передней парте, почти вплоть к столу учителя, – это было нестерпимо, казалось он никого не видит, кроме меня, он гнусил всё время:

– Песко-ов, перемени рубаху-у! Песко-ов, не вози ногами! Песков, опять у тебя с обуви луза натекла-а!

Я платил ему за это диким озорством: однажды достал половину арбуза, выдолбил её и привязал на нитке к блоку двери в полутёмных сенях. Когда дверь открылась – арбуз взехал вверх, а когда учитель притворил дверь – арбуз шапкой сел ему прямо на лысину. Сторож отвёл меня с запиской учителя домой, и я расплатился за эту шалость своей шкурой.

В другой раз я насыпал в ящик его стола нюхательного табаку, он так расчихался, что ушёл из класса, прислав вместо себя зятя своего – офицера, который заставил весь класс петь «Боже, царя храни» и «Ах, ты, воля, моя воля». Тех, кто пел неверно, он щёлкал линейкой по головам как-то особенно звучно и смешно, но не больно.

Законоучитель, красивый и молодой, пышноволосый поп, невзлюбил меня за то, что у меня не было «Священной истории ветхого и нового завета» и за то, что я передразнивал его манеру говорить.

Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня:

– Пешков, книгу принёс или нет? Да. книгу?

Я отвечал:

– Нет. Не принёс. Да.

– Что – да?

– Нет.

– Ну, и – ступай домой. Да. Домой. Ибо тебя учить я не намерен. Да. Не намерен.

Это меня не очень огорчало, я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам слободы, присматривался к её шумной жизни.

Несмотря на то, что я учился сносно, мне скоро было сказано, что меня выгонят из

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma школы за недостойное поведение. Я приуныл – это грозило мне великими неприятностями.

Но явилась помощь – в школу неожиданно приехал епископ Хрисанф.

Когда он, маленький, в широкой чёрной одежде сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал:

«Ну, давайте беседовать, дети мои!» – в классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным.

Вызвав, после многих, и меня к столу, он спросил серьёзно:

– Тебе – который год? Только-о? Какой ты, брат, длинный, а? Под дождями часто стоял, а?

Положив на стол сухонькую руку, с большими острыми ногтями, забрав в пальцы непышную бородку, он уставился в лицо мне добрыми глазами, предложив:

– Ну-ко, расскажи мне из священной истории, что тебе нравится?

Когда я сказал, что у меня нет книги и я не учу священную историю, он поправил клубок и спросил:

– Как же это? Ведь это надобно учить! А может, что-нибудь знаешь, слышал? Псалтырь знаешь? Это хорошо! И молитвы? Ну, вот видишь! Да ещё и жития? Стихами? Да ты у меня знающий.

Явился наш поп, красный, запыхавшийся, епископ благословил его, но когда поп стал говорить про меня, он поднял руку, сказав:

– Позвольте минутку... Ну-ко, расскажи про Алексея человека божия?...

– Прехорошие стихи, брат, а? – сказал он, когда я приостановился, забыв какой-то стих. – А ещё что-нибудь?.. Про царя давида? Очень послушаю!

Я видел, что он действительно слушает и ему нравятся стихи; он спрашивал меня долго, потом вдруг остановил, осведомляясь быстро:

– По псалтырю учился? Кто учил? Добрый дедушка-то? Злой? Неужто? А ты очень озорничаешь?

Я замялся, но сказал – да! Учитель с попом многословно подтвердили моё сознание, он слушал их, опустив глаза, потом сказал, вздохнув:

– Вот что про тебя говорят – слышал? Ну-ко, подойди!

Положив на голову мне руку, от которой исходил запах кипарисового дерева, он спросил:

– Чего же это ты озорничаешь?

– Скушно очень учиться.

– Скушно? Это, брат, неверно что-то. Было бы тебе скучно учиться – учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.

Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он написал:

– Пешков, Алексей. Так. А ты всё-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то! Немножко – можно, а уж много-то – досадно людям бывает! Так ли я говорю, дети?

Множество голосов весело ответили:

– Так.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Вы сами-то ведь немного озорничаете?

Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:

– Нет. Тоже много! Много!

Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивлённо сказал, так, что все – даже учитель с попом – засмеялись:

– Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши годы-то великим озорником был! Отчего бы это, братцы?

Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и всё усугублял весёлость. Наконец встал и сказал:

– Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!

Поднял руку, смахнул рукав к плечу и, крестя всех широкими взмахами, благословил:

– Во имя отца и сына и святого духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.

Все закричали:

– Прощайте, владыко! Опять приезжайте.

Качая кlobуком, он говорил:

– Я приеду, приеду! Я вам книжек привезу!

И сказал учителю, выплывая из класса:

– Отпустите-ка их домой!

Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклоняясь ко мне:

– Так ты – сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь! Ну, прощай, брат!

Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, я выслушал его внимательно, охотно.

Поп, надевая шубу, ласково гудел:

– Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но – сиди смиренно! Да. Смирно.

Поправились дела мои в школе – дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребёнком; скучая, я развернул одну из книг вотчима «Запнски врача» Дюма-отца, и между страниц увидел два билета – в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл её и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:

– Сказки – чушь, а вот Робинзон – это настоящая история!

Нашлось ещё несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нём – это чушь!

На другой день я принёс в школу «Священную историю» и два растрёпанных тома сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В тёмной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в жёлтой обложке, и на первом листе изображён бородатый человек в меховом колпаке, в

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
звериной шкуре на плечах, – это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности
были милые, несмотря на то, что растрепаны.

Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» – она сразу взяла всех за сердце.

«В Китае все жители – китайцы и сам император – китаец», – помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и ещё чем-то удивительно хорошим.

Мне не удалось дочитать «Соловья» в школе – не хватило времени, а когда я пришёл домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:

– Ты взял рубль?

– Взял; вот – книги...

Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев.

В школе я проучился почти всю зиму, а летом умерла моя мать, и дед тотчас же отдал меня «в люди» – в ученики к чертёжнику. Хотя я и прочитал несколько интересных книг, но всё-таки особенного желания читать у меня не было, да и времени на это не хватало. Но скоро это желание явилось и сразу же стало сладкой мукой моей – об этом я подробно рассказал в книжке моей «В людях».

Сознательно читать я научился, когда мне было лет четырнадцать. В эти годы меня увлекала уже не одна фабула книги, – более или менее интересное развитие изображаемых событий, – но я начинал понимать красоту описаний, задумываться над характерами действующих лиц, смутно догадывался о целях автора книги и тревожно чувствовал различие между тем, о чём говорила книга, и тем, что вносила жизнь.

Жилось мне в ту пору трудно, – моими хозяевами были закоренелые мещане, люди, главным наслаждением которых являлась обильная еда, а единственным развлечением – церковь, куда они ходили, пышно наряжаясь, как наряжаются, идя в театр или на публичное гулянье. Работал я много, почти до оупения, будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом.

Дом, в котором жили мои хозяева, принадлежал «подрядчику землекопных и мостовых работ», маленькому коренастому мужику с Клязьмы. Остробородый, сероглазый, он был зол, груб и как-то особенно спокойно жесток. У него было человек тридцать рабочих, все – владимирские мужики; жили они в тёмном подвале с цементным полом и маленькими окнами ниже уровня земли. Вечерами, измученные работой, поужинав щами из квашеной вонючей капусты с требухой или солониной, от которой пахло селитрой, они выползали на грязный двор и валялись на нём, – в сыром подвале было душно и угарно от огромной печи. Подрядчик являлся в окне своей комнаты и орал:

– Эй, вы, дьяволы, опять на двор вылезли? Развалились, свиньи! У меня в доме хорошие люди живут – али им приятно глядеть на вас?

Рабочие покорно уходили в подвал. Все это были люди печальные, они редко смеялись, почти никогда не пели песен, говорили кратко, неохотно и, всегда выпачканные землёй, казались мне покойниками, которых воскресили против их воли для того, чтобы мучить ещё целую жизнь.

«Хорошие люди» – офицеры, картёжники и пьяницы, они били денщиков до крови, били любовниц, пёстро одетых женщин, куривших папирсы. Женщины тоже напивались и хлестали денщиков по щекам. Пили и денщики, пили помногу, насмерть.

В воскресные дни подрядчик выходил на крыльцо и садился на ступени, с длинной узкой книжкой в одной руке, с обломком карандаша в другой; к нему гуськом, один за другим, подходили землекопы, точно нищие. Они говорили пониженными голосами, кланяясь и почёсываясь, а подрядчик орал на весь двор:

– Ладно, будет! Бери целковый! Чего? А в морду – хочешь? Хватит с вас! Иди прочь... Но!

Я знал, что среди землекопов есть немало однопорядочников, есть родственники его, но он со всеми был одинаково жесток и груб. И землекопы были тоже жестоки и грубы в отношении друг к другу, а особенно – к денщикам. Почти каждое воскресенье на дворе разгорались кровавые драки, гудела трёхэтажная грязная ругань. Землекопы дрались беззлобно, как бы выполняя надоевшую им обязанность; избитый до крови отходил или отползал в сторону и там молча осматривал свои царапины, раны, ковырял грязными пальцами расшатанные зубы.

Разбитое лицо, затёкшие от ударов глаза никогда не вызывали сострадания товарищей, но если была разорвана рубаха – все сожалели об этом, а избитый хозяин рубахи угрюмо злился, иногда плакал.

Эти сцены вызывали у меня неопишимо тяжёлое чувство. Мне было жалко людей, но я жалел их холодной жалостью, у меня никогда не возникало желания сказать кому-нибудь из них ласковое слово, чем-либо помочь избитым – хотя бы воды подать, чтобы они смыли отвратительно густую кровь, смешанную с грязью и пылью. В сущности, я не любил их, немножко боялся и – произносил слово «мужик» так же, как мои хозяева, офицеры, полковой священник, сосед-повар и даже денщики, – все эти люди говорили о мужиках с презрением.

Жалеть людей – это тяжело, всегда хочется радостно любить кого-нибудь, а любить было некого. Тем горячее я полюбил книги.

Было и ещё много грязного, жестокого, вызывавшего острое чувство отвращения, – я не буду говорить об этом, вы сами знаете эту адскую жизнь, это сплошное издевательство человека над человеком, эту болезненную страсть мучить друг друга – наслаждение рабов. И вот в такой проклятой обстановке я впервые стал читать хорошие, серьёзные книги иностранных литераторов.

Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как велико было моё изумление, когда я почувствовал, что почти каждая книга как бы открывает предо мною окно в новый, неведомый мир, рассказывая мне о людях, чувствах, мыслях и отношениях, которых я не знал, не видел. Мне казалось даже, что жизнь, окружающая меня, всё то суровое, грязное и жестокое, что ежедневно развёртывалось предо мною, всё это – не настоящее, ненужное; настоящее и нужное только в книгах, где всё более разумно, красиво и человечно. В книгах говорилось тоже о грубости, о глупости людей, об их страданиях, изображались злые и подлые, но рядом с ними были другие люди, каких я не видал, о которых даже не слышал, – люди честные, сильные духом, правдивые, всегда готовые хоть на смерть ради торжества правды, ради красивого подвига.

Первое время, опьянённый новизною и духовной значительностью мира, открытого для меня книгами, я стал считать их лучше, интереснее, ближе людей и – как будто – немного ослеп, глядя на действительную жизнь сквозь книги. Но суровая умница-жизнь позаботилась вылечить меня от этой приятной слепоты.

По воскресеньям, когда хозяева уходили в гости или гулять, я вылезал из окна душной, пропахшей жиром кухни на крышу и там читал. По двору плавали, как сомы, полупьяные или сонные землекопы, визжали горничные, прачки и кухарки от жестоких нежностей денщиков, я – посматривал с высоты на двор и величественно презирал эту грязную, пьяную, распутную жизнь.

Один из землекопов был десятник, или «нарядчик», как они звали его, угловатый, неладно сделанный из тонких костей и синих жил старичок Степан Лешин, человек с глазами голодного кота и седенькой, смешно рассеянной бородкой на коричневом лице, на жилистой шее и в ушах. Оборванный, грязный, хуже всех землекопов, он был самый общительный среди них, но они заметно боялись его, и даже сам нарядчик говорил с ним, понижая свой крикливый, всегда раздражённый голос. Я не раз слышал, как рабочие ругали Лешина за глаза:

– Скупой чёрт! Иуда! Холуй!

Старичок Лешин был очень подвижен, но не суетлив, он как-то тихонько, незаметно являлся то в одном углу двора, то в другом, везде, где собиралось двое-трое людей: подойдёт, улыбнётся кошачьими глазами и, шмыгнув широким носом, спрашивает:

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
– Ну, что, а?

Мне казалось, что он всегда чего-то ищет, ждёт какого-то слова.

Однажды, когда я сидел на крыше сарая, Лешин, побрякивая, влез ко мне по лестнице, сел рядом и, понюхав воздух, сказал:

– Сенцом пахнет... Это ты хорошо место нашёл – и чисто, и от людей в стороне... Чего читаешь?

Он смотрел на меня ласково, и я охотно рассказал ему о том, что читал.

– Так, – сказал он, покачивая головой. – Так – так!

Потом долго молчал, ковыряя чёрным пальцем руки разбитый ноготь на левой ноге, и вдруг, скосив глаза на меня, заговорил, негромко и певуче, точно рассказывая:

– Был во Владимире учёный барин Сабанеев, большой человек, а у него – сын Петруша. Тоже всё книжки читал и других к тому приохочивал, так его – заарестовали.

– За что? – спросил я.

– За это самое! Не читай, а коли читаешь – помалкивай!

Он усмехнулся, подмигнул мне и сказал:

– Гляжу я на тебя – сурьезный ты, не озоруешь. Ну, ничего, живи...

И, посидев на крыше ещё немножко, он спустился на двор. После этого я заметил, что Лешин присматривается ко мне, следит за мной. Он всё чаще подходил ко мне со своим вопросом:

– Ну, что, а?

Однажды я рассказал ему какую-то очень взволновавшую меня историю о победе доброго и разумного начала над злым, он выслушал меня очень внимательно и, качнув головой, сказал:

– Бывает.

– Бывает? – радостно спросил я.

– Да ведь – а как же? Всё бывает! – утвердил старик. – Вот я те поведаю...

И «поведал» мне тоже хорошую историю о живых, не книжных людях, а в заключение сказал, памятно:

– Конечно, ты эти дела вполне понять не можешь, однако – разумеешь главное: пустяков много, в пустяках запутался народ, ходу нет ему – к богу ходу нет, значит! Великое стеснение от пустяков, понимаешь?

Эти слова толкнули меня в сердце оживляющим толчком, я как будто прозрел после них. А ведь в самом деле, эта жизнь вокруг меня – пустяковая жизнь, со всеми её драками, распутством, мелким воровством и матерщиной, которая, может быть, потому так обильна, что человеку не хватает хороших, чистых слов.

Старик прожил на земле впятеро больше меня, он много знает и, если он говорит, что хорошее в жизни действительно «бывает», – надобно верить ему. Верить – хотелось, ибо книги уже внушили мне веру в человека. Я догадывался, что они изображают всё-таки настоящую жизнь, что их, так сказать, списывают с действительности, значит – думал я – и в действительности должны быть хорошие люди, отличные от дикого подрядчика, моих хозяев, пьяных офицеров и вообще всех людей, известных мне.

Это открытие было для меня огромною радостью, я стал веселее смотреть на всё и как-то лучше, внимательнее относиться к людям и, прочитав что-нибудь хорошее, праздничное, старался рассказать об этом землекопам, денщикам. Они не очень

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
охотно слушали меня и, кажется, не верили мне, но Степан Лешин всегда говорил:

– Бывает. Всё бывает, браток!

Удивительно сильное значение имело для меня это краткое, мудрое слово! Чем чаще я слышал его, тем более оно будило во мне чувство бодрости и упрямства, острое желание «поставить на своём». Ведь если «всё бывает», значит, будет и то, чего мне хочется? Я замечал, что во дни наибольших обид и огорчений, наносимых мне жизнью, в тяжёлые дни, которых слишком много испытал я, именно в такие дни чувство бодрости и упрямства в достижении цели особенно повышается у меня, в эти дни меня с наибольшею силою охватывало юное Геркулесово желание очистить авгиевы конюшни жизни. Это осталось со мною и теперь, когда мне пятьдесят лет, останется до смерти, и этим свойством я обязан священному писанию человеческого духа – книгам, отражающим великие мучения и пытки растущей души человека, науке – поэзии разума, искусству – поэзии чувств.

Книги продолжали открывать предо мною новое; особенно много давали мне два иллюстрированных журнала: «Всемирная иллюстрация» и «Живописное обозрение». Их картинки, изображавшие города, людей и события иностранной жизни, всё более и более расширяли предо мною мир, и я чувствовал, как он растёт, огромный, интересный, наполненный великими деяниями.

Храмы и дворцы, не похожие на наши церкви и дома, иначе одетые люди, иначе украшенная человеком земля, чудесные машины, изумительные изделия – всё это внушало мне чувство какой-то непонятной бодрости и вызывало желание тоже что-то сделать, построить.

Всё было различно, непохоже, но однако я смутно сознавал, что всё насыщено одной и той же силой – творческой силою человека. И моё чувство внимания к людям, уважение к ним росло.

Я был совершенно потрясён, когда увидел в каком-то журнале портрет знаменитого учёного Фарадея, прочитал непонятную мне статью о нём и узнал из неё, что Фарадей – был простым рабочим. Это крепко ударило меня в мозг, показалось мне сказкой.

«Как же это? – недоверчиво думал я. – Значит – который-нибудь из землекопов тоже может сделаться учёным? И я – могу?»

Не верилось. Я стал доискиваться – нет ли ещё каких-нибудь знаменитых людей, которые были бы сначала рабочими? В журналах никого не нашёл; знакомый гимназист сказал мне, что очень многие известные люди были сначала рабочими, и назвал мне несколько имён, между прочим – Стефенсона, но я не поверил гимназисту.

Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче, значительнее становилась для меня жизнь. Я видел, что есть люди, которые живут хуже, труднее меня, и это меня несколько утешало, не примиряя с оскорбительной действительностью; я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. И почти в каждой книге тихим звоном звучало что-то тревожное, увлекающее к неведомому, задевавшее за сердце. Все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего, и все они становились более близкими, понятными. Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о лучшем, и каждая из них была как бы душой, запечатлённой на бумаге знаками и словами, которые оживали, как только мои глаза, мой разум соприкасались с ними.

Нередко я плакал, читая, – так хорошо рассказывалось о людях, так милы и близки становились они. И, мальчишка, задёрганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им, когда вырасту.

Точно какие-то дивные птицы сказок, книги пели о том, как многообразна и богата жизнь, как дерзок человек в своём стремлении к добру и красоте. И чем дальше, тем более здоровым и бодрым духом наполнялось сердце. Я стал спокойнее, увереннее в себе, более толково работал и обращал всё меньше внимания на бесчисленные обиды жизни.

Каждая книга была маленькой ступенью, поднимаясь на которую, я восходил от

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyта животного к человеку, к представлению о лучшей жизни и жажде этой жизни. А перегруженный прочитанным, чувствуя себя сосудом, до краёв полным оживляющей влаги, я шёл к денщику, к землекопам и рассказывал им, изображал перед ними в лицах разные истории.

Это их забавляло.

– Ну, шельма, – говорили они. – Настоящий комедиант! Тебе в балаган, на ярманку надо!

Конечно, я ждал не этого, а чего-то другого, но – был доволен и этим.

Однако мне удавалось иногда, – не часто, разумеется, – заставить владимирских мужиков слушать меня с напряжённым вниманием, а не раз доводить некоторых до восторга и даже до слёз – эти эффекты ещё более убеждали меня в живой возбудительной силе книги.

Василий Рыбаков, угрюмый парень, силач, любивший молча толкать людей плечом так, что они отлетали от него мячиками, – этот молчаливый озорник отвёл меня однажды в угол за конюшню и предложил мне:

– Лексей – научи меня книгу читать, я тебе полтину дам, а не научишь – бить буду, со света сживу, ей-богу, вот – крещусь!

И – размахисто перекрестился.

Я побаивался его угрюмого озорства и начал учить парня со страхом, но дело сразу пошло хорошо, Рыбаков оказался упрям в непривычном труде и очень понятлив. Недель через пять, возвращаясь с работы, он таинственно позвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормотал, волнуясь:

– Гляй! Это я с забора сорвал, что тут сказано, а? Погоди – «продаётся дом» – верно? Ну – продаётся?

– Верно.

Рыбаков страшно вытаращил глаза, лоб его покрылся потом, помолчав, он схватил меня за плечо и, раскачивая, тихонько говорил:

– Понимаешь – гляжу на забор, а мне будто шепчет кто: «продаётся дом»! Господи помилуй... Прямо как шепчет, ей-богу! Слушай, Лексей, неужто я выучился – ну?

– А читай-ка дальше!

Он уткнул нос в бумагу и зашептал:

– «Двух – верно? – этажный, на камен-ном»...

Рожа его расплылась широчайшей улыбкой, он мотнул головой, выругался матерно и, смеиваясь, стал аккуратно свёртывать бумажку.

– Это я оставляю на память – как она первая... Ах ты, господи... Понимаешь? Как будто – шепчет, а? Диковина, брат. Ах ты..

Я хохотал безумно, видя его густую, тяжёлую радость, его детское милое недоумение перед тайной, вскрывшейся перед ним, тайной усвоения посредством маленьких чёрных знаков чужой мысли и речи, чужой души.

Я мог бы много рассказать о том, как чтение книг – этот привычный нам, обыденный, но в существе своём таинственный процесс духовного слияния человека с великими умами всех времён и народов – как этот процесс чтения иногда вдруг освещает человеку смысл жизни и место человека в ней, я знаю множество таких чудесных явлений, исполненных почти сказочной красоты.

Не могу не рассказать об одном из таких случаев.

Я жил в Арзамасе, под надзором полиции, мой сосед, земский начальник Хотяинцев, особенно невзлюбил меня – до того, что даже запретил своей прислуге беседовать

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma по вечерам у ворот с моей кухаркой. Полицейского поставили прямо под окно мне, и он с наивной бесцеремонностью заглядывал в комнаты, когда находил это нужным. Всё это очень напугало горожан, и долгое время никто из них не решался зайти ко мне.

Но однажды, в праздник, явился кривой человек в поддёвке, с узлом под мышкой, и предложил мне купить у него сапоги. Я сказал, что мне не нужно сапог. Тогда кривой, подозрительно заглянув в дверь соседней комнаты, тихонько заговорил:

– Сапоги – это для прикрытия настоящей причины, господин писатель, а пришёл я попросить – нет ли хорошей книжечки почитать?

Его умный глаз не возбуждал сомнения в искренности желания и окончательно убедил меня в ней, когда на мой вопрос – какую бы хотел он получить книгу, кривой обдуманно сказал робким голосом и всё оглядываясь:

– Насчёт законов жизни что-нибудь, то есть – законов мира. Не понимаю законов этих – как жить и – вообще. Тут недалеко казанский профессор математик на даче живёт, так я у него, за починку обуви и за садовые работы, – я тоже и садовник, – уроки математики беру, только она мне не отвечает, а сам он – молчаливый...

Я дал ему плохонькую книжку Дрейфуса «Мировая и социальная эволюция» – единственное, что нашлось у меня по вопросу.

– Чувствительно благодарен! – сказал кривой, бережно засунув книгу за голенище сапога. – Позвольте придти к вам для беседы, когда прочитаю... Только я на этот раз приду садовником, будто малину в саду подрезать, а то, знаете, полиция – очень окружает вас, и вообще – неудобно мне...

Он пришёл дней через пять, в белом фартуке с садовыми ножницами, пучком мочала в руках, и удивил меня своим радостным видом. Его глаз сверкал весело, голос звучал громко и твёрдо. Почти с первых же слов он ударил ладонью по книжке Дрейфуса и заговорил торопливо:

– Могу я сделать отсюда такое умозаключение, что бога – нет?

Я не поклонник таких поспешных «умозаключений» и потому начал осторожно допрашивать его – чем привлекает его именно это «умозаключение».

– Для меня это – главнейшее! – горячо и тихо заговорил он. – Я так рассуждаю, как все подобные: ежели существует господь бог и всё в его воле, стало быть, я должен тихо жить, покорствуя высшим предначертаниям Божиим. Весьма много прочитал божественного – Библию, Тихона Задонского сочинения, Златоуста, Ефрема Сирина и всё прочее. Однако – я желаю знать: отвечаю я за себя и за всю жизнь или нет? По писанию выходит – нет, живи, как предуказано, и все науки – ни к чему. Также и астрономия – фальшь одна, выдумка. И математика тоже и всё вообще. Вы, конечно, с этим не согласны, чтобы покорствоваться?

– Нет, – сказал я.

– А почему же я должен быть согласен? Вот вас за несогласность под надзор полиции выслали сюда, значит – вы решаетесь восставать против священного писания, потому что я так понимаю: всякое несогласие – обязательно против священного писания. Из него все законы подчинения, а законы свободы – от науки, то есть от человеческого разума. Теперича – дальше: ежели бог, то мне делать нечего, а без него – я должен отвечать за всё, за всю жизнь и всех людей! Я желаю отвечать, по примеру святых отцов, только иначе – не подчинением, а сопротивлением злу жизни!

И, снова ударив ладонью по книге, он добавил с убеждением, явно непоколебимым:

– Всякое подчинение – зло, потому что оно укрепляет зло! И вы меня извините – я этой книжке верю! Она для меня – как тропа в дремучем лесу. Я уж так решил для себя – отвечаю за всё!

Мы дружески беседовали до поздней ночи, и я убедился, что неважная маленькая книжка была последним ударом, оформившим мятежные поиски человеческой души в твёрдое религиозное верование, в радостное преклонение пред красотой и силою

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
мирового разума.

Этот милый, умный человек действительно честно сопротивлялся злу жизни и спокойно погиб в 907-м году.

Вот так же, как угрюмому озорнику Рыбакову, книги шептали мне о другой жизни, более человеческой, чем та, которую я знал; вот так же, как кривому сапожнику, они указывали мне моё место в жизни. Окрыляя ум и сердце, книги помогли мне подняться над гнилым болотом, где я утонул бы без них, захлебнувшись глупостью и пошлостью. Всё более расширяя предо мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много сделал он на земле и каких невероятных страданий стоило это ему.

И в душе моей росло внимание к человеку – ко всякому, кто бы он ни был, скоплялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу. Жить становилось легче, радостнее – жизнь наполнялась великим смыслом.

Так же, как в кривом сапожнике, книги воспитали во мне чувство личной ответственности за всё зло жизни и вызвали у меня религиозное преклонение пред творческой силой разума человеческого.

И с глубокой верою в истину моего убеждения я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.

Пусть она будет враждебна вашим верованиям, но если она написана честно, по любви к людям, из желания добра им – тогда это прекрасная книга!

Всякое знание – полезно, полезно и знание заблуждений ума, ошибок чувства.

Любите книгу – источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда.

Во всём, что сделано и делается человеком, в каждой вещи – заключена его душа, всего больше этой чистой и благородной души в науке, в искусстве, всего красноречивее и понятнее говорит она – в книгах.

Из воспоминаний о В.Г. Короленко

С именем В.Г. Короленко у меня связано немало добрых воспоминаний, и, разумеется, я не могу сказать здесь всего, что хотелось бы.

Первая моя встреча с ним относится к 88 или 89 году. Приехав в Нижний-Новгород, не помню откуда, я узнал, что в городе этом живёт писатель Короленко, недавно отбывший политическую ссылку в Сибири. Я уже читал рассказы, подписанные этим именем, и помню – они вызвали у меня впечатление новое, не согласное с тем, что я воспринял от литературы «народников», изучение которой в ту пору считалось обязательным для каждого юноши, задетого интересом к общественной жизни.

Публицистическая литература «народников» откровенно внушала: «Смотри вот так, думай – так», и это очень нравилось многим, кто привык чувствовать себя руководимым. А для всякого мало-мальски внимательного читателя было ясно, что рассказы Короленко чужды стремлению насиловать ум и чувство.

Я вращался тогда в кругу «радикалов», как именовали себя остатки народников, и в этом кругу творчество Короленко не пользовалось симпатиями. Читали «Сон Макара», но к другим рассказам относились скептически, ставя их рядом с маленькими жемчужинами Антона Чехова, которые уже совершенно не возбуждали серьёзного отношения радикалов.

Находились люди, которым казалось, что новый подход к изображению народа в рассказах «За иконой», «Река играет» изобличает в авторе вреднейший скептицизм, а рассказ «Ночью» вызывал у многих резко враждебные суждения, раздражая рационалистов.

С радикалами спорили и враждовали «культуртрегеры» – люди, начинавшие трудную

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma работу переоценки старых верований; радикалы называли культуртрегеров «никудашниками». «Никудышники» относились к творчеству В.Г. с подстерегающим вниманием, чутко оценивая его прекрасный лиризм и зоркий взгляд на жизнь.

В сущности – спорили люди доброго сердца с людьми пытливого ума, и сейчас этот спор, вызванный предрассудками людей просвещённых, является сплошным недоразумением, ибо В.Г. давал одинаково щедро и много как людям сердца, так и людям ума. Но всё же для многих в ту пору поправки, вносимые новым писателем в привычные, устоявшиеся суждения и мнения о русском народе казались чуждыми, неприятными и враждебными любимому идолу святой традиции.

Раздражал Тюлин, герой рассказа «На реке», человек, несомненно, всем хорошо знакомый в жизни, но совершенно не похожий на обычного литературного мужичка, на Поликушку, дядю Миная и других излюбленных интеллигентом идеалистов, страстотерпцев, мучеников и правдолюбов, которыми литература густо населила нищие и грязные деревни. Не похож был лентяй-ветлужанн на литературного мужичка и, в то же время, убийственно похож вообще на русского человека, героя на час, в котором активное отношение к жизни пробуждается только в моменты крайней опасности и на краткий срок.

Очень помню горячие споры о Тюлине – настоящий это мужик или выдумка сочинителя? «Культуртрегеры» утверждали – настоящий, действительный мужик, не способный к строительству новых форм жизни, не имеющий склонности к расширению своего интеллекта.

– С таким субъектом не скоро доживёшь до европейских форм государственности, – говорили они. – Тюлин – это Обломов в лаптях.

А «радикалы» кричали, что Тюлин – выдумка, европейская же культура нам не указ – Поликушка с дядей Минаем создадут культуру оригинальнее западной.

Эти жаркие споры, острые разногласия вызвали у меня напряжённый интерес к человеку, обладающему силой возбуждать умы и сердца, и, написав нечто вроде поэмы в прозе, озаглавив её, кажется, «Песнь старого дуба», я понёс рукопись В.Г.

Меня очень удивил его внешний облик – В.Г. не отвечал моему представлению о писателе и политическом ссыльном. Писателя я представлял себе человеком тощим, нервным, красноречивым – не знаю, почему именно таким, В.Г. был коренаст, удивительно спокоен, у него здоровое лицо, в густой курчавой бороде, и ясные, зоркие глаза.

Он не был похож и на политиков, которых я знал уже много: они казались мне людьми, всегда немножко озлобленными и чуть-чуть рисующимися пережитым.

В.Г. был спокоен и удивительно прост. Перелистывая мою рукопись на коленях у себя, он с поразительной ясностью, образно и кратко говорил мне о том, как плохо и почему плохо написал я мою поэму. Мне крепко запомнились его слова:

– В юности мы все немножко пессимисты – не знаю, право, почему. Но кажется – потому, что хотим многого, а достигаем – мало...

Меня изумило тонкое понимание настроения, побудившего меня написать «Песнь старого дуба», и, помню, мне было очень стыдно, неловко пред этим человеком за то, что я отнял у него время на чтение и критику моей поэмы. Впервые показал я свою работу писателю и сразу имел редкое счастье услышать чёткую, уничтожающую критику.

Повторяю – меня особенно удивила простота и ясность речи В.Г.: люди, среди которых я жил, говорили туманным и тяжёлым языком журнальных статей.

Вскоре, после этой первой встречи с В.Г., я ушёл из Нижнего и воротился туда года через три, обойдя центральную Русь, Украину, побывав и пожив в Бессарабии, в Крыму, на Кавказе. Много видел, пережил и, изнемогая от пестроты и тяжести впечатления бытия, чувствовал себя богачом, который не знает, куда девать нажитое, и бестолково тратит сокровища, разбрасывая всё, что имел, всем, кто желал поднять брошенное.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Я не столько рассказывал о своих впечатлениях, сколько спрашивал, что они значат, какова их ценность?

В этом приподнятом настроении я снова встретился с В.Г. Сидел у него в маленькой тесной столовой и говорил о том, что особенно тревожило меня, – о правдоискателях, о беспризорной бродячей Руси, о тяжкой жизни грязных и жадных деревень.

В.Г. слушал, задумчиво улыбался умными и ясными глазами и вдруг спросил:

– А заметили вы, что все эти правдоискатели больших дорог – великие самолюбцы?

Конечно, я этого не замечал и был удивлён вопросом.

А В.Г. добавил:

– И лентяи порядочные, правду сказать...

Он говорил не осуждая, добродушно, и от этого его слова приобретали особый вес, особое значение. Во всей его фигуре, в каждом жесте чувствовалась спокойная сила, а внимание, с которым он слушал, обязывало к точности и краткости. Его хорошие глаза, вдумчивый их взгляд взвешивали внутреннюю ценность ваших слов, и вы невольно требовали от себя слов значительных, точно рисующих мысль и чувство. Уйдя от него, я почувствовал, чем отличаются его рассказы о человеке от рассказов других людей. Как многим, мне казалось, что беспристрастный голос правдивого художника – голос безразличного человека.

Но чуткие замечания В.Г. о мужиках, монахах, правдоискателях обличали в нём человека, который не считает себя судьёю людей, а любит их с открытыми глазами, той любовью, которая даёт мало наслаждений и слишком много страданий.

В этом году я начал печатать маленькие рассказы в газетах и однажды, под влиянием смерти крупного культурного деятеля, нижегородца А.С. Гацисского, написал какой-то фантазёрский рассказ о том, что над могилой интеллигента мужики благодарно оценивают его жизнь.

Встретив меня на улице, В.Г. сказал, добродушно усмехаясь:

– Ну, это вы плохо сочинили. Такие штуки не надо писать!

Видимо, он следил за моей работой, бывал я у него не часто, но почти при каждой встрече он что-нибудь говорил о моих рассказах.

– «Архипа и Лёньку» напрасно напечатали в «Волгаре» – это можно бы поместить в журнал, – говорил он.

– Вы чересчур увлекаетесь словами, нужно быть более скупым и точным.

– Не прикрашивайте людей...

Его советы и указания всегда были кратки, просты, но это были как раз те указания, в которых я нуждался. Я много получил от Короленко добрых советов, много внимания, и, если в силу разных неустранимых причин не сумел воспользоваться его помощью, – в том моя вина и печаль.

Известно, что в большую журнальную литературу я вошёл при его помощи.

О многом я умолчу из опасения быть бестактным в похвалах и благодарности моей этому человеку.

Скажу в заключение, что за двадцать пять лет литературной моей работы я видел и знал почти всех больших писателей, имел высокую честь знать и колоссального Л.Н.Толстого.

В.Г.Короленко стоит для меня где-то в стороне от всех, в своей особой позиции, значение которой до сего дня недостаточно оценено. Мне лично этот большой и красивый писатель сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать. Он сказал это тихим голосом мудреца, который прекрасно знает, что

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
всякая мудрость относительна и вечной правды – нет. Но правда, сказанная образом
Тюлина, – огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип
великорусса – того человека, который ныне сорвался с крепких цепей мёртвой
старины и получил возможность строить жизнь по своей воле.

Верю, что он построит её так, как найдёт удобным для себя, и знаю, что в этой
великой работе строения новой России найдёт должную оценку и прекрасный труд
честного русского писателя В.Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем.

Песня

Окно моей комнаты смотрит в парк, – это один из лучших парков южного берега
Крыма – более тридцати десятин земли любовно украшено великолепными образцами
растительного царства, их собрали со всего земного шара. Мощные веллингтонии из
Австралии возвышаются над гигантскими листьями банановых пальм, альпийская сосна
бросает тень на нежное кружево японской мимозы, на фоне голубых елей тяжело
качаются ослепительно белые восковые цветы магнолии. Акации, лавры,
пирамидальные тополя и элегические кипарисы отражаются в тёмных зеркалах прудов,
по бархатной воде плавают лебеди, поставив крылья парусами. Всё удивительно
мощно, богато красками, щедро насыщено солнцем юга, источает хмельной запах,
всюду с земли поднимаются к солнцу розы, лилии, канны и множество других цветов.

Парк спускается с горы к морю, сквозь тихий шорох разнообразной листвы слышно,
как ласково ворчат волны, выплескиваясь на камень берега, а над парком повисла
голубовато-серая гора, гребень её покрыт щетиной леса. Всё – царственно красиво,
растительность поражает свою энергией, человек должен был затратить множество
воли и ума для того, чтоб разбить среди обломков осыпавшейся горы этот райский
сад. Владелец парка так и называет его: «Райский сад».

В шесть часов утра где-то, на окраине парка, начинает звонить колокол. Не
торопясь, один за другим, в тишину падают назойливые удары – десять, тридцать;
однажды я насчитал девяносто два удара, другой раз – семьдесят восемь. В колокол
бьёт сутулый, волосатый старик с вывернутыми ногами, похожий на гнома, одетый в
рубашку. Смешно видеть, когда он, вечером, обходит парк с дрянным ружьём в руках,
едва передвигая ноги, глядя в землю. С последним ударом колокола на дорожках
парка являются девицы и бабы, – все из Орловской губернии, малорослые,
скуластые, с маленькими глазами, очень похожие одна на другую. С лопатами,
граблями и садовыми ножницами в красных лапах, они расходятся по парку группами,
по три, по пяти, и начинают работать.

Милая тишина утра особенно целомудренна в этом дивном саду, где так умело
собраны лучшие, наиболее красивые создания земли. Солнце юга, ещё не жаркое,
ласково блестит на глянцевиной листве латаний, любовно освещает цветы и пёстрый
гравий дорожек. Шумит море, точно орган вздыхает. Хочется услышать песню,
какой-то торжественный гимн утру, солнцу, жизни. И вот, из-за маленькой роши
пальм раздаётся возглас контральто – неожиданно чужой всему, что видишь:

Ой вы, хлопцы-молодцы,
Вы, девицы-кралечки!
Три голоса стройно и дружно поют:

Не ходи –
Лучше будет, лучше будет!
Не люби –
Лучше будет, лучше будет!

В мохнатых ветвях кедра порхают птицы, вспугнутые пением. Чавкают ножницы,
обкусывая ветки роз, скрипят лопаты по гравию, шипит вода, вырываясь из шланга
толстой серебряной струёй. В атласе зелени, среди ярких цветов, под ветвями
редчайших растений копошатся серые фигуры женщин, девиц и плачет, всхлипывает
странная панихидная песня:

Добежала до ворот –
Схватила за живот...
Хор внушительно отпевает:

лучше было б, лучше было б
Не знавать,
Чем теперь, чем теперь

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Забывать!..

В голубой пустыне небесной парит коршун, ниже его мелькают ласточки; золотые цветы акации окружены пчёлами, осами, гудят ласковые струны, природа творит и ликует. Удивительно празднично всё вокруг, торжественное веселье наполняет парк, – это прекрасно чувствуют птицы, но это, видимо, недоступно женщинам, работающим в райском саду. Согнувшись у корней деревьев, расхаживая на четвереньках, как обезьяны, они точно заколдованы своей жалобной песней:

Лучше было б, лучше было б
Не ходить,
Лучше было б, лучше было б
Не любить!

Высоко над парком, по дороге в Ялту, ревет автомобиль, въезжая в тоннель, – горное эхо треплет этот рёв о скалы, бросает его вниз, в парк, к морю. Насыщая воздух солёным йодистым запахом, море равномерно бьёт волны о камни, шуршит галькой; слышны крики чаек, звенят ласточки, поют зяблики, зорянки, пеночки, – чем ярче расцветает день, тем богаче звуки жизни.

А среди редчайших растений, под тенью деревьев, собранных со всех концов света, в аромате цветов – медленно возятся женщины в стареньких, выгоревших на солнце юбках и кофтах; изогнувшись в три погибели, они выпальвают с куртин сорные травы, их лица налиты кровью, глаза отупели, отирая рукавами пот со щёк и шеи, они похоронно тянут:

Не люби –
Лучше будет, лучше будет!
Самой старшей из них – лет тридцать, и она наиболее живая – голос у неё весёлый, и кажется, только одна она знает, что надо любить. А остальные все – девушки от пятнадцати лет, и так странно, тоскливо слушать их песни:

Не люби –
Лучше будет...
Яшка
Сказка

Жил-был мальчик Яшка, били его много, кормили плохо, потерпел он до десяти лет, видит – лучше не жить ему, захворал да и помер.

Помер, – и хоть были у него кое-какие грешки, однако очутился Яшка в раю.

Смотрит Яшка – невиданно хорошо в раю: посреди зелёного луга, на золотом стуле, сидит господь Саваоф, седую бороду поглаживает, озирается всевидящим оком, райские цветы нюхает, райское пение слушает; везде – во цветах, на деревьях – херувимы с серафимами осанну поют, а по светлому лугу, по весёлым цветам святые угодники хороводом ходят и мучениями своими хвастаются.

– Господи, – говорят, – ты гляди-ко, батюшко, как мы измучены, как изувечены, а всё – имени твоего ради! Кожица у нас ободрана, тельце наше истрёпано, ручки-ножки изломаны, рёбрушки наружу торчат, а всё – славы твоея ради!

Слушает господь, – немножко морщится.

– Да уж ладно! – говорит. – Уж слышал я это, ведь вы почти две тысячи лет одно и то же поёте. Ну, – пострадали, помучились, покорно вас благодарю за это, только – спели бы вы хоть разок весёлое что-нибудь, а?

А святые угодники опять своё:

– Господи, – кричат, – миленький ты наш, погляди-ко: ножки у нас переломаны, ручки вывихнуты, ведь как мы страдали! И жгли нас, и давили, и голодом морили, и чего только с нами не делали, а всё тебя, господи, ради!

Вздыхает господь, соглашается:

– Верно, братцы! Прославили вы меня мученьем, да обошли весельем!

А святые угодники опять своё тянут.

Смотрит на них Яшка из-за райской яблони, – тощие они все, тёмненькие, кои

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
прихрамывают, кои на карачках ползут, у одних – глаза выколоты, у других –
головы отрублены, – угодники божий под мышками держат их, как арбузы. В стороне
шестнадцать тысяч святых девственниц лежат, сохнут, в поленницы сложены. Варвара
Великомученица пред Пантелеймоном Целителем кровавыми ранами хвастает, Екатерина
Иоанну Воину о своих муках рассказывает, а серафимы с херувимами всё осанну поют, и
некоторые, от усталости, фальшивят.

Слышит Яшка – говорит господь тихонько апостолу Петру:

– Много у меня, Пётр, праведников, а – скушно мне с ними! Напускал ты их в рай – чрезмерно...

Отвечает апостол Пётр:

– Ты сам, господи, знаешь, я готов изменить, да – ведь как теперь изменишь? Это – Павлово дело, он, лысый, интернационал этот устроил...

– Эх, Павел, Павел! – вздыхает господь. – И сыну моему он евангелие испортил, и мне от него житья нет...

Смотрит Яшка, слушает, не всё ему понятно, а что скушно в раю, это он прекрасно чувствует: ни есть, ни пить не хочется, играть тоже неохота, и на душе смутно, как будто он клюквенным киселём объелся.

«Чего они побоями-то хвастают? – думает Яшка, глядя на святых. – Меня не меньше били, да я вот молчу! У нас, на земле, друг друга как бьют, кости в крошечки дробят, а – ничего!»

И стало Яшке жалко бога, – какая у него жизнь? Все вокруг ноют, никто побоев не стыдится, а ещё в честь и заслугу терпение своё ставят себе.

И вот, когда ангелы сняли солнце с неба, спрятали его под престол господень и наступила ночь и праведники спать улеглись, – вышел Яшка из-за яблони, подошёл к престолу и говорит:

– Господи, а господи!

Поглядел на него господь, спрашивает:

– Ты откуда?

– Из Петербурга.

– Чего рано помер?

– Да-а, – сказал Яшка, – рано! Другой бы на моём месте ещё раньше подох...

– Али трудно жилось? – ласково спросил господь.

Ёкнуло сердце Яшкино, хотел он рассказать богу о своей тяжёлой жизни, да вспомнил, как святые угодники жаловались, и – сдержался, только крякнул. И вместо того деловито сказал:

– Слушай-ко, господи, вернул бы ты меня на землю!

– Зачем? – спросил господь.

– Да что мне тут делать? Скушно здесь. Вот и сам ты апостолу говорил, что скушно...

– Чудак! – усмехнулся господь. – Да ведь тебя там опять колотить будут!

– Ничего! – сказал Яшка. – Поколотят за дело – не пожалуюсь, а зря будут бить – не дамся!

– Храбрый ты! – усмехнулся господь.

– Слушай-ко, – деловито сказал Яшка, – ты вот что сделай, ты меня верни назад на

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyua
землю, а я там выучусь на балалайке играть, и когда второй раз помру, так буду тебе весёлые песни петь с балалайкой, – ладно? И тебе веселее будет, и я недаром стану в раю торчать.

Поглядел на него господь из-под густых бровей, погладил бороду седую и тихонько спросил:

– Али тебе, Яшка, жалко стало меня?

– Жалко! – сказал Яшка. – Надоедные больно угодники-то твои!

Тогда Саваоф дотронулся до головы его лёгкой рукой и сказал:

– Ну, спасибо тебе, друг мой милый, – за все века ты первый пожалел меня! И – верно ты надумал, – с твоим сердцем в раю делать нечего; иди, милый, на землю, в её скорби и радости, иди – жалеи всех людей земных, служи им верою, как богу, помогай им в трудах, утешай в горе весели в печалях – тут тебе и награда будет! Иди дружок, живи во славу людям!

И повелел господь Петру-апостолу открыть двери рая, а херувимам снести Яшку на землю.

– Прощай! – сказал Яшка, кивнув головой господе. – Не скучай, я скоро вернусь!

Лев Толстой

Эта книжка составила́сь из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеше, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала – тяжело больной, потом – одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

М. Горький

Заметки

I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, – мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает – всегда, Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И – немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки – некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать всё. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на такого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой», и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер – какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер – ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может – уйдет в

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma хор трактирных песенников. Энергии в нем – на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, – склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях. подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

– Ах, Левушка, перестань, надоел, – с досадой сказал Л. Н. – Твердишь, как попугай, одно слово – свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь если ты достигнешь свободы в твоём смысле, как ты воображаешь, – что будет? В философском смысле – бездонная пустота, а в жизни, в практике – станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоём-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот – птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь – почувствуешь, что в конечном смысле свобода – пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

– Христос был свободен, Будда – тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого – никто не ушел, никто. А ты, а мы – ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований – жили бы мы, как звери...

Усмехнулся:

– А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от. этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так уколошил бы меня – только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

– Свобода – это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому, что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли;

– Какой-то маленький немецкий царек оказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это – верная мысль, верное наблюдение, – музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, – наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V

«Интеллигент – это галицкий князь Владимирко, он еще в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

VI

«Меньшинство нуждается в боге потому, что всё остальное у него есть, а большинство потому – что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие – от полноты души[12].

– Вы любите сказки Андерсена? – спросил он задумчиво. – Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, – он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо – ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня, Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя – иногда – любит им, но – едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню – его девки засмеют.

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

– Карамзин писал для царя, Соловьев – длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь – будто хвалит, а вникнешь – обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

– Очень милый. Подъячий такой. Старьевщик-любитель, собирает всё, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но – очень, очень забавный.

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса неприютные и чужие всем и всему. Мир – не для них, бог – тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди – пеньки, корни, камни по дороге, – о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться à sa façon [13]». Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие – не глупость: дурак – упрям, но противоречить не умеет. Да – Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил...»

XI

– Романтизм – это от страха взглянуть правде в глаза, – сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта, Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

– Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в середине века, – бессмысленное плетение слов. Поэзия – безыскусственна; когда Фет писал:

...не знаю сам, что буду

Петь, но только песня зреет, –

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет – ох, да-ойт да-эй – а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикуль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплётов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

– А Беранже? – спросил Сулер.

– Беранже – это другое! Что же общего между нами и французами? Они – чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего – женщина. Они – изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные – чувственники.

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

– Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачнее, жизнеприемлее. Глаза – еще острее, взгляд – пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому всё известно и больше Нечего знать, – человеком решенных вопросов.

XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно – в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чувствуется, что молчит еще больше. Иного – никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, – читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда – еще хуже.

Потом он сказал:

– Вот как хорошо сочиняют мужики. Всё просто, слов мало, а чувства – много. Настоящая мудрость немногословна, как – господи помилуй.

А сказочка – свирепая.

XV

Его интерес ко мне – этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и – только.

XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

– Но распоряжаетесь вы словами неумело, – вес мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, – не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, – под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас – всё нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, – афоризм русскому языку не сроден.

– А пословицы, поговорки?

– Это – другое. Это не сегодня сделано.

– Однако вы сами часто говорите афоризмами.

– Никогда! Потом вы прикрашиваете всё: и людей и природу, особенно – людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, – тогда будет хорошо...

XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его – что это?

– Незаконченная мысль, – сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. – Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... – Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

«Наука – слиток золота, приготовленный шарлатаном–алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, – значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты – не поблагодарит он нас».

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

– Вот такими кариатидами и поддерживалось всё это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с той грубостью русского мужика, которая – раньше – неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

– Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

– Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски – трубкой – сложив губы, насвистывал неумело.

– Как ярится пичужка! Наяривает. Это – какая? Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

– На всю жизнь одна песня, а – ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность – справедливо ли это? – задумчиво и как бы сам себя спросил он. – Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал – и забыл, а она помнит. Может быть, ревность – от страха унижить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyта
которая держит за..., а которая – за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

– Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

– Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет – трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, – у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг – нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

– Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

– Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

– А слащавый болтун Ренан...

Нередко он говорил мне:

– Вы хорошо рассказываете – своими словами, крепко, не книжно,

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

– Подобно, а рядом – абсолютно, когда можно сказать – совершенно!

Иногда же укорял:

– Хлибкий субъект – разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Нехорошо...

Его чуткость к формам речи казалась мне – порою – болезненно острой; однажды он сказал:

– У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку – отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

– Подождем и под дождем – какая связь?

Однажды, придя из парка, сказал:

– Сейчас садовник говорит: насилу столкнувался. Не правда ли – странно? Куются якоря, а не столы. Как же связаны эти глаголы – ковать и толковать? Не люблю филологов – они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

– Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, – я уверен, что нарочно, из

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглom приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно искажил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи; идиот говорит: «Осел – добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин – эпилептик. Будь он здоров – его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен – весь мир болен...

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» – безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

– Ты что? Не нравится? – спросил Л. Н.

– Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

– Это был бы грех без оправдания, а так – можно оправдаться жалостью к девице – кто ее захочет, такую?

– Не понимаю я этого...

– Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

– Леопольд – самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то – из жалости к кому-нибудь.

XXII

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе – редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, – если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это – вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это – вражда, и – холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготавливая кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждения Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках. За завтраком:

– Пришли они, – оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой – «Бог даст – уйдем не драны». – И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

– Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «Шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее – лживые. Но когда она лжет – она не верит себе, а Руссо лгал – и верил».

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI

– Некоторые церковные слова удивительно темны – какой, например, смысл в словах: «Господня земля и исполнения ее». Это – не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

– У вас где-то истолкованы эти слова, – сказал Сулер.

– Мало что у меня истолковано... «Толк-от есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

– Что вы думаете о себе?

– Вы любите вашу жену?

– Как, по-вашему, сын мой Лев – талантливый?

– Вам нравится Софья Андреевна? Лгать перед ним – нельзя, Однажды он спросил:

– Вы любите меня, А.М.?

Это – озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует», он всё пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако – не очень по душе мне. Он – черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII

– Может быть, мужик для него просто – дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и всё покрикивал тоненько:

– Лопатой! По... Лопатой, а? По самой, по... И – широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

– Вы еще великодушно ударили, другой бы – по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

– Не помню; не думаю, чтобы понимал...

– Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

– Не тем жил тогда...

– Чем ни живи – всё равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьере, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

– Смешной вы. Не обижайтесь, – очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

– Ума вашего я не понимаю – очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

– Полин, давайте мне что-нибудь...

«Что-нибудь» всегда было одним и тем же – стаканом вина со льдом.

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни, княжны Д.–Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, – они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

– Я снай тебе! Ты – им лязит окно, когда ночь...

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

– Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

– О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, – взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

– Я не звать полис – нитщего – слюший! Иди еще назади... Не надо боясь...

XXIX

Я спросил его:

– Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

– А вам очень интересно знать это?

– Очень,

– Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, – в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова «гильчак», «почечуй», «спущать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее?»

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона

XXXI

– Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, ой умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то слазал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. А все-таки Бальзак – гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе, – гений...

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», – Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

– Тут всё хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это – правильная мысль, но анархическое всевластие – описка, надо было сказать – монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать – он не споткнется. Ему – не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно...

XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

– Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

– Зачем вы пишете это? Я объяснил как умел.

– Везде у вас заметен петушиный наскок на всё – И еще – вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: «Всё минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом – язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто – бессвязно, а – хорошо. Мужик не спросит: «Почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов – не надо.

Он говорил недовольно, видимо, ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

– Старик у вас – несимпатичный, в доброту его – не веришь. Актер – ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

– Видел.

– Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому – у вас нет характеров, и все люди – на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена А.Л. и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV

– Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого дзета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила не спеша красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды – звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно – точно дымок, – оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом – всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевиная чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

– Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только, чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги – пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

– Это – страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену.

– Ведь вы непьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и всё в этом роде, так он был пьяница, – «калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут – это вправду страшно! Даже если вы и придумали, – очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

– А ведь представьте-ка; вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий – с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать, – это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

– Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик-помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним – глубокий черный овраг и – всасывает его. Он после этого сесть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое – он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

– А вы не пьяница и не распутник – как же это у вас такие сны?

– Не знаю.

– Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

– Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

– Сапоги-то идут – жутко, а? Совсем пустые – тёп, тёп, – а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже – не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немного.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

– Это еще не всё, нет – не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

– Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

– Вы о чем говорите?

– О Плеве.

– О Плеве... Плеве... – задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

– У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи всё мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы на субботу страстной недели...
и еще что-то такое же...

Замолчал, потом, покачивая голову, слабо улыбаясь, добавил:

– В человеческой глупости – когда она не злая – есть очень трогательное, даже милое... Всегда есть...

Позвали обедать.

XXXVI

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают несвойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

– Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

– До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота, – ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

– Он в бога верует?

– Не знаю.

– Главного не знаете. Он – верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурил глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он остановил меня:

– Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

– Андреев ваш – тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему – страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, – кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, – все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он усталился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

– Узнали, дураки.

И еще через минуту:

– Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII

«Берегите себя прежде всего – для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX

«Что значит – знать? Вот я знаю, что я – Толстой, писатель, у меня – жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, – всё это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое – бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и всё. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертулиан сказал: «Мысль есть зло»».

XL

Несмотря на однообразие проповеди своей, – безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татаринном, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и – боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, пронизательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности – он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, – точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

– Как же – немая? – спросил Сулер.

– Потому что – без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль – это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

– Все музыканты – глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

XLI

Чехову, по телефону:

– Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно – вам! Вы очень хороший, очень!

XLII

Он не слушает и – не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности – он не спрашивает, а – допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

XLIII

Разбирая почту:

– Шумят, пишут, а – умру, и – через год – будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, – да, этот?

XLIV

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и – забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, всё думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И – боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и – сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг – вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

«Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том – что нашел и где – молчит.

Удивляться ему – никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говоря уже – в одной комнате. Это – как в пустыне, где всё сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

Письмо

Только что отправил письмо Вам – пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот, – еще не разъединенный мысленно с Вами, – вновь пишу.

Вероятно, всё, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло, – уж вы извините меня, – я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
книги, – мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек, – человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного боярина Льва». Вы знаете – он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, – но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и – повторю – деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете – заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы – со временем – прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», – он всё знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему – по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» – проповедь пассивизма, – всё это нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой. То, что называют «анархизмом Толстого», в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как вы знаете и все знают. Знают – но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга; эти печальные тараканы путешествия и называются. «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей. К удивлению, ибо мы всё «разбрелись», и только, когда дошли до мест, хуже которых – не найдешь, дальше идти – некуда, ну – остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учувшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает – сознательно и бессознательно – лечь высокой горою на пути нации к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем – всё национально, и вся проповедь его – реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году, – какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда – в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это – инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди хотят жить, а он убеждает их: это – пустыня, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом: он – лентяй и ничего

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma так не любит, как отдохнуть от безделья. В общем он, конечно, не Платон Каратаев и не Аким, не Безухий и не Неклюдов, – все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящего подкрепления проповеди своей. Но – несомненно и неопровержимо, что в целом Русь – Тюлин внизу, а наверху – Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует 905 год, а что Обломов – смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов – оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален, – взгляните, как он пакостно труслив при всей его жестокости. Жулики, конечно, интернациональны.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность – явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, – даже и в дневнике своем, – молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений» – глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо – в глубине души своей – равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их – смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» – в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки – отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа – для всех и – навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, – почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны, – он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню – в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого», он сказал в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

– А мне показалась забавной. Форсисто написано, а – ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «Истина – не нужна», и верно: на что ему истина? Все равно – умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

– Если человек научился думать, – про что бы он ни думал, – он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А – какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех – любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего», – засмеялся и сказал:

– Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит – и других обманул. Ведь это ясно выходит...

Сулер спросил:

– А почему – парикмахер?

– Так, – задумчиво ответил он, – пришло в голову, модный он, шикарный – и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, – он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

– Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и – наврут.

Но – далее, по поводу Шестова:

– Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, лъзя или нельзя? Ведь если бы он знал, видел бы призраки, – пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов – еврей.

– Ну, едва ли, – недоверчиво сказал Л. Н. – Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев – не бывает, назовите хоть одного... нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там, дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И – вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать – это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще – принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой, – с внешней, с формальной стороны. Но – никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И всё оттого, что никогда не жил – не умею жить – для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я – верю. Не был. Но – неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще – «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их, – и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского, – люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно такого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей – милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и – отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот – обречен смерти!»

Увы, это так, надолго – так! И не могло и не может быть иначе, ибо – замаялись люди, измучены, разъединены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью – это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди – одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно – примирения тут и не было бы, для него лично этот акт

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
только логический шаг: «Прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним
скрыта легонькая, острая усмешечка, ее можно понять как возмездие умного
человека – глупцам.

Я всё не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится
какая-то беда. Вот – пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить
легенду», – жили-были лентяи да бездельники, а нажили – святого. Вы подумайте,
как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей
опущены долу, души большинства – пусты, а души лучших – полны скорби. Просятся
голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И
будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно, – житие блаженного и
святого, он же тем велик и свят, что – человек он, – безумно и мучительно
красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то,
но – это неважно. Он – человек, взыскующий бога не для себя, а для людей, дабы
он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам евангелие, а
чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, – упростил образ его, сгладил в нем
воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что
евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа.
Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает
землю и отвлекает от «главного». А «Война и мир» и всё прочее этой линии – не
умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «В. и М.» он сам говорил: «Без ложной скромности – это как Илиада». М. И.
Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, – один из них уже примчался из Рима. Просят
сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого, – так и говорят – «бегство». Я
отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге
яростной, – я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким
сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и
он – нет ничего величественнее и дороже нам...

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано – скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном
каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, – мучительно хочется
говорить о нем. Представляю его в гробу, – лежит, точно гладкий камень на дне
ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его – всем чужая – обманчивая
улыбочка. И руки наконец спокойно сложены – отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, – они видели всё насквозь, – и движения пальцев,
всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые
слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот
человек, какой он, не по-человечьи, умный и – жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру
берегом моря и под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его
маленькую угловатую фигурку, в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит,
подперев скулы руками, – между пальцев веют серебряные волосы бороды, и смотрит
вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые
волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по
камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел.
Камни – огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями, – накануне был
сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает
все начала и цели, думает о том – когда и каков будет конец камней и трав
земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море – часть
его души, и всё вокруг – от него, из него. В задумчивой неподвижности старика
почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо
ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он – его
сосредоточенная воля – призывает и отталкивает волны, управляет движением
облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то
минутном безумии я почувствовал, что – возможно! – встанет он, взмахнет рукой, и
море застынет, остеклеет, а камни пошевелиятся и закричат, и всё вокруг оживет,
зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить
словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
всё слилось в счастливую мысль: «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь – чувствую себя сиротой, пишу и плачу, – никогда в жизни не случилось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю – любил ли его, да разве это важно – любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал всё новое и тотчас высасывал смысл всего.

– Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте – удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки – здравствуйте!»

Выйдет он – маленький. И все сразу станут меньше его. Мужичья борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» – древняя, холопья привычка! – начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

«Ах, родной ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!»

Это – московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, «свободомысленное»:

«Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника...»

И вдруг из-под мужичьей бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, – тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей – москвичом – возвращаться из Ясной Поляны в Москву, – так он долго отдышаться не мог, всё улыбался жалобно и растерянно твердил:

– Н-ну, – баня. Вот строг... фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

– А ведь я думал – он и в самом деле анархист. Все твердят – анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, – зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах – на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и – не увижу больше

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость – жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

– Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

– Не любите вы меня? – «Да, сегодня я вас не люблю».

В вопросах он был беспощаден, в ответах – сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О фете – с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове – холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и – нате! – подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза – и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было и он же при мне говорил А. П. Чехову:

– Вот – писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот – проще, искреннее. Если б он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

– А как же вы говорили – тульский писатель и – таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

– Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант – это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных, – все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

– Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это – главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердится – на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал – плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Бу-ташевича и других. Потом – ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю – почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё – не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, – вы читали его?

– Да. Очень люблю, особенно – язык.

– Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли, – ничего, не обидно, что я так говорю? Я – старик и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне всё кажется, что она – не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, – я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, – он обратился к Чехову, – вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

– Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто – чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

– Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда, – восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом всё вокруг стало живительно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, избыточной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах, он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

– А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, – скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь – возьми-ка меня тогда! – И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пылкое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумова начало, низвергал Шекспира и Данте – озорник новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да – кстати – и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это – удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Аьвом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него, и – хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга – кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополянский дом и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

– Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, прирав учение Толстого. Л. Н. склонился ко мне и сказал тихонько:

– Всё врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы – о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что всё это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжело и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах, – в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время – очень личное. Словно его однажды оскорбили и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет, – это было в Хамовниках, – усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся – так обнажено и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

– Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятого ему – это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятое – неизбежно, законно и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно, – это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

– Говорят, вы очень начитанный, – правда? Что, Короленко – музыкант?

– Кажется, нет. Не знаю.

– Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

– Да, очень.

– Это – по контрасту. Он – лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

– Да.

– Не правда ли – хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, – он, взглянув на меня, спросил:

– Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы действительно Много читали, – смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

– Вы – настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо – ничего! Умные люди

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казачков», «Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем, – представление, с которым я сжился и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботинки – настоящие мокро-ступы, – повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхивает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые атласные стволы берез.

– Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...
– очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, таким старым зверобоем, как гикнет. А потом – взглянул на меня с невыразимой улыбкой и засмеялся умным, человеческим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, – коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

– Злодей на кур целит наших. Вот – вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера...

И – позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону, – исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

– Не надо бы кричать, он бы и так ударил...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

– Вы знали его? – оживленно спросил Л. Н. – Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский – высокий, длиннородый, худой, с огромными глазами, – надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, варенного в красном вине, вооруженный огромным холщовым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы благодушно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятась задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

– Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей-радикалов он – самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация – варварская, а культура – дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование – лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Додэ – согласен, помните, каков у него Поль Астье?

– А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

– Норманны – это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось – и думаю, я не ошибаюсь – Л. Н. не очень любил говорить о

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» – я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

– Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

– Ему мешает медицина, не будь он врачом, – писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

– Притворяется англичанином, что всего хуже удастся москвичу.

Мне он не однажды говорил:

– Вы – сочинитель. Все эти ваши Кувалды – выдуманы.

Я заметил, что Кувалда – живой человек.

– Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

– Белая кость! – говорил он, смеясь и отирая слезы. – Да, да – белая кость! Но – какой милый, какой забавный! А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы – романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилем.

– А насилие – главное зло! – воскликнул он, взяв меня под руку. – Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» – это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда выдумываете – у вас рыцари рождаются, всё Амадисы и Зигфриды..

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших – всё строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

– Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы! Вы – сомнительный социалист. Вы – романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

– А Гюго?

– Это – другое, Гюго. Не люблю его – крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой – по его мнению – выбор книг.

– Гиббон – это хуже Костомарова, надо читать Момсена, – очень надоедливый, но – солидно всё.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною, – «Братья Земганно», он даже возмутился.

– Вот видите – глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще – Мопассан, но Чехов – лучше его. А Гонкуры – сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л. Н., – он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

– Никакого вырождения нет, – говорил он, – это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия – страна шарлатанов, авантюристов, – там рождаются только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

– А Гарибальди?

– Это – политика, это – другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил.

– Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, – историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

– Вот это – правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

– Но ведь рыцари будут, Л. Н.!

– Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью, – это чудесно! Это – настоящее: вы – грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой – скучающий, стяжатель-строитель, – тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а – вдруг – убил, – ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои – ложь, выдумка, есть просто люди, люди и – больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

– Все мы – ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг – станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого – убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж Черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

– Вот поэтому я и говорю, что художество – ложь, обман и произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина, – почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:

– Иду я, как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля – рай, всё ликует, небо безоблачно, птицы поют, Пчелы гудят, солнце такое милое, и всё кругом – празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие, – возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты – творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне...

– Да, вот видите, что бывает. Природа – ее богами считали делом дьявола – жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это – для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
такой муки, – в плоть данной ему. Мы носим это в себе как неизбежное наказание,
а – за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись – были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

– Да – за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

– Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы – как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

– В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе; лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокрому, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

– Сядемте здесь... Это – самое ужасное, самое противное – пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и – не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее – месяц руки не отмоешь, – ужас! А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

– Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять – шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шёпотом:

– Да, да, – ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много, – ах, боже мой! Вы – не пишите об этом, не нужно!

– Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

– Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

– Не знаю. Это я – так... стыдно писать о гадостях. Ну – а почему не писать? Нет, – нужно писать всё, обо всем...

На глазах у него показались слезы. Он вытер их и – всё улыбаясь – посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

– Плачу, – сказал он. – Я – старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько толкая меня локтем:

– Вот и вы, проживете жизнь, а всё останется, как было, – тогда и вы заплачете, да еще хуже меня – «ручьистее», говорят бабы... А писать всё надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, – неправда, не вся правда, скажет. Он – строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

– Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы – странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а – знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно пышной, хвастливо разнузданной растительности, он, Лев Толстой – даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! – маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый, – среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа, – хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многие позабыто им, многое ново для него, всё – так, как надо, но – не вполне так, и нужно тотчас найти – что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам скорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает, И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

– Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это – тоже нехорошо, это от недоверия к себе. Я – много пишу, и это нехорошо, потому что – от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по-моему. Конечно, – я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты – ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь – во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, – это уже бывало с тобой. Вцепишься, поддержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «душечка», – ты почти похож на нее.

– Чем? – спросил Сулер, смеясь.

– Любить – любишь, а выбрать – не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

– И все так?

– Все? – повторил Л. Н. – Нет, не все.

И неожиданно спросил меня, – точно ударил:

– Вы почему не веруете в бога?

– Веры нет, Л. Н.

– Это – неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся – не поймет, да и храбрости нет. Для веры – как для любви – нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе – верую, – и всё будет хорошо, всё явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера – это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше – тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину – так самую лучшую на земле, – непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже – вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год – в другую. Душа таких людей – бродяга, она живет бесплодно, это – нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите – красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное – бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджал под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

– От этого – не отмолчитесь, нет!

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

«Этот человек – богоподобен!»

О С.А.Толстой

Прочитав книжку «Уход Толстого», сочинённую господином Чертковым, я подумал: вероятно, найдётся человек, который укажет в печати, что прямая и единственная цель этого сочинения – опорочить умершую Софью Андреевну Толстую.

Рецензий, которые обнажили бы эту благочестивую цель, я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро выйдет в свет ещё одна книжка, написанная с тем же похвальным намерением: убедить грамотных людей мира, что жена Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя её – Ксантиппа. Очевидно: утверждение этой «правды» считается крайне важным и совершенно необходимым для людей, особенно же – я думаю – для тех, которые духовно и телесно питаются скандалами.

Нижегородский портной Гамиров говаривал:

– Можно сшить костюм для украшения человека, можно и для искажения.

Правду, украшающую человека, создают художники, все же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют «правды» для искажения друг друга. И, кажется, мы так неумоимо пеняем друг на друга потому, что человек человеку – зеркало.

Меня никогда не прельщало исследование ценности тех «правд», которые, по древнему русскому обычаю, пишутся дёгтем на воротах, но мне хочется сказать несколько слов о единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и чувствую её.

Человек, конечно, не становится лучше оттого, что он умер; это ясно хотя бы потому, что о мёртвых мы говорим так же скверно и несправедливо, как о живых. О крупных людях, которые, посвятив нам всю жизнь, все силы чуда творящего духа своего, легли, наконец, в могилу, искусно замученные нашей пошлостью, – об этих людях мы говорим и пишем, кажется, всегда только для того, чтоб убедить самих себя: люди эти были такими же несчастными грешниками, каковы мы сами.

Преступление честного человека, хотя бы случайное и ничтожное, радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и даже героический поступок подлеца, ибо: первый случай нам удобно и приятно рассматривать как необходимый закон, второй же тревожно волнует нас, как чудо, опасно нарушающее наше привычное отношение к человеку.

И всегда в первом случае мы скрываем радость под лицемерным сожалением, во втором же, лицемерно радуясь, тайно боимся: а вдруг подлецы, чорт их возьми, сделаются честными людьми, – что же тогда с нами будет?

Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем люди «к добру и злу постыдно равнодушны», они и хотят пребыть таковыми до конца своей жизни; поэтому и добро и зло, в сущности, одинаково враждебно тревожит нас, и чем они ярче, тем более тревожат.

Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим:

«Русская женщина – вот лучшая женщина мира!»

Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками:

«Вот – р-раки! Живые р-раки! Крупные р-раки!»

Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к «лучшей» женщине Европы.

Признав русскую женщину «лучшей», мы как будто испугались: а что, если она, в самом деле, окажется лучше нас? И при всяком удобном случае мы купаем наших

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить бульон двумя, тремя листиками лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить её покраснеть.

Черты в аду мучительно завидуют, наблюдая иезуитскую ловкость, с которой люди умеют порочить друг друга.

Человек не становится ни хуже, ни лучше даже и после смерти своей, но он перестаёт мешать нам жить, и, не чуждые – в этом случае – чувства благодарности, мы награждаем умершего немедленным забвением о нём, бесспорно – приятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение – самое лучшее, что мы можем дать живому и мёртвому из ряда тех людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим стремлением сделать людей – лучше, жизнь – гуманнее.

Но и этот хороший обычай забвения умерших нередко нарушается нашей мелкой злобой, нищенской жадой мести и лицемерием нашей морали, как о том свидетельствует, например, отношение к покойной Софье Андреевне Толстой.

Полагаю, что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался её симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Её отношение ко мне нередко принимало характер даже обидный, но – не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших её великомученика мужа, как мух, комаров, вообще – как паразитов.

Возможно, что ревность её иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынник и Медведь». Но будет ещё более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливы были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного. Сам же Лев Толстой, как все великие художники, относился к людям очень снисходительно; у него были свои, оригинальные оценки, часто совершенно не совпадавшие с установленной моралью; в «Дневнике» 1882 г. он записал об одном знакомом своём:

«Если б у него не было страсти к собакам, он был бы отъявленный мерзавец».

Уже в конце 80-х годов его жена могла убедиться, что близость ко Льву Толстому некоторых из стада поклонников и «учеников» приносит ему только неприятности и огорчения. Ей, разумеется, известны были скандальные и тяжёлые драмы в «толстовских» колониях, такие, как, например, драма Симбирской колонии Архангельского, кончившаяся самоубийством крестьянской девицы и вскоре после того изображённая в нашумевшем рассказе Каролина «Борская колония».

Она знала скверненькие публичные «обличения лицемерия графа Толстого», авторами которых являлись такие раскаявшиеся «толстовцы», как, например, Ильин, сочинитель истерически злой книжки «Дневник толстовца», она читала статьи бывшего ученика Льва Толстого и организатора колонии Новосёлова, – он печатал статьи эти в «Православном обозрении», журнале «воинствующей церкви», ортодоксальном, как полицейский участок.

Ей, наверное, известна была лекция о Толстом профессора казанской духовной академии Гусева, одного из наиболее назойливых обличителей «ереси самовлюблённого графа»; в лекции этой профессор, между прочим, заявил, что он пользовался сведениями о домашней жизни «яснополянского лжемудреца» от людей, увлекавшихся его сумбурной ересью.

Среди таких «увлечённых» проповедью мужа её она видела Меньшикова, который, насытив свою книгу «О любви» идеями Толстого, быстро превратился в мрачного изувера и начал сотрудничать в «Новом времени» как один из наиболее видных человеконенавистников, шумно и талантливо работавших в этой распутной газете.

Много видела она таких людей и в их числе самородка-поэта Булгакова, обласканного её мужем; Лев Толстой печатал его бездарные стихи в «Русской мысли», а малограмотный, больной и болезненно самолюбивый стихотворец, в

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma благодарность за это, сочинил грязную статейку «У Толстого. Открытое письмо ему». Статька была написана так грубо, лживо и малограмотно, что, кажется, нигде не решились напечатать её; даже в редакции «Московских ведомостей» написали на рукописи: «Не будет напечатано вследствие крайней грубости». Эту рукопись вместе с надписью Булгаков послал Толстому – и при письме, в котором требовал, чтоб Толстой опубликовал «правду о себе».

Вероятно, не дёшево стоила Софье Андреевне история известного «толстовца» Буланже, и, конечно, всем этим не исчерпывается всё то грубое, лицемерное, своекорыстное, что видела она от людей, якобы «единомыслящих» со Львом Толстым.

Отсюда вполне понятно её острое недоверие к поклонникам и ученикам мужа, этими фактами вполне оправдывается её стремление отпугнуть паразитов от человека, величие творчества, напряжённость духовной жизни которого она прекрасно видела и понимала. И несомненно, что благодаря ей Лев Толстой не испытал многих ударов ослиных копыт, много грязи и бешеной слюны не коснулось его.

Напомню, что в 80-х годах почти каждый грамотный бездельник считал делом чести своей обличения религиозных, философских, социальных и прочих заблуждений мирового гения. Эти обличения доходили – повидимому – и до людей «простого сердца», – бессмертна милая старушка, которая подкладывала хворост в костер Яна Гуса.

Я, как сейчас, вижу казанского кондитера Маломеркова у котла, в котором варился сироп для карамели, и слышу задумчивые слова делателя конфет и пирожных:

«Вот бы ехидну Толстого прокипятить, еретика...»

Царицынский парикмахер написал сочинение, озаглавленное – если не ошибаюсь – «Граф Толстой и святые пророки». Один из местных священников размахисто начертил на первом листе рукописи ярко-лиловыми чернилами:

«Всемерно одобряю сей труд, кроме грубости выражений гнева, впрочем справедливого».

Мой товарищ, телеграфист Юрин, умный горбун, выпросил у автора рукопись, мы читали её, и я был ошеломлён дикой злобой циркуляника против автора «Поликушки», «Казачков», «В чём моя вера» и, кажется, «Сказки о трёх братьях» – произведений, незадолго перед этим впервые прочитанных мною.

По донским станицам, по станциям Грязе-Царицынской и Волго-Донской дорог ходил хромой старик, казак из Лога, он рассказывал, что «под Москвой граф Толстой бунт против веры и царя поднимает», отнял землю у каких-то крестьян и отдал её «почтальонам из господ, родственникам своим».

Отзвуки этой тёмной сумятицы чувств и умов, вызванной громким голосом мятежной совести гения, наверное, достигали Ясной Поляны, и, конечно, восьмидесятые годы были не только поэтому наиболее трудными в жизни Софии Андреевны. Её роль в ту пору я вижу героической ролью. Она должна была иметь много душевной силы и зоркости для того, чтоб скрыть от Льва Толстого много злого и пошлого, многое, что ему – да и никому – не нужно знать и что могло повлиять на его отношение к людям.

Клевету и зло всего проще убить – молчанием.

Если мы беспристрастно посмотрим на жизнь учителей, мы увидим, что не только они – как принято думать – портят учеников, но и ученики искажают характер учителя, одни – своей тупостью, другие – озорством, третьи – карикатурным усвоением учения. Лев Толстой не всегда вполне равнодушно относился к оценкам его жизни и работы.

Наконец – жена его, вероятно, не забывала, что Толстой живёт в стране, где всё возможно и где правительство без суда сажает людей в тюрьмы и держит их там по двадцать лет. «Еретик» священник Золотницкий даже тридцать лет просидел в тюрьме Суздальского монастыря, его выпустили на волю лишь тогда, когда разум его совершенно угас.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Художник не ищет истины, он создаёт её.

Не думаю, чтобы Льва Толстого удовлетворяла та истина, которую он проповедовал людям. В нём противоречиво и, должно быть, очень мучительно совмещались два основных типа разума: созидающий разум творца и скептический разум исследователя. Автор «Войны и мира» придумал и предлагал людям своё вероучение, может быть, только для того, чтоб они не мешали его напряжённой и требовательной работе художника. Весьма допустимо, что гениальный художник Толстой смотрел на упрямого проповедника Толстого снисходительно улыбаясь, насмешливо покачивая головой. В «Дневнике юности» Толстого есть прямые указания на его резко враждебное отношение к мысли аналитической; так, например, в 52 г. III, 22, он записал:

«Мыслей особенно много может вмещаться в одно и то же время особенно в пустой голове».

Видимо, уже тогда «мысли» мешали основной потребности его сердца и духа – потребности художественного творчества. Лишь тем, что он мучительно испытывал мятеж «мыслей» против его бессознательного тяготения к искусству, – только этим борением двух начал в духе его можно объяснить, почему он сказал:

«...сознание есть величайшее зло, которое только может постичь человека».

В одном из писем к Арсеньевой он сказал:

«Ум, слишком большой, противен».

Но «мысли» одолели его, принудив собирать и связывать их в некое подобие философской системы. Он тридцать лет пытался сделать это, и мы видели, как великий художник дошёл до отрицания искусства, неоспоримо основного стержня своей души.

В последние дни своей жизни он писал, что:

«Живо почувствовал грех и соблазн писательства, – почувствовал его на других и перенёс основательно на себя».

В истории человечества нет другого, столь печального случая; по крайней мере я не помню ни одного из великих художников мира, который пришёл бы к убеждению, что искусство, – самое прекрасное из всего, достигнутого человеком, – есть грех.

Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого, – роль неоспоримо очень тяжёлая и ответственная. Возможно ли отрицать, что София Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться с пустыми людьми? Но, в то же время, она видела и понимала, что великий художник поистине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, он сердится, как обыкновенный смертный, и даже, порою, неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди и как, вероятно, делала сама она.

Не одна только София Толстая плохо понимала, зачем гениальному романисту необходимо пахать землю, класть печи, тачать сапоги, – этого не понимали многие, весьма крупные современники Толстого. Но они только удивлялись необычному, тогда как Софья Толстая должна была испытывать иные чувства. Вероятно, она вспоминала, что один из русских теоретиков «нигилизма», – между прочим, автор интересного исследования о Аполлонии Тианском, – провозгласил:

«Сапоги – выше Шекспира».

Конечно, София Толстая неизмеримо более, чем кто-либо иной, была огорчена неожиданной солидарностью автора «Войны и мира» с идеями «нигилизма».

Жить с писателем, который по семи раз читает корректуру своей книги и каждый раз почти наново пишет её, мучительно волнуясь и волнуя; жить с творцом, который создаёт огромный мир, не существовавший до него, – можем ли мы понять и оценить все тревоги столь исключительной жизни?

Нам неведомо, что и как говорила жена Льва Толстого в те часы, когда он, глаз на глаз с нею, ей первой читал только что написанные главы книги. Не забывая о чудовищной пронизательности гения, я всё же думаю, что некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту.

Очевидно, для того, чтоб как можно более усложнить путаницу жизни, мы все рождаемся учителями друг друга. Я не встречал человека, которому было бы совершенно чуждо назойливое желание учить ближних. И, хотя мне говорили, что порок этот необходим для целей социальной эволюции, я всё-таки остаюсь при убеждении, что социальная эволюция значительно выиграла бы в быстроте и гуманности, а люди стали бы более оригинальны, если б они меньше учили и больше учились.

Головные «мысли», насилуя великое сердце художника Льва Толстого, принудили его в конце концов взять на себя тяжкую и неблагодарную роль «учителя жизни». Неоднократно указывалось, что «учительство» искажало работу художника. Я думаю, что в грандиозном историческом романе Толстого было бы больше «философии» и меньше гармонии, если б в нём не чувствовалось влияния женщины. И, может быть, именно по настоянию женщины философическая часть «Войны и мира» выделена и отодвинута в конец книги, где она ничему и никому не мешает.

К числу заслуг женщины пред нами следует отнести и тот факт, что она не любит философии, хотя и рождает философов. В искусстве вполне достаточно философии. Художник, умея одевать нагие мысли в прекрасные образы, чудесно скрывает печальное бессилие философии пред лицом тёмных загадок жизни. Горькие пилюли детям всегда дают в красивых коробочках, – это очень умно и очень милостиво.

Саваоф создал мир так скверно, потому что был холост. Это не только шутка атеиста, в этих словах выражена непоколебимая уверенность в значении женщины как возбудителя творчества и гармонизатора жизни. Избитая легенда о «грехопадении» Адама никогда не потеряет своего глубокого смысла: мир обязан всем счастьем своим жадному любопытству женщины. Несчастиями мир обязан коллективной глупости всех людей, в том числе и глупости женщин.

«Любовь и голод правят миром» – это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека. Но там, где правит любовь, мы, недавние звери, имеем культуру, – искусство и всё великое, чем справедливо гордимся. Там же, где возбудителем деяний наших является голод, мы получаем цивилизацию и все несчастья, сопряжённые с нею, все тяготы и ограничения, впрочем – необходимые недавним зверям. Самый страшный вид тупоумия – жадность, свойство зоологическое. Будь люди менее жадны, они были бы более сыты, более умны. Это не парадокс; ведь ясно: если б мы научились делиться излишками, которые только отягощают нашу жизнь, – мир был бы счастливее, люди – благообразней. Но только одни люди искусства и науки отдают миру все сокровища своего духа, и, как все, питая, после смерти, червей, они ещё при жизни служат пищей критиков и моралистов, которые растут на коже их, как паразитивные лишайи на коре плодовых деревьев.

Роль змея в раю играл Эрос, неукротимая сила, которой Лев Толстой подчинялся охотно и служил усердно. Я не забыл, кем написана «Крейцеров соната», но я помню, как нижегородский купец А.П.Большаков, семидесяти двух лет от роду, наблюдая из окна дома своего гимназисток, идущих по улице, сказал, вздохнув:

– Эх, зря состарился рано я! Вот – барышни, а мне они не нужны, только злость и зависть будят.

Я уверен, что не потемню яркий образ великого писателя, сказав: в «Крейцеровой сонате» чувствуется вот эта, вполне естественная и законная большаковская злость. Да и сам Лев Толстой жаловался на бесстыдную иронию природы, которая, истощив силу, оставляет желание.

Говоря о жене его, следовало бы помнить, что при всей страстности натуры художника София Андреевна была единственной его женщиной на протяжении почти полувека. Она была его интимным, верным и, кажется, единственным другом. Хотя, по щедрости богатого духом, Лев Толстой называл друзьями многих людей, но ведь это были только единомышленники его. И, согласитесь, трудно представить человека, который поистине годился бы в друзья Толстому.

Уже один этот факт неизменности и длительности единения с Толстым даёт Софии Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения; уже только поэтому господа исследователи «семейной драмы» Толстого должны бы сдерживать своё злоязычие, узко личные чувства обиды и мести, их «психологические розыски», несколько напоминающие грязненькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циничское стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя.

Вспоминая о счастливых днях и великой чести моего знакомства со Львом Толстым, я нарочито умолчал о Софии Андреевне. Она не нравилась мне. Я подметил в ней ревнивое, всегда туго и, пожалуй, болезненно натянутое желание подчеркнуть свою неоспоримо огромную роль в жизни мужа. Она несколько напоминала мне человека, который, показывая в ярмарочном балагане старого льва, сначала страшает публику силою зверя, а потом демонстрирует, что именно он, укротитель, – тот самый, единственный на земле человек, которого лев слушается и любит. На мой взгляд, такие демонстрации были совершенно излишни для Софии Толстой, порою – комичны и даже несколько унижали её. Ей не следовало подчеркивать себя ещё и потому, что около Толстого не было в те дни никого, кто был бы способен померяться с его оженою умом и энергией. Ныне, видя и зная отношение к ней со стороны различных Чертковых, я нахожу, что и мотивы ревности к чужим людям, и явное стремление встать впереди мужа, и ещё кое-что неприятное в ней – всё это вызвано и оправдано отношением к жене Толстого и при жизни и после смерти его.

Я наблюдал Софию Андреевну в течение нескольких месяцев в Гаспре, в Крыму, когда Толстой был настолько опасно болен, что, ожидая его смерти, правительство уже прислало из Симферополя прокурора, и чиновник сидел в Ялте, готовясь, как говорили, конфисковать бумаги писателя. Имение графини С.Паниной, где жили Толстые, было окружено шпионами, они шлялись по парку, и Леопольд Сулержицкий выгонял их, как свиней из огорода. Часть рукописей Толстого Сулержицкий уже тайно перевёз в Ялту и спрятал там.

Если не ошибаюсь, в Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи; моё впечатление: там было очень много беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть, в каком вихре ядовитейших «мелочей жизни» кружилась Толстая-мать, пытаясь охранить покой больного, его рукописи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойливость «искренно сочувствующих» посетителей, профессиональных зрителей и всех накормить, напоить. Нужно было также примирять взаимную ревность врачей, – каждый из них был уверен, что именно ему одному принадлежит великая заслуга исцеления больного.

Не преувеличивая, можно сказать, что в эти тяжёлые дни, – как, впрочем, всегда во дни несчастий, – ветер злой пошлости намёл в дом огромное количество всякого сора: мелких неприятностей, тревожных пустяков. Лев Толстой не был так богат, как об этом принято думать, он был литератор, живший на литературный заработок свой с кучей детей, хотя и очень взрослых, но не умевших работать. В этом вихре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носилась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищуривав умные глаза, изумляя своей неутомимостью, уменьем всюду успеть во-время, всех успокоить, прекратить комариное нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом.

Испуганно ходила анемичная жена Андрея Толстого; беременная, она оступилась, ожидали выкидыша. Задышался и хрипел муж Татьяны Толстой, – у него было большое сердце. Уныло и безуспешно искал партнёров для преферанса Сергей Толстой, человек лет сорока, скромный и бесцветный. Он, впрочем, пробовал сочинять музыку и, однажды, играл у меня пианисту А.Гольденвейзеру романс на слова Тютчева «О чём ты воешь, ветер ночной?» Не помню, как оценил эту музыку Гольденвейзер, но доктор А.Н.Алексин, человек музыкально образованный, нашёл в творчестве Сергея Толстого несомненное влияние французских шансонеток.

У меня, повторяю, сложилось странное, хотя, может быть, неверное впечатление: все члены огромной семьи Толстого были нездоровы, все они были мало приятны друг другу, и всем было скучно. Впрочем, кажется, Александра Толстая заболела дизентерией уже тогда, когда отец её выздоравливал. Все требовали внимания и забот Софии Толстой, многое могло неприятно и опасно встревожить великого художника, который спокойно собирался отломиться от жизни.

Помню, как С. Толстая заботилась, чтоб в руки мужа её не попал номер «Нового

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma времени», в котором был напечатан рассказ Льва Толстого–сына или критический фельетон о нём В.П. Буренина. Это легко смешать; дело в том, что Толстой–сын печатал некоторые рассказы свои в той же газете, где злой фельетонист Буренин грубо высмеивал его, именуя «Тигр Тигрович Соскин–Младенцев», и даже указывал адрес неудачливого писателя: «У Спаса на Болвановке, Жёлтый дом».

Лев Толстой–сын был весьма озабочен тем, чтоб его не заподозрили в подражании великому отцу и, видимо, с этой целью напечатал в неряшливом журнале Ясинского «Ежемесячные сочинения» «антитолстовский» роман о пользе висмута и вреде мышьяка. Это – не шутка, таково было задание романа. И в этом же журнале Ясинский поместил неприличную рецензию на «Воскресенье» Толстого–отца, причём рецензент разрешил себе говорить и о тех главах романа, которые не были пропущены цензурой в русском издании и явились только в берлинском, появившемся ранее русского. Софья Андреевна справедливо оценивала эту рецензию как донос.

Я говорю обо всём этом не очень охотно и лишь потому, что нахожу нужным ещё раз указать, насколько исключительно сложны были условия, среди которых жила Софья Толстая, как много ума и такта требовали они. Как все великие люди, Лев Толстой жил на большой дороге, и каждый, проходящий мимо, считал законным правом своим так или иначе коснуться необычного, удивительного человека. Нет сомнения, что Софья Толстая оттолкнула от мужа немало грязных и корыстных рук, отвела множество равнодушно любопытных пальцев, которые хотели грубо исследовать глубину душевных ран мятежного человека, дорогого ей.

Особенно тяжким грехом Софии Толстой считается её поведение в дни аграрной революции пятого – шестого годов. Установлено, что она действовала в эти дни так же, как сотни других русских помещиц, которые нанимали разных воинственных дикарей для «охраны разрушаемой дикарями русской сельскохозяйственной культуры». Толстая тоже, кажется, наняла каких-то кавказских горцев для защиты Ясной Поляны.

Указывают, что жена Льва Толстого, отрицавшего собственность, не должна была мешать мужикам грабить его усадьбу. Но ведь на этой женщине лежала обязанность оберегать жизнь и покой Льва Толстого, он жил именно в Ясной Поляне, и она давала наибольшее количество условий привычного и необходимого покоя для работы его духа. Покой был тем более необходим ему, что он жил уже на последние силы свои, готовый отломиться от мира. Ушёл он из Ясной Поляны только через пять лет после этих дней.

Проницательные люди могут вообразить, что здесь скрыт грубый намёк: Лев Толстой, революционер, анархист, должен был уйти или лучше бы сделал, если б ушёл из усадьбы именно тогда, во время революции. Разумеется, такого намёка здесь нет, то, что я хочу сказать, я говорю открыто.

По моему мнению, Льву Николаевичу Толстому вообще и никогда не следовало уходить, а те люди, которые помогали ему в этом, поступили бы более разумно, если б помешали этому. «Уход» Толстого сократил его жизнь, ценную до последней её минуты, – вот неоспоримый факт.

Пишут, что Толстой был выжит, вытеснен из дома его психически ненормальной женою. Для меня неясно, кто именно из людей, окружавших Льва Толстого в эти дни, был вполне нормален психически. И я не понимаю: почему, признав его жену душевно ненормальной, нормальные люди не догадались обратить должное внимание на неё и не могли изолировать её.

Органически ненавидевший собственность, анархист по натуре, а не по выучке, честнейший Леопольд Сулержицкий не любил Софью Андреевну Толстую. Но – вот как он рисовал себе её поведение в девятьсот пятом – шестом годах:

«Вероятно, семья Толстого не очень весело смотрела, как мужики растаскивают понемногу имущество Ясной Поляны и рубят берёзовую рощу, посаженную его руками. Я думаю, что и сам он жалел рощу. Эта общая, может быть и бессловесная, безгласная грусть и жалость вынудила, спровоцировала Софью на поступок, за который – она знала – ей влетит. Не зная, не учесть этого – она не могла, она умная женщина. Но – все грустят, а никто не смеет защищаться. Тогда – рискнула она. Я её за это уважаю. На-днях поеду в Ясную Поляну и скажу ей: уважаю! Хотя и думаю всё-таки, что её молча принудили сделать этот шаг. Но – всё это неважно,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
был бы цел сам Толстой».

Немного зная людей, я думаю, что догадка Сулержицкого верна. Никто не посмеет сказать, что Лев Толстой был неискренен, отрицая собственность, но я тоже уверен, что рошу–то ему всё–таки было жалко. Она – дело его рук, его личного труда. Тут уж возникает маленькое противоречие древнего инстинкта с разумом, хотя бы искренно враждебным ему.

Прибавлю: мы живём в годы широко и смело поставленного опыта уничтожения частной собственности на землю и орудия труда и вот видим, как тёмный, проклятый инстинкт этот иронически разрастается, крепнет, искажая честных людей, создавая из них преступников.

Лев Толстой – великий человек, и немало не темнит яркий образ его тот факт, что «человеческое» не было чуждо ему. Но это отнюдь не уравнивает его с нами. Психологически было бы вполне естественно, чтоб великие художники и во грехах своих являлись крупнее обыкновенных грешников. В некоторых случаях мы видим, что так оно и есть.

В конце концов – что же случилось?

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным человеком, женщина, которая была единственным другом на всём его жизненном пути и деятельной помощницей в работе, – страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя, что колоссальный человек, муж её, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому ненужной, и это возмутило её.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают её прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к частоколу морали, который возведён для ограничения человека людьми, плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия.

А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтоб с наслаждением клеветать на неё.

Вот и всё.

В 4-ой книге «Красного архива» напечатана глубоко интересная статья «Последние дни Льва Толстого». Между прочим, в статье этой приведён доклад жандармского генерала Львова, и вот что читаем в докладе его:

«Андрей Толстой в разговорах с ротмистром Савицким высказывает, что изолирование Толстого от семьи, в особенности от жены, является результатом воздействия именно Черткова на врачей и дочь Александру».

И далее:

«По отдельным фразам можно было заключить, что семья Толстого умышленно не допускается к больному по причинам, не имеющим прямого отношения к состоянию его здоровья».

[А.Н. Алексин]

А.Н. Алексин умер так же легко и просто, как жил.

Мне рассказали, что часа за два до смерти своей он пришел к себе в санаторию, настроенный бодро, весело, и, как всегда, начал шутить с больными, поддразнивать их. Вероятно, он говорил им то же самое, что говорил мне двадцать семь лет тому назад, в начале нашей крепкой дружбы.

Он как бы стыдился своего ума. Он часто повторял:

– Наиболее деятельным союзником болезни является уныние больного.

Он старался побороть это уныние, внушая больному бодрость грубовато-добродушным издевательством над страхом смерти, и всегда достигал желаемого: больной в своей борьбе за жизнь чувствовал в этом докторе умного и верного союзника.

В свой последний день он вышутил больных за то, что, боясь весенней свежести, сидели, закрыв дверь в парк, сам открыл дверь, сел обедать с больными, а когда ветер притворил дверь, он, выругавшись, хотел встать со стула и почувствовал, что у него отнялась нога.

– Это, кажется, кондрашка, – сказал он и лишился сознания.

Все, кто знал Александра Алексина, согласятся, что это был человек интересный и, по-русски, разнообразно талантливый. К медицине он относился несколько скептически; возможно, что именно поэтому он так удачно лечил. Это был идеальный русский земский врач, «мастер на все руки», хирург и гинеколог, окулист и «спец» по туберкулезу. Его интуиция в деле распознавания болезней была поразительна. Помню – московская купчиха привезла в Ялту сына, девятилетнего мальчика, у него болела голова, он страдал рвотой, часто под влиянием боли кружился на одном месте, на его мучнисто-бледном личике тускло светились серые глаза с расширенными очень жутко зрачками. Три доктора – Бородулин, старик Штангеев, автор солидной книги «Лечение легочных болезней», и еще кто-то – определили менингит. Алексин не согласился с их диагнозом.

Его плотная, несколько тяжелая медвежья фигура, грубоватое лицо, прямой, пристальный взгляд умных, насмешливых глаз и малословная, резковатая речь всегда возбуждали в людях доверие к нему, женщины же особенно легко подчинялись влиянию его воли, как бы сразу чувствуя его духовное и физическое здоровье. Мать больного мальчика, узнав, что Алексин не согласился с диагнозом коллег, привела к нему мальчика, это было при мне.

– Я верю вам, лечите его.

Он угрюмо предупредил ее, что хотя и не согласен с товарищами в определении болезни, но не понимает ее. Мать плакала, кричала, пыталась даже встать на колени, у нее были совершенно безумные глаза, дрожало лицо, она щелкала зубами. Подняв ее с пола, мы положили на диван, А<лексин> дал ей вина с водой, наговорил ей, попутно, грубостей, – он часто грубил, чтоб скрыть свое волнение, – потом сказал:

– Ну, не кричите! Прошу понять: врачи не делают ни чудес, ни фокусов.

Помню, как неприятно поразило меня его дальнейшее поведение; он обращался с мальчиком так, что напомнил мне описания шаманства: громко шмыгая носом, – его привычка в затруднительных случаях, в моменты смущения, – сидя в кресле, отчаянно дыша дымом папиросы, он заставил больного бегать по столовой, потом, зажав его в коленях, начал говорить с ним о каких-то детских пустяках, пощекотал под мышками, заставив мальчугана визжать. Мать спросила о чем-то, он грубо ответил:

– Это не ваше дело.

Он увел мальчугана в кабинет к себе, вызвал там у него обильную рвоту, и мальчуган, даваясь, изрыгнул целый ком глистов.

– Гришка, – орал Алексин, испачканный, возбужденный до смешного, расталкивая стулья, – убирай!

А мальчик, извиваясь на коленях матери, стонал в приступах рвоты и все извергал глисты, – отвратительно было видеть обилие их.

Вечером, когда мы пили вино, я спросил:

– Как ты узнал, что это глисты?

– Да я не узнал, а – попробовал, – сказал он, усмехаясь.

Был страшно обрадован и рассказал мне, что известный гинеколог Снегирев

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma предложил ему проводить в Москву, в клиники на операцию, даму, у которой он констатировал внематочную беременность.

– Еду я с ней и, знаешь, не верю в эту беременность, а она как на смерть собралась. Я и говорю ей: «А я вот не верю в вашу болезнь». В то время я был молодой еще, практиковал всего пятый год, однако она, вижу, слушает меня с надеждой. «Дайте, говорю, осмотреть вас». Согласилась. Остановились в Курске, в гостинице, стал я осматривать ее и нечаянно прорвал нарыв на матке. Вот – испугался! «Ну, думаю, убил бабу». А она, вижу, превосходно чувствует себя. Пролежала четверо суток, поехали дальше. Привез я ее не в клинику, а к мужу, он мне – полторы тысячи гонорария отвалил. Пили, конечно, с ним дня три по всем кабакам. Снегирев обиделся: «Вы, говорит, дерзки, молодой человек, могли убить ее». Ну, конечно мог...

Таких случаев не мало было в его практике, вообще крайне удачной. Проф<ессор> Бобров, хирург, несколько раз приглашал его на консультации, и А<лексин> помогал ему даже на операциях.

– Ваш приятель – удивительно счастливый врач, – говорил мне Бобров, – у него совершенно исключительная интуиция, не знаю врача, у которого так тонко было бы развито чутье особенностей индивидуальности каждого больного.

Так же высоко оценивал талантливость Алексина дерматолог Ш., сифилидолог Тарновский.

– Пора бы вам, батенька, на кафедру, в университет, лентяй вы, да-с!

А. П. Ч<ехов> очень уважал Алексина как человека, но, должно быть, чувствуя, что этот человек не любит его, говорил:

– Ему слонов лечить, а не людей.

Видел я, как этот грубый вологодский мужик плакал от радости. В амбулаторию к нему гречанка принесла трехлетнюю девочку с огромным нарывом на шее, девочка умирала, лицо у нее было синее, глаза, синенькие и жалобные, закатывались, дыхание короткое, жадно хватющее воздух. Выхватив ребенка из рук матери, Алексин погрозил ей кулаком, крича:

– Ты бы, дура, еще подождала прийти, у-у! – И непозволительно обругал всех греков, включая древних, а потом начал орать:

– Софья – стол!

Огромная, уродливая, старая, – великолепная душа, – Софья Витютнева живо приготовила всё потребное для операции, и А<лексин> – тотчас же, рыча, дико ругаясь, начал резать шею ребенка. Тут был действительно потрясающий момент: когда облитая обильным гноем и кровью грудка девочки высоко поднялась, вздохнув свободно, и мертвенная синеватость лица стала исчезать, и полузакрытые глазки ее вдруг открылись, заблестели радостью возвращения к жизни, – из дерзких, насмешливых глаз ее спасителя полились слезы, он крикнул, не скрывая восторга:

– Софья, вытри мне морду, видишь – пот!

Она, улыбаясь, вытерла глаза и щеки его рукавом халата, отвернувшись, чтоб скрыть свои слезы, а доктор, накладывая повязку, бормотал:

– Что? Мигаешь? Ага-а. То-то...

Потом, вымыв руки, одною рукой сунул гречанке три рубля, а другою дергая ее за ухо, сказал:

– Следи за ребенком, следи, блоха!

Через несколько дней я зашел к нему в больницу, он держал веселую, черноволосенькую, синеглазую девочку на коленях у себя, играя с нею; он хвастливо, с гордостью сказал:

– Вот она! Видишь – какая?

А идя со мною по набережной Ялты в сад, он говорил:

- Дать жизнь ребенку – это и дурак может, а вот вырвать человечка из лап смерти – это может только наука.

Я несколько раз присутствовал при его операциях, он делал их всегда, исключая случай с девочкой, хладнокровно и даже с некоторой щеголеватостью мастера, уверенного в своем искусстве.

- Хуже всего переносят боль греки, затем наши крестьяне, терпеливее – татары, – говорил он.

Был он добр, хорошо, по-мужицки, незатейливо умен, очень терпимо относился к людям и небрежно к себе. Любил музыку, хорошо знал и понимал ее, играл на пианино и, обладая хорошим голосом, нередко с успехом пел в «благотворительных» концертах. Книг читал мало, даже и по своей специальности, а в часы отдыха любил читать ноты; ляжет на диван, почему-то сняв один ботинок с ноги, возьмет Бетховена, Моцарта, Баха или какую русскую оперу и читает, молча или напевая с закрытым ртом. Его очень любили женщины, он щедро платил им тем же, и на протяжении двадцати с лишком лет моей с ним дружбы ни один из его романов не окончился драмой. У него была очень развита здоровая брезгливость к излишествам лирики и «психологии».

- Избыток хотя бы и драгоценных камней – уже пошлость, – говорил он.

Но в то же время он обладал тонко разработанным чутьем эстетики сексуализма и, когда говорил о любимой женщине, я всегда чувствовал, что он говорит о партнерше, с которой ему предречено спеть дуэт по славу радости жизни.

Его первой женою была очень известная в свое время концертная певица, контральто Якубовская, она умерла после родов; он говорил о ней всегда с печалью и морщась при воспоминании о той глубокой боли, которую причинила ему смерть, похитив женщину.

- Я, знаешь, решил идти на сцену, но, когда она умерла, сказал себе: нет, буду лечить людей.

Он лечил композитора Калининкова, безнадежно больного.

- Умрет, чёрт возьми, – говорил он, крепко потирая лоб. – Невыносимо досадно, а спасти – нельзя. Знал бы ты, какой это талант... Если б я встретил его месяца на три раньше, можно бы протянуть несколько лет. А теперь ткань легких расплывается у него, как гнилая тряпка.

Был он сын сельского попа Вологодской губернии, в университет пошел против воли отца.

- Говорю ему: «Отец, я хочу в университет, учиться». – «Прокляну!» – «Серьезно?» – «Как бог свят – прокляну!» – «Что же – проклинай». Не проклял, хотя был мужик твердого характера.

Был у него слуга Григорий, черноволосый тамбовский мужик, очень умный и влюбленный в доктора, как нянька в ребенка. Часто вечерами он приходил в кабинет Алексина и спрашивал, стоя в дверях:

- Можно с вами поговорить?
- Иди, садись, чёрт.

Григорий садился на диван у ног Алексина и заводил философическую беседу:

- Не понимаю я, Александр Николаевич, какой у бога расчет детей морить? Экономии не вижу я в этом...

Комментарии

Хозяин. Страница автобиографии

Впервые напечатано, с подзаголовком «Повесть», в журнале «Современник», 1913,

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma книги 3, 4 и 5, март–май. Одновременно вышло отдельной книгой в издании И.П. Ладыжникова, Берлин; включено в собрание сочинений в издании «Жизнь и знание», Петроград, 1915, т. XVIII; во всех последующих собраниях сочинений печаталось с подзаголовком «Страница автобиографии».

Повесть написана в конце 1912 года; в декабре этого года М. Горький писал Е.А. Ляцкому – одному из редакторов журнала «Современник»: «Повесть – окончена, скоро я её пришлю, называется она «Хозяин». (Архив А.М. Горького). В январе 1913 г. рукопись была направлена в журнал.

Замысел повести предположительно можно отнести к 1901 г.: в письме от 24 октября 1901 г. М. Горький писал К.П.Пятницкому, что на предложение Н.К. Михайловского напечатать пьесу «Мещане» в журнале «Русское богатство» он ответил: «...драму – не могу дать, а дам на январь – декабрь очерк «Хозяин», который ещё не написан» (Архив А.М. Горького).

Повесть содержит факты из биографии М. Горького, относящиеся к периоду его жизни в Казани, когда он работал в пекарне В.С. Семёнова. В «Моих университетах» М. Горький пишет, что этот период очерчен им в произведениях «Хозяин», «Коновалов», «Двадцать шесть и одна».

Для собрания сочинений в издании «Книга» первоначальный текст повести был заново отредактирован автором и значительно сокращён. Так, например, был исключён целый раздел повести, изображавший начало «бунта» крендельщиков.

Повесть включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному автором для собрания сочинений в издании «Книга» (Архив А.М. Горького).

М.М.Коцюбинский

Впервые напечатано одновременно на русском и (в переводе) украинском языках в киевском журнале «Літературно-Науковий Вісник», 1913, т. LXIII, книга 6, квітень-червень. В июле того же года воспоминания появились в журнале «Вестник Европы», СПб, 1913, книга 7, о чём сохранилось письмо М. Горького редактору Д.Н. Овсяннико-Куликовскому.

Воспоминания написаны вскоре после смерти знаменитого украинского писателя Михаила Михайловича Коцюбинского, последовавшей 12 апреля 1913 г.

С М.М. Коцюбинским (1864–1913) М. Горький впервые встретился на острове Капри (Италия) 2 июня 1909 г. (см. книгу «О.М. Горький и М.М. Коцюбинский. Збірник матеріалів». Київ, 1937). Между писателями быстро возникли дружеские отношения, ещё более укрепившиеся во время последующих приездов Коцюбинского на Капри (летом 1910 и осенью-зимой 1912 гг.)

Чтобы иметь средства к существованию, Коцюбинский почти до самой смерти вынужден был служить статистиком в Чернигове, в губернской земской управе. Эту службу он и имеет в виду, когда рассказывает в письмах М. Горькому об изнуряющем характере своей работы.

Воспоминания о М.М. Коцюбинском включались во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному автором для собрания сочинений в издании «Книга» (Архив А.М. Горького), сверенному с первопечатными изданиями.

Кража

Впервые напечатано в большевистском журнале «Просвещение», 1913, номер 6, июнь. Одновременно рассказ был послан автором в сборник, посвящённый Ивану Франко в связи с сорокалетием его литературной деятельности (1874–1914). В этом сборнике, вышедшем на украинском языке во Львове в 1916 г., он был напечатан под названием «Лука Чекин».

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту 16-го тома собрания сочинений М. Горького в издании «Жизнь и знание», Петроград, 1915, послужившему оригиналом набора для собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с первопечатным текстом.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma

Музыка

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1913, номер 150, 30 июня.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Русское слово», сверенному с авторской рукописью (Архив А.М. Горького).

Самовар

Впервые напечатано в сборнике «Ёлка. Книжка для маленьких детей», издание «Парус», Петроград, [1918].

Сказка написана М. Горьким в 1913 г., о чём свидетельствует авторская пометка на рукописи.

В собрания сочинений сказка не включалась.

Печатается по тексту сборника «Ёлка», сверенному с авторской рукописью (Архив А.М. Горького).

В театре и цирке

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1914, номер 297, 25 декабря.

Написано в 1914 г. Первоначально входило в повесть «В людях».

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Русское слово».

Рассказы

Впервые напечатано в газете «День», 1915, номер 79 от 22 марта. Второй и третий рассказы, заново отредактированные М. Горьким, были опубликованы под общим заглавием «Легенды о Тамерлане» (с цифровым обозначением «I» и «II») в литературном сборнике «В помощь пленным русским воинам», М., 1916.

Произведения включались во все собрания сочинений под заглавием «Рассказы».

Первый рассказ печатается по тексту газеты «День», второй и третий – по машинописному тексту, подготовленному автором для сборника «В помощь пленным русским воинам» (Архив А.М. Горького).

Пожар

Впервые напечатано, с подзаголовком «Очерк», в журнале «Вестник Европы», 1915, книга 5, май.

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту шестнадцатого тома собрания сочинений М. Горького в издании «Жизнь и знание», Петроград, 1915, послужившему оригиналом набора для собрания сочинений в издании «Книга».

Письмо

Впервые напечатано в газете «Борисоглебское эхо», 1915, номер 95 от 29 ноября.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Борисоглебское эхо».

Театральное

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1915, номер 357 от 25 декабря, под заглавием «В театре (Отрывок из повести «В людях»)». В печатную редакцию повести «В людях» не вошло.

Небольшая часть текста вошла в очерк «В театре и цирке».

В собрания сочинений не включалось.

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiyma
Печатается по тексту газеты «Киевская мысль», исправленному автором (Архив А.М. Горького).

Несогласный

Впервые напечатано в газете «Киевская мысль», 1916, номер 85 от 25 марта; затем – в журнале «Жизнь для всех», 1917, номер 2 за февраль.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту журнала «Жизнь для всех».

В собрания сочинений рассказ не включался.

Барышня и дурак

Впервые напечатано в журнале «Солнце России», 1916, номер 358(52), декабрь.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по авторизованной машинописи (Архив А.М. Горького).

[День сгоревший хороня...]

Впервые напечатано после смерти автора. Время написания стихотворения предположительно можно отнести к 1910–м годам.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по рукописи (Архив А.М. Горького).

[Иду межой среди овса...]

Впервые напечатано после смерти автора. Время написания стихотворения предположительно можно отнести к 1910–м годам.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по рукописи (Архив А.М. Горького).

Из дневника

Впервые напечатано в «Журнале журналов», 1917, номер 1 за январь.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту «Журнала журналов», сверенному с авторизованной машинописью (Архив А.М. Горького).

Миша

Впервые напечатано в газете «Русское слово», 1917, номер 73 от 1[14] апреля.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Русское слово».

Из воспоминаний

Впервые напечатано в газете «Новая жизнь», 1917, номер 22 от 13 мая.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Новая жизнь» с исправлениями по авторизованной машинописи (Архив А.М. Горького).

Как я учился

Впервые напечатано в газете «Новая жизнь», 1918, номер 102, 29 мая, под заглавием «О книгах», и одновременно, с подзаголовком «Рассказ», в газете «Книга и жизнь», 1918, номер 1, 29 мая.

В основу рассказа положена речь, которую М. Горький произнёс 28 мая 1918 года в Петрограде на митинге в обществе «Культура и свобода». Речь начиналась словами: «Я расскажу вам, граждане, о том, что дали книги моему разуму и чувству. Читать сознательно я научился, когда мне было лет четырнадцать...» Несколько раз

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiu.ru
произведение переиздавалось под заглавием «Как я учился» с пропуском первой фразы и небольшими добавлениями в конце рассказа.

В 1922 году М. Горький значительно расширил рассказ для отдельного издания З.И. Гржебина, Берлин – Петроград – Москва, 1922.

В собрания сочинений рассказ не включался.

Печатается по тексту отдельного издания З.И. Гржебина.

Из воспоминаний о В.Г. Короленко

Впервые напечатано в книге «Жизнь и литературное творчество В.Г. Короленко. Сборник статей и речей к 65-летию юбилею», Пгр. [1918]. Частично вошло в очерк «Время Короленко».

Написано, по-видимому, летом 1918 года: юбилейная дата В.Г. Короленко – 15 [28] июня 1918 года.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту сборника «Жизнь и литературное творчество В.Г. Короленко», сверенному с авторизованной машинописью произведения (Архив А.М. Горького).

Песня

Впервые напечатано в журнале «Альбатрос», 1918, номер 1 от 27 ноября.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту журнала «Альбатрос».

Яшка

Впервые напечатано в журнале «Северное сияние», 1919, № 1–2, январь–февраль.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по рукописи (Архив А.М. Горького).

Лев Толстой

Впервые в неполном виде напечатано в газете «Жизнь искусства», 1919, номер 241 от 13 сентября; номер 242 от 14 сентября; номер 273 от 21 октября; номер 274 от 22 октября, и номер 275 от 23 октября. Полностью впервые опубликовано в книге М. Горького: «Воспоминания», издание «Книга», 1923.

Воспоминания «Лев Толстой» имели длительную и сложную творческую историю. Как указал в предисловии автор, материалом для этого произведения послужили отрывочные записи, которые он делал в период частых встреч с Л.Н. Толстым, когда оба писателя жили в Крыму, в конце 1901 – начале 1902 года. В предисловии к воспоминаниям в издании 1919 года М. Горький писал, что считал эти заметки потерянными, но недавно нашёл часть их. По свидетельству Е.П. Пешковой, в годы пребывания М. Горького за границей (1906–1913) его крымские заметки о Л.Н. Толстом хранились у неё вместе с другими материалами. После возвращения писателя в Россию эти записи были переданы ему Е.П. Пешковой (Архив А.М. Горького).

Архив А.М. Горького располагает материалами, говорящими о том, что в 1917–1918 годах, в кругу знакомых, М. Горький подробно рассказывал о встречах с Л.Н. Толстым и сообщил о своей работе над воспоминаниями. Очевидно, воспоминания, изданные в 1919 году, оформились как литературное произведение в 1918–1919 годах. Подготавливая воспоминания к печати, М. Горький присоединил к ним письмо, адресованное В.Г. Короленко, написанное в ноябре 1910 года в связи с уходом Л.Н. Толстого из Ясной Поляны и смертью его; письмо это не было закончено и не было отправлено адресату.

В 1919 году М. Горький объединил первые тридцать шесть заметок о Л. Толстом с письмом к В.Г. Короленко в одной книжке, озаглавив её «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» и снабдив предисловием (издание З.И. Гржебина, Петроград, 1919). Два года спустя книжка со вставками в «Заметках» III, VI, XXI и XXXI была переиздана издательством И.П. Ладъжникова, Берлин, 1921. В 1923 году в журнале «Беседа» (номер 1, май–июнь) М. Горький опубликовал ещё восемь (XXXVII–XLIV)

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiuata новых отрывков под названием «Заметки. О Льве Толстом».

По свидетельству автора, воспоминания о Толстом были прочитаны В.И. Лениным по выходе первого отдельного их издания. М. Горький вспоминал об этом в очерке «В.И. Ленин». «Как-то пришёл к нему и вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

– Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот вспомнил, что надо написать товарищу. А читать – совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

– Какая глыба, а? Какой матёрый человечище! Вот это, батенька, художник... И, – знаете, что ещё изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

– Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

– Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный» (см. том 17 настоящего издания). Под заглавием «Лев Толстой» воспоминания, начиная с 1923 года, включались во все собрания сочинений.

Печатаются по тексту пятнадцатого тома собрания сочинений М. Горького, Гиз, М.-Л., 1927, издание 2-е, исправленное автором.

О С.А. Толстой

Впервые напечатано в журнале «Русский современник», 1924, номер 4, а также в журнале «Беседа», 1924, номер 5, с прибавлением последних четырёх абзацев.

После первой публикации включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту девятнадцатого тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького) и первопечатными текстами произведения.

[А.Н.Алексин]

Впервые напечатано в журнале «Красная новь», 1941, номер 6 за июнь.

Очерк не был закончен автором. Предполагаемое время его написания – 1923–1927 годы (А.Н. Алексин умер в 1923 году). Датируется по содержанию и по сопоставлению с другими воспоминаниями М. Горького.

В собрания сочинений очерк не включался.

Печатается по черновой рукописи (Архив А.М. Горького).

Примечания

1

здесь – дощечка из луба, подкоркового слоя дерева, чаще липы – Ред.

2

площадка перед русской печью, между устьем и топкой – Ред.

3

полиграфически воспроизведённая живопись масляными красками, с имитацией рельефа холста и мазков краски, которая выполняется с помощью тиснения – Ред.

4

ие сочинений в тридцати томах. Том 14. Повести, рассказы, очерки 1912–1923. Максим Горький gorkiuta лайдак (юго-зап.) – лодырь, ледаций (дурной, хилый) человек, негодяй, шатун, плут и гуляка – Ред.

5

черная немочь – по-видимому, старое название острой лёгочной недостаточности – Ред.

6

снохач (бранн.) – живущий незаконно со снохою – Ред.

7

поветь – крыша над всем двором, или над воротами и переднюю половиной двора, до дринна; крытый, тёплый двор; под поветь (на двор) или на поветь (верх) ставят лишние телеги, бороны, сохи, а на лето: сани, дровни – Ред.

8

гашник – пояс штанов – Ред.

9

от татарского – «болото», «грязь». Ещё со времён Ивана Грозного на в таком месте обычно строили кабаки; вокруг них развивалась мелкая торговля, рынок – Ред.

10

пойдёмте, барышни! (франц.) – Ред.

11

от татарского – «болото», «грязь». Ещё со времён Ивана Грозного на таком месте обычно строили кабаки; вокруг них развивалась мелкая торговля, рынок – Ред.

12

Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета – как фантастические романы. (Прим. автора.)

13 по-своему (франц.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiuta.maxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!